

ISSN 0132-0637

Октябрь

8 1992

Октябрь 1992

Государственные страховые организации России предлагают новому поколению деловых людей — руководителям предприятий и организаций, бизнесменам, банкирам, арендаторам — взаимовыгодный диалог в вопросах обеспечения финансовой стабильности производственной и коммерческой деятельности, сохранения устойчивости социального положения работающих у вас людей.

Страховые полисы, приобретенные в наших организациях, предоставят вам гарантии наиболее полного возмещения при повреждении (гибели), краже основных и оборотных средств, убытках при осуществлении коммерческих операций (страхование непогашенного кредита и ответственности заемщиков).



Только у нас вы можете заключить страховые договоры, обеспечивающие комплексную страховую защиту рабочих и служащих.

Это коллективное страхование от несчастных случаев, страхование на случай потери работы (рабочего места), страхование родителей на случай временной нетрудоспособности в связи с уходом за заболевшим ребенком, страхование различных видов имущества работников.

Устойчивость наших страховых операций, наличие объединенных республиканских запасных и резервных фондов — гарантия полного выполнения обязательств перед клиентами. Наши тарифы — самые минимальные в стране.

Если вы за предусмотрительность в делах, если вас заинтересовали наши предложения, обращайтесь в организации государственного страхования России, расположенные во всех районных центрах республики.

Запомните адрес Российской государственной страховой компании: 103381, Москва, Неглинная ул., 23, или наши телефоны: 200-29-95, 200-47-77.



ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

8

1992

АВГУСТ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА»

Общественный совет: А. АДАМОВИЧ, Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Вяч. КОНДРАТЬЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, А. САЛЫНСКИЙ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ, В. ТИХОНОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Владимир БАРВЕНКО. Гон. Рассказ	3
Елена ДУНАЕВСКАЯ. Без дали и боли. Стихи	20
Бахыт КЕНЖЕЕВ. Младший брат. Роман. Продолжение	22
Александр СКИДАН. Цвет и орнамент. Стихи	81
Юз АЛЕШКОВСКИЙ. Книга последних слов. Фрагменты	83
А. И. ДЕНИКИН. Очерки русской смуты. Том третий. Белое движение и борьба Добровольческой армии (май — октябрь 1918 го- да). Подготовка текста и примечания доктора историче- ских наук профессора Л. М. СПИРИНА	111

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

А. АВТОРХАНОВ.

Мемуары. Подготовка текста к публикации С. НИКОЛАЕВА 142

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Зинаида ГИППИУС.

«Неугасим огонь души...» Предисловие и публикация Н. И. ОСЬМАКОВОЙ 169

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Сергей БИРЮКОВ. Жизнь как слово. * Елена СТЕПАНЯН. Приятие того, что есть. * Александр ЛЮСЫЙ.

Вспоминая тишину.. 188

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, посылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукопись редакция не возвращает.

Рукопись может быть возвращена только при условии предварительной оплаты автором почтовых расходов редакции на пересылку.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора), **И. А. БРЯНСКАЯ** (зав. отд. публицистики), **Н. Д. КРЮЧКОВА** (зав. отд. прозы), **Н. К. ЛОШКАРЕВА** (первый заместитель главного редактора), **В. Н. МАЛУХИН** (заместитель главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь).

Коммерческий директор **Л. Б. ЖУРАВЛЕВ.**

Технический редактор **З. П. Кузнецова.**

Сдано в набор 09.07.92. Подписано к печати 28.07.92. Формат 70×108¹/₁₆.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 133 900 экз. Заказ № 1871. Цена 19 р. 90 к. В розницу — цена свободная.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05, заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.
Телефакс: 214-50-29.

Типография издательства «Пресса». 125865 ГСП. Москва, А-137. ул. «Правды», 24.

© «Октябрь», 1992.

Г о н

РАССКАЗ

1

Емельян проснулся как будто от удара, резко, что-то после полуночи, когда далекий локомотив на сцепке с вагонами ухнул, и в мартовском прожеженном воздухе звук тот летел до окна недолго и почти не потерял силу.

Емельян не помнил, что ему снилось, но, верно, что-то теплое, ласковое, от чего на душе разлилась и отвердела сладость. Он часто просыпался в ночи, но скорее от жестокой тоски, и к нему сразу приходили воспоминания. В них он видел свою жену, красавицу Луизу, и сына Левку. Однако Левку почему-то всегда малышкой, а жену совсем юной — студенткой третьего курса медицинского института, когда они только познакомились на вечеринке у его приятеля, удачливого художника-офортиста Максимова. Очень уже давно. Но к вспышкам полуночной тоски Емельян мало-помалу притерпелся, в воспоминаниях же находил даже разумную жертвенность и прощал себе и Луизе. А сейчас тоски не было, и Емельян не понял еще, радоваться ему или сожалеть.

Он встал с постели, привычно нащупал на спинке стула халат, надел и несколько минут стоял неподвижно, вглядываясь в окно, в синюю неизбежность ночи. И вдруг обнаружил, что на душе светло и просторно, должно быть, призрачная сладость сновидений обещала ему сейчас редкий по своей силе душевный покой.

Приглядевшись к предметам, Емельян снял со шкафа бронзовый канделябр с единственной свечой, достал из кармана халата спички, зажег. Желто-оранжевый лепесток свечи вяло выбрал из комнаты мрак и холодно озарил картины на стенах в темных, тусклых рамах — много картин. И в следующую минуту Емельян увидел гигантский глаз. Он смотрел ему в душу живым человеческим взглядом, светло и тревожно, и Емельян, охваченный неожиданным волнением, двинул свет, шагнул в глубину комнаты, в самую сердцевину...

Здесь был и великий Апокалипсис, и смертный ужас перед ликом Калигулы, и радость земного творения, и грех, и многое другое. И все это летело в голубой прозрачной бесконечности в легком испуге очарования, надежды и отчаяния. «Боже, я останавливаю свои иллюзии, и я, наверное, счастлив, глядя на свои картины и чувствуя, как тихой радостью расцветает душа, — думал художник Емельян Дроздов. — Вот смертный ужас перед ликом Калигулы, только его кровавое дыхание, а маску величия и власти, как предмет, сдвигают с лица тяжелые руки. Что это? Разумное искупление порока или мечь чудовищно опустошенной плоти?»

...Он шагнул от картины к картине, и свеча как бы слегка оплавляла масло, чтобы добавить легкого фосфоресцирующего сияния и сделать холст звонче, а рисунок рельефнее. Он будто прочитывал заново картины свои.

Вот рука с тонкими, длинными в восковой прозрачности пальцами держит румяно поджаристый хлеб.

В хлеб воткнут скальпель, и там, где лезвие надрезало корку, жутковато поблескивает живая капелька крови. А в глубине пространства — согбенная фигура уходящего вдаль человека...

Вот на миниатюре рука сжимает, как древко знамени, крест с распятой на нем, грубо приколоченной ржавыми гвоздями цветущей веткой оливкового дерева... Как и «хлеб», он писал ее в Мещере, давно. Он недолго искал фор-

му, просто увидел изображение как бы в сферическом зеркале, но обе эти мещерские картины в нечаянном выплеске фантазии уже, казалось, выдохнули из себя ощущение той сладкой тревоги и того великолепного предвосхищения чуда, которыми жила тогда душа целое лето в сказке — чем-то теперь далеким, невосполнимо-утраченным и все-таки очень чистым веяло от них... А у полотна, названного им «Награда», свеча замерла.

Дроздов любил эту картину больше остальных... Из глубины ее, из человеческой тени выростала, обретая силу и величие, тяжелая рука с маленькой, почти детской, ладонью, с аккуратно подогнанными один к другому, но как-то беззвучно и очень трагически пальцами. На них лежала медаль, то есть планка с красной ленточкой, сам же гигантский круглый знак с изображением ока свисал, сваливался в голубую бездну...

Он писал эту картину в прошлом году осенью, больной, писал жадно, иступленно, а когда закончил, пригласил Максимова. Вообще он редко приглашал к себе Максимова, барина, барчука, обласканного всяческими почестями и дорогими заказами. Откровенно говоря, Дроздову было стыдно перед ним за свою бедность, неудачливость, и Максимов, вероятно, так себя и вел с ним — снисходительно, но с достаточно душевным любопытством и даже сочувствием. Максимов любил ерничать, по-отечески журить, а уж хвалил — широко, по-купечески и, что самое неожиданное, на деталях случайных, необязательных, во всяком случае, Дроздову так казалось — черт знает, когда он был искренен. Но по общему настроению Макса, по едва уловимой интонации Емельяна всякий раз угадывал его интерес, а этого было немало. Талантливый мужик Максимов, мастер!

Максимов тогда долго, очень внимательно рассматривал картины, то отступал в раздумье, то приближался вплотную — что-то в нем заметно пришло в движение, какой-то пласт души сдвинулся. Ерничал, конечно, но по привычке, не живо: «И как ты все это подсмотрел, Емелька?.. Эк образец схватил за хребтину... Калигула-то хорош, наша смесь... Столоначальник, русский Пришибеев, ан нет, Емелька, глубже, со вселенским размахом. Очаровал старика, не знаю, что и думать. Даровит ты, однако, Емелюшка...» Но не это главное, чувствовал Емельян, не было на этот раз у Макса вдохновения ерничать, что-то другое тут ему открывалось. И снисхождения не было во взгляде — приближал к себе Максимов, рядом ставил. И все-таки что скажет-то по поводу «Награды»? Чего тянет?

— Ну что ж, ловко, голубчик. Ход с глазом не нов, но у тебя по-своему, Емелька, очень выходит по-своему. Эта форма, цвет. Свой взгляд, факт, — похвалил он и посерьезнел, даже погрузнел. Обвел рукой картины. — Все это, конечно, любопытно, только дело не в этом. На все здесь нужен новый угол зрения, а то ведь бить тебя будут, семь шкур спускать, в черном теле держать. А делать это у нас умеют замечательно. Пальчиком пригрозят — эт кто там у вас, голубчик, под тенью прячется? Объясните, пожалуйста, нравственную платформу. Так-то. Я-то калач тертый... А когда придет твое время, не знаю, но придет — обязательно. — И вздохнул Максимов, посуровел. — Вот природу пишу — и ладушки. Природа не обманет, а главное — не предаст... Эх, Господи, откуда у нас, у русских, такая ненависть ко всему новому? Где-то мы там, наверное, потерялись у Всевышнего...

Максимов помог тогда и выставку персональную Емельяна Дроздова пробить в клубе юных орнитологов. Случай подвернулся. Только недолго картины его висели... Что там сказал официальный представитель местной организации Союза художников, когда картины Емельяна Дроздова весело сдирали со стен клуба юных орнитологов? «Абсолютное отсутствие гуманистической идеи, общий недостаток художественного вкуса, чуждый нашему обществу буржуазный авангардизм...»

Вообще он был очень бородат, почти Репин, этот уполномоченный местной олигархии Союза. В самом деле: на ветке оливкового дерева не хватало белокрылого голубя мира, — иначе юные орнитологи не постигли б миролюбивой политики нашего государства. Он еще, помнится, что-то говорил о ложной духовности, что-то общее, чего память никогда не восстанавливает, — конечно, память — клоака, но в ней тоже иногда бывают санитарные дни. Нет, он определенно был остряк, этот а-ля Репин, — и то верно, почему бы не организовать вернисаж художника Емельяна Дроздова на базе клуба работников погребального заведения? А то несколько странно соседство, например,

картины «Награда» с клетками, в которых живут настоящие тропические попугаи...

Емельян усмехнулся своим мыслям, чувствуя, как уходит из него радость, как она оказывается быстра в движениях, включил свет и погасил свечу. Глянул на свое нищенское жилье, на беспорядок вокруг и пошутил вслух: «Я не живу, нет. Я экспериментирую». Но радость на последнем своем аккорде хорошо все-таки высвечивала душу, тут главное — понять ее, и душа требовала союзника. Радость, как и горе, не терпит одиночества — так устроена жизнь. И Емельян, не раздумывая, пошел в коридор к телефону звонить жене Луизе...

Жена ушла от Дроздова пятнадцать лет назад и сразу вышла замуж за преуспевающего товарища Ивашкина. Она великодушно оставила ему эту квартиру (вполне возможно, компенсируя инициативу и свой срочный брак с Ивашкиным) в старом доме с единственной комнатой, выходящей окном в окраинные грязные дворы и теперь служившей Дроздову и мастерской, и спальней страстей. Тесноватая комнатка, но, слава Богу, на солнечной стороне. Жена, как интеллигентный человек, не забывала поздравлять его с праздником, и он иногда позванивал Ивашкиным, сыном интересовался. Ничего, нормально. Конечно, сын Левка еще некоторое время после развода сохранял «тепло отцовской руки», но Дроздов понимал, что это инерция, что новый папа, товарищ Ивашкин, подарит ему блага нашего цивилизованного мира не мифические, а реальные, которые можно щупать руками и пробовать на зуб. Разумеется, не бескорыстно — надо видеть Ивашкина и Луизу, чтобы так решить, но Левка узнает об этом потом, но не ужаснется, нет, примет как неизбежность, потому что каждый вправе продавать свои ценности, как ему вздумается. В конце концов жизнь — это большой рынок. Он потом будет говорить маме, что отец неудачник, что лично он его картин не понимает, что нормальные художники «заколачивают», не пьют водку и пользуются всяческими земными благами, а не самоотвергаются и не упиваются своей непризнанностью. Вполне логично, только как понимать самоотвержение? Как эгоизм духа или как порок? Впрочем, «заколачивать» ему приходится, чтобы не протянуть ноги в этом удивительном мире. Иногда он бывает сказочно богат, но богатство воистину только на миг озаряет бедность... Что поделаешь, но спорить с сыном пока не хотелось.

Емельян поднял трубку и набрал номер. На другом конце провода долго не снимали, и, пока шли гудки, Дроздову было совестно — второй час ночи. Наконец он услышал хрипловатый спросонья голос Ивашкина:

— Слушаю.

— Доброй ночи, Ивашкин, пригласи жену.

— Я так и знал, что это ты, — ответил Ивашкин и глубоко вздохнул. Тут Емельян представил себе тучного, на тоненьких ножках человека, которого вот так глупо среди ночи выкрали из сна, и теперь он должен зябнуть в трусах и слушать какого-то Емелю-дурачка — черт знает что взбрело тому в голову. Емельян жалел Ивашкина, но ему хотелось слышать жену. Немедленно. Ивашкин сказал: — Ты определенно очумел — второй час ночи. Откуда звонишь? Из какого-нибудь борделя? Тебе нужны деньги?

— Ивашкин, ты плохо обо мне думаешь, — ответил Дроздов, слегка разочаровываясь в затее. — Деньги мне не нужны, я хочу поговорить с женой, и комментарии, полагаю, излишни.

— Он полагает! — вспылил Ивашкин. — Послушай, Дроздов, я когда-нибудь прекращу наш демократизм. Ты понимаешь его превратно. Просто я возьму и набью тебе морду. Пятнадцать лет Луиза живет со мной, соображаешь, какая она тебе, в чертях, жена?!

— Морду ты мне не набьешь — у нас разные весовые категории. Ты больше, а это неблагородно. Луиза — моя супруга перед Богом, но, если это тебя омрачает, считай, что я употребляю древний термин. Извини, дружище, что я маленько время перепутал, позови Луизу. У меня сегодня счастливая ночь. Я, кажется, сегодня родился.

— Поздравляю, — хмыкнул Ивашкин. — Мы ждем этого часа долгие годы. Ты думаешь, этим ее осчастливишь?

— Слушай, китайский мандарин, не усложняй, — занервничал Дроздов.

— По-моему, ты с перепоя. Навязался ты на мою шею! — пыхтел Ивашкин, но трубку уже ждала жена, потому что были шаги, потом шепот — слух улавливал. — Когда ты помрешь, похороны я беру на себя.

— А я буду жить долго, назло тебе! — крикнул Дроздов, но трубку уже держала Луиза.

— Что еще случилось, Емельян? — спросила она.

— Здравствуй, моя Лаура, — сбиваясь на горячий шепот и волнуясь, как мальчишка, произнес Емельян. — Умираю — хочу тебя видеть. Слышишь? Это серьезно. Я хочу, чтобы ты увидела картины. Вызови неотложку и дуй ко мне.

— Ты сумасшедший. У меня завтра операционный день...

— Гони прочь Ивашкина, он тебя отвлекает, — перебил Дроздов.

— Его нет, не переживай. Станный ты, Емельян, тебе уже за сорок, а ты все балуешься. По-моему, тебя заклинило в дверях нашей институтской анатомички, но все давно прошло.

Дроздов хотел сказать: «Это у тебя прошло», — но сдержался.

— Ты так и не видела мои новые работы.

— Выставляйся, приду с удовольствием. А туда — никогда. Не хочу. — Возникла пауза, и Дроздов слышал дыхание Луизы. — Там умерла мама. Ты почему-то совсем забыл, как мы гадко жили. Вечная нужда, скандалы... Мои ночные дежурства за гроши и твоя идиотская ревность. Господи, Дроздов, пожалей мою душу, я не хочу об этом вспоминать.

— Прости. Я как-то не подумал о своей душе, но я не виноват, что ты остаешься моей Лаурой. Навсегда, — тихо, почти шепотом, проговорил Емельян. — Хотя я думаю, если бы Петрарка женился на Лауре, он бы растворился в ней.

— Емельян, будь скромнее, но, если так, ты, значит, должен благодарить Бога. А вообще ты становишься сентиментальным. Что с тобой происходит? Стареешь? Или впрямь на пороге гениальности?

— Луиза, будь милосердна. Ты давала клятву Гиппократу. Все в этой жизни пытаются писать монолог, а получается интервью или комментарий. Ты приедешь?

— Ты что, серьезно? — с нехорошим вызовом спросила Луиза. — Как ты это представляешь? Я не свободна.

— Знаешь, я тебя иногда ненавижу! — грубо сказал Емельян и бросил трубку.

Некоторое время он стоял у аппарата, тупо разглядывая его, и вдруг рассмеялся, вообразив себе Ивашкина в трусах, с напряженным одутловатым лицом вынужденного объясниться с ним, с первым мужем жены, глухой ночью — какая-то нелепость. Но смех был неискренним — это Дроздов понял. Смех, кажется, только приоткрыл потаенную дверку в душе, и вот уже поползла, заволакивая горьким своим смрадом все, обращая в безысходность, в бессмыслицу, в прах, ее величество тоска.

Он вернулся в комнату и, встретившись напрямик с глазом, вздрогнул. Глаз обретал другой, жалеющий взгляд. И Емельян, рухнув на постель, заплакал навзрыд.

2

Утром Емельян пожалел о своем идиотском ночном звонке жене, и тогда, когда малость разгребал свое запустевшее холостяцкое имущество, когда принимал душ, а затем попивал крепкий чай, глядя на мягко укрытые голубоватой утренней дымкой хозяйские дворы, полные нелепых строений и той особенной сиротской печаль, свойственной только русским дворам, досада не проходила. Но, слава Богу, и не усиливалась — нудно, тонюсенько звенела на одной ноте, даже в работе не истрачивалась. А когда утро хорошо поддумянилось солнцем и за окном под стрехой проснулась капель — ударила морзянкой по железной листовине подоконника, пришла к Емельяну Фаня.

Она была свежая, розовощекая с улицы, с весны, — хорошенькая, но в привычной внешней ее рассеянности была не свойственная ей озабоченность, и Дроздов, неохотно отлекившись от мольберта, встречая, принимая пальто, поглядывал на нее бегло, и недоумевал, и сердился. Он давно понял, что женщина эта — его крест, наказание, — так бывает, когда нет любви, потому что любовь лишена всяческой логики и в этом ее главный смысл, а тут было вполне разумное сопротивление обстоятельствам, какая-то безнадежно гиблая идея одиночества.

Они пили чай на кухне из сервизной с мадоннами посуды — щедрый подарок Луизы к его сорокалетию, вроде и недавно было, а, кажется, так дав-

но. У Фанечки нездорово поблескивали глаза, их будто напрочь заливала голубизна, но не прозрачно, а мутно, такие глаза, должно быть, писал Модильяни, и Дроздов было тревожно. Как бы опять не загремела Фаня в психушку. А Фаня жаловалась ему, и мысль ее никак не настораживала, текла себе ясно со здоровыми оттенками чувств.

— Я опять, Дроздов, потеряла верстку. Где-то оставила, а где — не могу вспомнить. Редактор точно выпрет меня, — говорила Фаня, едва касаясь чашечки губами и беззвучно потягивая. — У меня провалы в памяти. Иду, сама не знаю куда. Как будто кто-то толкает меня в спину, останавливает и опять толкает. Да еще и пришептывает.

— Ты, Фаня, устала, тебе надо отдохнуть, — советует Емельян, но знает отлично, что это напрасно, — Фаня страдает психическим расстройством. Сейчас ее душевная амплитуда достигла наивысшей точки, вот-вот поползет вниз, и в этом ее падении он Фанечку временно потеряет. Это верно, с нею он чувствовал себя вконец неустроенным, обделенным, а без нее, кажется, и того хуже.

Фаня работает техничкой и курьером в редакции, хотя иногда ей доверяют корректировать верстку. В редакции она получает девяносто рублей, но она единственная дочь состоятельных родителей, и нужда ее не убивает. Она и Дроздова иногда подкармливает и даже, бывает, бутылочку покупает, — и в том и другом случае Емельяну стыдно, но за бутылочку он деньги отдает принципиально, когда нет, находит — расшибается в доску, занимает и насильно заталкивает в ее сумочку.

— ...Если я не найду верстку, меня выпрут, и я буду на матрачной фабрике набивать ватой полосатые мешки. А я не хочу набивать ватой полосатые мешки, Дроздов. Не хочу из протеста, — не успокаивается Фаня. Она оттягивает одним пальцем ворот коричневого, крупной вязки свитера, дует на грудь — душно все-таки в комнате — и думает о своем, напряженно хмурясь. — Я совсем опустилась. Книг не читаю. Я даже, если хочешь знать, забыла, когда жил Фома Аквинский, а в университете я писала о нем научную работу.

— Это неважно, — усмехается Емельян. — Он жил в тринадцатом веке.

— Как же не важно, все важно, — не соглашается Фаня и, допив чай, отставляет чашку. — Ты иди, работай, а то я тебе помешала. Я тут уберу все, покурю и подумаю, где я бумажки забыла.

Емельян приносит пепельницу и открывает на кухне форточку. Сам-то не курит. Бросил как-то неожиданно, недавно.

...Иногда ему кажется, что судьба столкнула их с Фаиной из отчаяния — ничего в жизни не приходит так просто, само по себе, и в их с Фаиной почти обморочном слиянии была закономерность, и абсурд только усиливал это отчаяние.

...Он тогда опять бедствовал. Он заканчивал большой заказ НИИ — тонкую планшетную работу, но, будучи по природе человеком стеснительным, робким, не попросил аванса, перебивался едва: жизнь удивительным образом распадалась на присутствие и отсутствие заказов, и в этом не было иронии — просто каждодневный, утомительный гон. А случилось это в прошлом году в феврале, когда в городе после резкой оттепели пышно умирали снега и воздух был влажный, духмяный, и лиловые сумерки сочлились осторожно и нежно из каких-то неведомых своих глубин, из детства, и в лицах прохожих было то легкое нетерпеливое выражение ожидания, которое приносит только близкое дыхание весны. Его замело в старое кафе в центре города с подзабытыми уже запахами студенческих пирушек, душевной тесноты и очаровательного обмана, и он сразу увидел двух молоденьких женщин. Они там что-то ели и пили. Одна была пышноволоса, броска лицом, особенно глазами — большими, темными, какими-то сладко порочными, а другая — это и была Фаня — больше-лобая, голубоглазая, с мягким овалом очень белого лица, кругленькая. Конечно, Фаина терялась на фоне очевидного великолепия и властного изящества подруги. Только ему показалось, что он уже где-то в своей жизни встречал эти глаза, в акварельной голубизне, но тогда из них били мощный восторг и превосходство, а сейчас в них тихо покоилось туповатое, почти наркотическое отсутствие. Он потом так и не смог отыскать в памяти эти глаза — он их прожил. Но он пошел на них, увлекаемый каким-то внутренним импульсом, подсел за столик, что-то заказал простенькое, и женщины, переглянувшись, конечно, догадались, что мужчина этот с проседью, с хорошими, только как бы

затравленными глазами не имеет ни пшика в кармане, и налили ему бокал. Не сразу, а когда мало-помалу привыкли, смирились, и разговор приобрел общий характер. Так и познакомились. Подругу Фани звали Зоей, хотя, впрочем, она и не была ее подругой, так, далекой знакомой, и сошлись-то они из пустоты, из желания расслабиться, но почему-то вышло на Фанин счет. Зоя потом ловко исчезла, и Емельян немножко огорчился: понравилась ему Зоя, чего уж, а Фане, кажется, было все равно.

Вышли из кафе, и надо было расставаться, и он с ужасом подумал о возвращении в свою онемевшую обитель, в душную толчею красок и запахов, в одиночество. Нет, не хотелось расставаться. Они долго стояли у кафе, курили, каждый со своими мыслями, чужие, а он мучился и не находил слов для приглашения к себе, боясь ее подозрений в пошлости, но еще больше отказа — подобной ситуации у него не было. И потом, это ее официальное обращение к нему на «вы», Господи, неужели старик?

Странно все-таки Фаня курила. Она глубоко втягивала в себя дым и, закатывая глаза, долго там его в себе берегла. Была она в каракулевой шубке, в меховом берете, в светлых, плотно обтягивающих икры сапожках — здесь, в сумеречном сиянии огней, она казалась ему милее, женственнее, что ли, чем там, в кафе. Только нехорошо как-то пританцовывала, сучила ножками Фаня, и он недоумевал: тепло-то как на улице, чего мерзнет? Нет, тогда он и предположить не мог, что женщина, стоящая перед ним, недавно из психушки и подтанцовочка — совсем не блажь, а остаточное, не контролируемое действие аминазина. Однако набрался храбрости, пригласил к себе на чай, и женщина не стала капризничать, поняла так, как поняла, по-своему, по-женски, лишь загадочно улыбнулась и взяла его под руку. А дома его удивило и огорчило, что Фаня осталась абсолютно равнодушна к его картинам. Разумеется, взглянула на них, но, пожалуй, из вежливости и ухнула тираду, как обухом по голове:

— Вы, Емельян Васильевич, не считайте меня глупышкой, я думаю, вы меня не на выставку свою пригласили. Я, между прочим, закончила Киевский университет и кое-что смыслю. А то вы решите, что я ветреная. Вы, Емельян Васильевич, человек симпатичный и, наверное, умный, но вы мне совсем не нравитесь, и я вам не нравлюсь. Это для ясности. Только, пожалуйста, потом не жалейте. Глупо все это.

Сказав так, она его рассмешила. Нет, она определенно оригинал. Какой редкий способ страховки?! Bravo, женщина! И, видя, как гаснут ее глаза, как ломается в них блеск, он честно признался:

— Да, предполагал не за тем. Извините меня, Фанечка, я, разумеется, не монах, но в подобной ситуации мне еще никто не предъявлял диплома об окончании университета. Не волнуйтесь, попьем чайку, и я вас провожу.

А после чая, после легкой, но волнующей чем-то болтовни, во время которой он испытывал чувство возбуждения и досады, Фаня с каким-то победным кокетством произнесла:

— Не хочу домой. Дома скучно.— И вдруг спросила: — У вас телефон в порядке?

— Да... работает.

— Я предупрежу маму, что не приду.

— Пожалуйста,— буркнул Емельян, шалея от неожиданности.

...Во сне Фаня плакала, тянула руки и звала какого-то Гизо — нехорошо она спала, нездорово. А он сидел у ее ног, гонял одну за одной сигареты, и было ему гадко и совестно. Он еще не догадывался, что женщина эта больна, тяжело и безнадежно, что она уже давно пребывает во власти порывов и иллюзий, но тот тревожный дух, исходящий от нее, вызывал в нем душевные ощущения полужалости, полупротеста и еще чего-то лихорадочного за пределами сознания. Ему вдруг вспомнилось далекое, из детства, отвратительное зрелище, когда старшие пацаны, сотрясаемые первым зовом инстинкта, клубились в старом сарае вокруг убогой, совершенно голой и какой-то немисливо обезображенной этой своей наготой женщины. И память по крупницам восстанавливала тот чудовищный акт соприкосновения — жирно лоснящуюся на губах убогой слюну, вонь молодого пота, мелких придушенных дыханий, его крик, влосу и тяжелые, злые, не детские слезы...

Утром он спросил Фаню:

— Кто такой Гизо? Ты звала его во сне.

— Гизо — это моя любовь. Но ты о нем не думай. Он сам по себе.— Она

взяла его руку.— Живет на земле очень хороший человек, которого зовут Гизо. Но нам лучше, когда мы не вместе, понимаешь, товарищ Дроздов?

— С трудом,— ответил Емельян. Честное слово, он испытывал пустоту, равнодушие ко всему и о Гизо спросил машинально и сразу пожалел — это ее проблемы. Вообще ему очень хотелось, чтобы она скорее ушла.

Он заваривал на кухне чай, что-то там собирал к завтраку, а Фаня в его халате, в его огромных рваных тапках рассматривала картины, привыкала. Она почему-то с утра не больно заботилась о своей внешности: лохматая, не умытая, без лифчика — чучело, и только. И он тихо закипал. Он решил для себя, что выпроводит ее, как-нибудь так, деликатно, но раз и навсегда, а ведь, верно, права оказалась баба: как бы потом жалеть не пришлось. И пожалел, точно. Она позвала его из комнаты, и он застал ее прикованной глазами к картине «Распятие оливкового дерева». Она смотрела на картину пристально, и в лице ее угадывалось напряжение мысли.

— Я думаю, Емельян, хорошо бы с обратной стороны креста ты написал бы еще и распятую женщину,— серьезно заключила она.

Нет, он просто растерялся. В этом, показавшемся ему глупым замечании был свой резон. Но оно все-таки задело его самолюбие, и он с едкой усмешкой возразил:

— Ну да, чтобы выставить эту картину в женской консультации.

— Да нет же, Емельян. Подумай, со времен Христа распятие считается приоритетом мужчин. Я имею в виду распятие мужской плоти как символ величия духа. Ну почему? — произнесла Фаня с горячим упреком.— По-моему, было бы очень здорово — распятие женщины и цветущего дерева, как образ жизни и бессмертия в одном дуэте, в порыве контраста. А так, суди сам, убрать оригинальность формы — сферичность, и по замыслу останется плакат на экологические темы. Или я говорю чушь, Дроздов?

— Возможно. Но вообще любопытно,— улыбнувшись, сказал он и подумал: «Конечно, ты умница, черт бы тебя побрал, но лучше бы умылась»...

К чаю, однако, Фаня вышла аккуратно причесанная, свежая, даже успела подвести глаза. Она сказала:

— Я знаю, Дроздов, ты меня хочешь прогнать и вовсе не потому, что я тебе не нравлюсь, ты привык к себе одному, к своим принципам.— Фаня неплохо, как-то по-щечячи заглядывала ему в глаза, и это его угнетало. Ему надо было садиться за работу — добивать эти проклятые институтские планшеты, а Фане хотелось сокрушать его принципы.— Но ты не думай, я не посягаю на твою свободу. Знаешь что, Дроздов, давай плюнем на все, выпьем вина и хоть на время все на свете забудем. Сходи, купи какого-нибудь вина. Я хочу праздника...

И он пошел и купил вина, и они пили вино, и ему казалось, что он влюблен в Фаню, и ей тоже так казалось. А вечером, когда он провожал ее домой, она поцеловала его в губы и сказала печально, с чувством:

— Все очень хорошо, Дроздов. Просто ты мое прощение, а я твое...

А потом, когда в квартиру художника Дроздова незримо, но основательно вошел полный очарования и мужского совершенства некто по имени Гизо, он все понял.

...Он был высокого роста, в плечах косая сажень, гордый восточный профиль, чистый и звонкий, как горный ручей, голос, острый взгляд задушевных глаз, тонкие или, наоборот, пышные, закрученные в колечки усы и т. д. и т. п. Оказывается, он приехал к ней в Киев и всегда неожиданно, приезжал чаще всего в форме военно-морского капитана с кортиком и аксельбантами на ослепительно-белом кителе, и тогда она надевала черное удлиненное декольтированное платье, перчатки по локоть и они сначала прогуливались по Крещатику, а потом катались на яхте по Днепру. Под шелест паруса Гизо пел что-то свое лихое, кавказское, а она слушала, склонив голову, касаясь веером волос речной глади. Ух!

Иногда он изымал ее из аудитории, буквально на глазах у изумленного профессора и, конечно, к общему восторгу и зависти студенческой братии, и они закусьвали в каком-нибудь экзотическом кабачке, пили там крепкую горилку из больших деревянных кружек, и им прислуживали украинские красавицы с цветочными венками на очаровательных головках. А иногда, ну это вообще был блеск, Гизо подкатывал к общежитию на черной, как кавказская ночь, «Волге» и увозил ее на юг, к морю, к пальмам. Ох, уж этот Гизо! Как он, оказывается, был еще и умен. Он зачитывал ей наизусть «Витязя в тигро-

вой шкуре», рубаи Омара Хайяма и даже некоторые строфы поэта Сатоси на чистом японском языке...

Господи, как она рассказывала об этом своем Гизо! Как живописала... Сколько девственных эпитетов, ласки, душевных излияний... А какая трагическая ломкость взгляда, какое волнующее дыхание, какие глаза, наконец! Полные восторга и превосходства... Но где он видел эти глаза? Какая связана с ними ошибка судьбы?..

Конечно, у каждого есть собственный повод изумляться глашатаям и воярам судьбы, но иногда романтический горец с кортиком мешал ему сосредоточиться. Мужского совершенства нет в природе, во всяком случае, со времен белого движения, к тому же у Дроздова хватало своих иллюзий, но Фане, вероятно, на его иллюзии было наплевать. Она, слава Богу, нашла человека, который ее слушал, — это так редко бывает. Все вокруг хотят излить душу, и все орут, оглохнуть можно, а он слушает, только кисточкой помахивает, слушает и верит.

А однажды у Фанечки случился приступ, и он увидел, как это ужасно. Гут у него все и произошло...

Он тогда закончил картину «Награда», и его захлестнуло ожидание. Он, как никогда раньше, верил в успех, и все, кажется, шло к тому. И был оформист Максимов со своим благословением, и хорошие друзья, и деньги. Была шумная пирушка в загородном ресторанчике, всяческие глупые тосты, дурашливые танцы и сияющая неистраченной молодостью, бесконечно-прелестная Фанечка. Просто был миг счастья — такой редкий подарок фортуны... А ночью он проснулся от испуга — Фанечки рядом не было, но он сердцем почувствовал, что она здесь, в квартире, однако что-то случилось, и ужас от понимания ее трагедии и жалкой своей беспомощности ожег его грудь.

— Фаня, ты где? — позвал он. — Тебе плохо?

В комнате нервно звенела тишина. Ясная, лунная ночь хрупко вырывала предметы, и синие тени под потолком были похожи на фантастические внеземные пейзажи.

Он встал и включил свет. Фаниного платья на стуле не было, и он готов был поверить, что она ушла, и даже обрадовался этому. Но тревога не проходила, и он шагнул в коридор и сразу увидел ее, зарывшуюся у вешалки в одежды.

— Ты что тут? — едва молвил он.

— Тише ты! Там Гизо. Он стоит за дверью, а я не хочу его видеть. Я с ним поссорилась, — ответила она полупшепотом, быстро.

Нет, он ничего тогда не хотел понимать, психанул, схватил ее за руку и поволол к двери. Отворил.

— Смотри, где ты видишь Гизо?

Фаня с воплем вырвалась, бросилась от него в комнату и, когда он вошел следом, лежала на постели, накрывшись подушкой. Какое-то бешенство охватило его.

— Дура, нет в природе этого Гизо! Ты его выдумала и страдаешь. Гизо... Гизо... Где он, этот Гизо, покажи?! Покажи, я набью ему морду! — распаялся он. — Гизо... Роковая любовь... Дурь собачья. Не Гизо был, а какой-нибудь Петя из Урюпинска. Он тебя унизил, обманул, наплевал в душу, а ты этому гаду цены не сложишь...

...Он потом не мог простить себе минуты жестокости.

Она сорвалась с постели совсем не похожая на себя, с изувеченным гневом лицом, с криком бросилась на него, ударила в грудь кулачком.

— Был! Был Гизо! Он есть, он меня ждет... Он меня любит. Он есть — это тебя нет. Нет тебя, нет! Ох, какой ты призрак! — смеясь и рыдая, хрипела она. — Гизо нет... Как же нет? Есть он, есть, мой Гизо. Я его никому не отдам. А ты... ты призрак, тень, мираж. И эти твои картины — призраки. О, как я тебя ненавижу! Ты выгнал Гизо, он пришел ко мне, а ты его выгнал... — И вдруг она как-то ослабла, потерялась и, пусто махнув рукой на картину, сказала будто себе: — Это его глаз.

Он с трудом влил ей в рот полстакана водки, дал сигарету, усадил на постель и обнял. Он сидел так долго, слушая, как бьется там, у нее в груди тяжелое сердце. И вдруг впервые, может быть, за месяцы знакомства с ней почувствовал, как что-то сильное, властное вливается в него — нежность ли, боль... И стало хорошо, покойно, и он вдруг заплакал. И было ему не стыдно перед собой за минуту горькой своей слабости, даже перед Фаней, когда к ней

вернулось сознание и она все поняла. Тронув ладонью его волосы, она зашептала:

— Не надо, бедненький мой. Я больше не буду при тебе. Я постараюсь. Только ты меня не бросай, это ужасно, когда бросают человека. Ты приляг, поспи, а я возле тебя тихонько посижу.

И он лег и сразу мертвецки уснул. А во сне хорошо видел детство, убитого немцами отца и молоденькую маму. А когда проснулся, Фани уже не было. И в комнате было убрано, чисто. И пахло свежесваренным чаем...

— Эй, художник, я ухожу, — сказала Фаня, и он удивился. Она смотрела на него спокойно, с холодной улыбкой, с едва уловимой иронией. — Все нормально, Дроздов, я вспомнила. Я оставила бумаги дома. Совсем бестолковая стала.

«А может, все обойдется», — мелькнуло у Дроздова. Он отложил кисть и пошел проводить Фанечку до порога.

— А ты ведь так и не написал меня. Обещал и не написал. Тебе всегда было некогда, — одеваясь, говорила Фаня. — И не оправдывайся, не написал мой образ и больше уже не напишешь.

— Это ж почему? — удивился он.

— Потому что я ухожу, Дроздов, навсегда. Ты меня слышишь? Навсегда. Ко мне возвращается Гизо. Понимаешь, я без него совсем пропаду.

«Чушь, глупость, о чем она говорит? Какой Гизо?» — лихорадочно думал Емельян и вдруг, увидев ее чистые, умные глаза, поверил.

— Что ж, я рад.

— Нет, ты не рад, Дроздов, не ври. Но так нам будет спокойнее. — Она коснулась губами его щеки и прибавила: — Хороший ты мужик, Дроздов, только невезучий. А два несчастливых человека под одной крышей — это много. Прощай.

Он закрыл за ней дверь — нет, это невысказано, каждый день — ловушка. Чушь, все чушь. Просто ее душевная амплитуда ползет вниз. Вернется... Потом, позже, он ее уже терял, но, Господи, почему так тяжело, так тревожно на душе? Гизо... Гизо... А если все, что она говорит, правда? Все-таки он крепко привязался к этой странной бабенке.

Он пошел на кухню, хранившую еще запах Фанечки, закурил. Сделал две жадные затяжки и почувствовал, как сердце стиснула боль, и в следующий миг он узнал ее лицо.

...Конец пятидесятых. Улица имени генерала Панфилова с выездом на Октябрьский проспект... Дом дворянского собрания с роскошной лепкой, аптека, торговые ряды и черный, сияющий никелем, пухово покачивающийся на рессорах, почти бесшумно катящийся обкомовский лимузин. За рулем лихой погонщик, а на заднем сиденье, влепившись в стекло, девчушка с бабочками бантов. Вот на повороте на Октябрьский проспект погонщик дает резкий сигнал: «Поберегись!», и он близко видит голубые глаза, бьющие наотмашь мощным восторгом и слегка жутковатым по-детски превосходством. Еще поворот колеса — и в газовом шлейфе гаснет номер 33—33.

Охваченный волнующим ознобом, он выскочил на улицу за Фаней. Он не знал, зачем бежит за ней, может быть, лишь затем, чтобы заглянуть в ее глаза и убедиться еще раз, что тогда это была она. Но это было ему нужно. Он что-то очень дорогое терял. Он все-таки догнал ее, тронул за рукав.

— Фанечка...

— Вы ошиблись, мужчина...

3

Он вернулся в квартиру убитый, долго стоял и смотрел на холст, не видя, не различая цвета, и голова от тяжелых мыслей гудела. Пронзительный звонок телефона вернул его в мир. Звонил Сухарик.

— Это квартира Сальвадора Дали?

— Нет, это загородная резиденция майора Пронина, — мрачно отозвался Емельян. — Здравствуй, Валентин.

— Привет, старик! Я тебя огорчу. Цыпкин вычеркнул тебя из списка оформителей. Я старался его убедить, учитывая твои трудности, но Иван Матвеевич и слышать о тебе не хочет. Может быть, ты сказал что-нибудь нехорошее о выставке его работ?

«Каждый день — ловушка», — опять мелькнуло в голове у Дроздова. Иван

Матвеевич как раз и был уполномоченный от Союза, который распорядился снять его картины в клубе орнитологов. Мир чертовски тесен.

— Алло, ты что молчишь?

— Я думаю,— вздохнул Емельян.— Цыпкину не нравятся мои работы, ты же знаешь. Помнишь, он запретил мою выставку.

— Ну и что? Он что, только одну твою выставку запретил? Тут важно, как себя вести. А ты, наверное, грубил.

— Нет, я промолчал.

— Молчать в наше время тоже надо уметь,— сказал Сухарик с интонацией великолепного мэтра, и Емельян вспомнил, как много лет назад, когда они работали на юге на оформлении детской здравницы, Валентин Сухарев после стакана вина бил себя в грудь и говорил: «Я ученик Дейнеки»,— и выходило у него точно так, как и сейчас,— с интонацией великолепного мэтра. Он и девушкам представлялся как славный ученик Дейнеки, а девушкам было наплевать — они видели перед собой рыжего, с физиономией клоуна чудака, а о Дейнеке имели смутное представление. С годами свою причастность к Дейнеке Сухарик утратил, и Дроздов не помнит, чтобы он когда-нибудь об этом пожалел.

— Жаль, я рассчитывал,— сказал Емельян.

— Еще бы, отличный заказ. Ладно, я еще попытаюсь воздействовать на Цыпкина через одного человека. Будем надеяться. Кстати, ты где сейчас прописан?

— В доме санитарного просвещения.

— И что ты там делаешь?

— Рисую зеленого змия и иногда рассказываю языком плаката о вреде абортгов.

— Гениально... В полный рост! — хохотнул Сухарев.— И сколько ж они тебе платят?

— Стипендию студента первого курса.

— Негусто, но если ты взял кредит у вечности, тогда все в порядке. Пирсомани не ел арбузов, которые писал, а Саврасову вечно на водку не хватало.

— Пошел к черту, есть хочется всегда.

— Логично. Тогда бери ручку и записывай.— В трубке возникла пауза.— Бекетов Семен Сергеевич, директор торговой базы. Это на Дачной, знаешь, где все блатные отовариваются? Телефон...

— Объясни, я пока ничего не записываю.

— Семен Сергеевич Бекетов — ветеран-малоземец. Он хочет увековечить свою фронттовую встречу с отцом родным в масле размером метр на полтора, понял, в жанре социалистического реализма. С фотографии. Он хорошо заплатит. Оформит на несколько месяцев к себе каким-нибудь кладовщиком. По-моему, отличная халтура.

— Это, старик, не для меня.

— Понимаю, у тебя принципы, ты ценишь свое имя, но имей в виду: обстоятельства всегда сильнее честолюбия. На всякий случай запомни — Семен Сергеевич Бекетов, директор торговой базы на Дачной. Скажешь — от меня. Я бы сам взялся, но у меня срочный заказ, а так больше ничем порадовать не могу. Есть еще местечко в похоронном бюро — ленточки на венках подписывать, так сказать, для сильных духом...

— Не издевайся.

— Кстати, ты Цифру знал? Ну, помнишь, в юности был правый форвард в «Буревестнике», его даже в класс «А» брали? Отличный футболист, чем-то Стрельцова напоминал.

— Не помню. Я не люблю футбол,— ответил Дроздов, начиная уже уставать от Сухарика.

— Ты что, не знаешь Павла Андреевича Анциферова, директора мясокомбината? Это ж Цифра и есть. Умер он сегодня. Рак... слопал...

— Да? А я считал, что таким людям обеспечено бессмертие. Надо полагать, в городе объявлен траур?

— Кончай, старик. Я к тому, что наше поколение открывает счет.— Сухарик помолчал и сказал холодно: — Если вопросов нет, даю отбой.

Емельян хотел поблагодарить за хлопоты и попрощаться, но тут вдруг вспомнил.

— Напрягись, Валя, тебе ни о чем не говорит имя Гизо?

— Гизо! Однако такого знаю. Главарь рыночной мафии. Наших лет мужик. Щеголь, но вообще темная личность. А что, мафия предлагает работенку? Соглашайся, они платят по-барски...

— Нет-нет... Это другое... Привет! — оборвал разговор Емельян и положил трубку.

«Удивительно, оказывается, Гизо существует», — подумал Дроздов, ощущая прежнюю тревогу.

Он вернулся в мастерскую к мольберту, взял кисть и задумался. Что ни говори, а все получалось худо... Заказ сорвался, и Фаня умелась к Гизо. Нет, наоборот. А как жить? Емельян взъерошил волосы, вздохнул: «Надо мысленно просчитать до десяти и вспомнить что-нибудь хорошее. Надо собраться и продолжать работать». Взгляд его машинально остановился на картине «Апокалипсис», и тотчас перед ним возник бравый участковый, младший лейтенант милиции товарищ Тургенев.

...Это было в позапрошлом году, дождливым ноябрьским днем. Он тогда заканчивал работу над картиной «Апокалипсис», был очень увлечен, и резкий, как известие о стихийном бедствии, звонок едва ли не привел его в состояние шока. Ругнувшись, он отпер дверь неожиданному гостю — это был милиционер в серой, мелко кропленной дождем шинели, с кожаной сумкой-планшетом в руке.

— Я участковый, младший лейтенант Тургенев, — представился он и скорым, воздушным жестом конферансье взял под козырек.

— Очень приятно, — впуская гостя, ответил Дроздов, неожиданно разволновавшись. Этот юноша, почти мальчик, в тяжелой милицейской шинели был невероятно похож на сына Левку. Такое же бледновато-белое, как пасхальное тесто, личико с большими коричнево-серыми, Луизиными, глазами, с молочными ямочками на щеках, с мягким, еще не окрепшим пушком под носом — кроткий, нежный ангелочек. Разве что грубая, несколько широковатая милицейская шинель, портупец с кобурой, фуражка с высокой тульей и короткий кадетским козырьком тяжело огрубляли этот рисунок. И Емельян как-то сразу отказался ему верить: уж больно портрет мальчика-милиционера напоминал ему школьный спектакль с вариациями на тему рассказов Шейнина.

— Вы Дроздов? — строго и четко определяя дистанцию, спросил участковый.

— Разумеется, я Дроздов, — улыбаясь и сокращая дистанцию до минимума, ответил Емельян.

— Предъявите, пожалуйста, документ.

— А вы мне не верите на слово?

— Вы взрослый человек, гражданин. Я на службе! — решительно укрепив тенорок металлом, сказал мальчик-милиционер и по-хозяйски прошел в комнату.

Емельян долго искал паспорт и нервничал — вечно он куда-то девался, а участковый, рассматривая картины, нахально топал сапожищами, следил. Дроздов наконец нашел паспорт, подал. Любопытно, чем он мог заинтересовать соответствующие органы? Конечно, никакой вины за ним не водится, а все-таки тревожно.

— Почему не работаете четыре месяца? — поинтересовался участковый, глядя на Дроздова сурово, не мигая, ответственно, как и положено стражу порядка, но этот живо трепыхающийся в лице милиционера контраст детскости и напускной, явно с другого плеча, бравады отвлекал, сшибал Емельяна на улыбку.

— Я работаю, разве не видно?

— То, что вы пишете картины, — это ваше личное дело. Я иногда тоже балуюсь кистью. Но мы имеем сведения, что вы не работаете на производстве, то есть не занимаетесь общественно полезным трудом. Я со своей стороны пока ограничусь предписанием. Но если вы в недельный срок не трудоустроитесь, мы будем вынуждены вызвать вас на комиссию.

— Ну и что решит комиссия? Под белые ручки? — спросил Емельян. Откровенно говоря, он не мог поверить в серьезность своего положения.

— Там видно будет, — категоричным тоном пообещал участковый что-то принципиально невеселое. Он вернул паспорт и спросил, кивком головы указав на мольберт: — Что это у вас?

На холсте были изображены нагие юноша и девушка у ночного окна. Ги-

гантская белая молния острой вспышкой, как мечом, отсекает у запястьев вытянутые руки, и те, крепко сомкнутые в единый кулак, потеряв человеческий цвет, каменно отваливаются, а со стены падает икона богоматери. Сама же комната как бы выдернута из сферического пространства, в котором властвует Апокалипсис.

— А как вы думаете?

— Я никак не думаю, гражданин Дроздов. Я при исполнении служебных обязанностей. Я вижу, вы верующий?

— А вы разве нет? — Емельян едва сдерживал смех — этот милицкий пегушок, должно быть, далеко пойдет.

— Как вы такое можете спрашивать у меня, комсомольца, представителя власти? — розовея лицом, горячо запротестовал мальчик-милиционер и понесся к выходу. Оранул с лестницы: — Не забудьте трудоустроиться в недельный срок!

В недельный срок он тогда не трудоустроился, но до комиссии дело не дошло. Подвернулся какой-то заказ, и трудовая уплыла по назначению.

Вспомнил сейчас Емельян про давнего гостя, участкового мальчика-милиционера с душой при исполнении, и сделалось ему вовсе худо, тягостно, хоть в петлю лезь.

Встал, походил в раздумье по квартире, на кухне в холодильник времен раннего ренессанса заглянул, а в нем брусок оржавевшего сала, две пачки маргарина и еще какая-то постылая холостяцкая глупость в кастрюльке, и принял решение. Вперед, на улицу Дачную, к славному соотечественнику Семену Сергеевичу Бекетову. Быстро собрался, рубашку свежую надел, галстук и вылетел, привычно вогнав себя в движение, как в обойму. Это хорошо, что в мире есть Цыпкины, за ними тяжело гнаться, за ними никогда не успеть, но они дают возможность сохранять бойцовский характер. Нет, обстоятельства не сильнее честолюбия, просто у обстоятельств больше преимуществ.

4

А Семен Сергеевич Бекетов, директор крупной торговой базы на улице Дачной, был занят. У него надолго засел представитель из какой-то важной организации. Об этом сообщила Дроздову элегантная секретарша с красивым, но простоватым лицом. Такие лица лишь на миг ослепляют жадностью женского тщеславия, но, лишённые тайны, они никогда не останавливают дыхания и потому легко, без потерь, забываются. И Емельян, делая шаг к выходу и огорчаясь, уже забыл ее лицо, но секретарша его остановила.

— Минуточку, мужчина, вы кто? Вы договаривались с Семеном Сергеевичем? А то он ждет одного человека.

— Вряд ли он ждет меня. Я художник Емельян Дроздов, от Сухарева. Передайте, пожалуйста, — ответил Дроздов, отчего-то чувствуя себя маленьким и провинившимся.

Секретарша рассеянным, равнодушным взглядом скользнула по его лицу и ленивым, но полным профессионального изящества жестом нащупала кнопку переговорного устройства и сообщила Бекетову, что пришел человек от Сухарева, и тот невидимый Бекетов после паузы лаконично распорядился:

— Пусть ожидает.

Емельян сел на краешек стула, пригладил волосы и, опустив замок черной болоньевой куртки, чуть освободил под галстуком ворот. В приемной было душно и пахло исходящими и нисходящими бумагами, хорошими духами и еще чем-то временным и тревожным. Секретарша подписывала и проштамповывала открытки, изредка поглядывая в окно, на покрытые перламутровым гляncем голые ветви старых лип, в покойную, почти безжизненную пустоту улицы, и Емельян, машинально следя за ней, тоже заглядывал в окно, вдруг испытывая безжизненный покой в себе и легкое оупение. Наконец из кабинета выкатился розовощекий, улыбающийся шарик. Он выкатывался задом и, прощаясь с милым его сердцу Семеном Сергеевичем, кланялся.

Емельян открыл кожаную дверь, не дожидаясь приглашения, и человек, который сидел за большим столом в глубине сияющего свежестью карельской березы роскошного кабинета, не глядя, жестом указал ему на кресло, ответив на приветствие равнодушным кивком. Он смотрел бумаги, был занят.

Дроздов ненавидел руководящие кабинеты и от их полированного оглушения терялся. Сейчас перед ним, нахохлившись и некрасиво смяв подбородок,

восседал довольно крепкий пожилой человек в дорогом, идеально отутюженном сером костюме, с бледным гладким лицом и глубоко утопленными в подлobie темными глазами. Он был не круто, не размашисто сед, и седина удачно контрастировала с черными, чуть вьющимися волосами, придавая его голове особый щеголеватый лоск. Только угловатый контур нижней части лица, большой рот, глубокие дужья у носа, грубо усиливая характер, как-то отяжелляли общее приятное впечатление.

Бекетов что-то там отыскивал в большой папке, и лицо его ловко меняло выражение досады, изумления, вопроса, разочарования, словно он открывал двери в кабинетах и встречал знакомые физиономии. Но, кажется, этот старик начисто забыл о своем героическом прошлом, и Емельян мало-помалу начал испытывать нервное нетерпение. Наконец Семен Сергеевич хлопнул колени об обложку и вышел к нему из очередного кабинета с холодным достоинством и собственной правотой. Пригладив седину у виска, он сказал Дроздову без всякой предварительной разведки и церемоний:

— Надеюсь, содержание работы тебе известно. Сухареву я доверяю.

Он проговорил это хорошим руководящим басом, и глаза его в тихом недоумении и капризе властно блеснули. Емельян понял, что теперь ему необходимо следовать за товарищем Бекетовым без лишних слов, потому что только Семену Сергеевичу известно, насколько прочны человеческие взаимоотношения и что в них главное. И то, что он его сразу назвал на «ты», хоть и неприятно задело самолюбие, но на этом уровне органично вписывалось в ситуацию.

— Как тебя зовут? — по-отечески спросил Бекетов.

— Дроздов... Емельян Васильевич.

Директор сморщил лоб, призадумался, будто что-то припоминая, но, так ничего и не припомнив, встал из-за стола и шагнул к полированной стенке.

— Вы, художники, — вообще-то мошенники. Сделаете на рубль, а просите сотню. Знаю я вас! — хитро пригрозил он пальчиком.

— Все зависит от воспитания, — попытался было рассеять неловкость Дроздов, но Бекетов не обратил на это внимания. Он отворил инкрустированную дверчку в стенке, порылся там в бумагах и извлек пожелтевшую фотографию. Подал ее Дроздову и сказал:

— Эта фотка очень дорога мне.

На обычном любительском снимке, какие еще сохранились со времен войны в старых альбомах, был изображен полукруг бойцов, сидящих в свободных позах, без оружия на поляне, а тот, из-за которого необходимо было все это увековечивать в масле размером полтора на метр, стоял к объективу спиной, и лицо его было схвачено в профиль. Он что-то рассказывал красноармейцам, смотревшим на него устало и угрюмо. Товарищ Бекетов, очень юный, с гусиной шеей, сидел с краю, вникая в суть происходящего, туповато набычившись. В нем едва-едва угадывался нынешний директор, и Емельян вдруг уловил себя на том, что перенос этого документа на холст искалечит характер памяти, и та, потеряв прежнее свое естество, станет красочной фарисейской глупостью. И дело здесь не в степени дарovitости исполнителя, просто природа не терпит тождества, а рассеянного во времени особенно. Очевидно, Бекетов почувствовал сомнения художника, долго, очень внимательно рассматривающего фотографию, и потому настороженно спросил:

— Тебя что-то не удовлетворяет? Сложная работа?

— Да нет, дело не в этом, — раздумчиво проговорил Емельян и вернул фотографию. — Посмотрите внимательно. Вам ее не жалеть?.. Она потеряет свое вдохновение.

— Надеюсь, фотка не пострадает, — не понял Семен Сергеевич. — У меня есть некоторые соображения. Людей можно оставить пять, от силы семь. За чем такой хоровод? Вот тут, за нами, надо бы углубить пространство и поставить боевую технику. Мы тогда готовились к прорыву. Кустарник убрать, невыразительно, правда, нет фронтового духа. Ну и лицо нашего благодетеля надо бы больше развернуть к зрителю. Сколько ты возьмешь?

Емельян не ждал этого вопроса, по крайней мере сейчас, внутренне содрогнулся и почувствовал, что краснеет. Вероятно, товарищ Бекетов считал эксплуатацию вежливых слов и связанных с ними понятий недопустимой роскошью. Он оставался деловым человеком даже в недрах собственной памяти.

— Давайте я пока попробую. Набросаю эскизы, — ответил Дроздов в совершенном смятении, неопределенно.

— Ну что ж, годится. Посмотрим эскизы, тогда и поговорим о цене. Это меня устраивает.— Семен Сергеевич остался доволен, даже улыбнулся.— Я думаю пока оформить тебя на рабочее место, чтоб не тянуть с зарплатой. А картину, так сказать, сделаем достойным общественности. Для нашего красного уголка. Все, братец, должно быть по закону.

В переговорном устройстве возник звонкий голос секретарши:

— Семен Сергеевич, к вам профком с тканью.

Бекетов сел за стол и, ответив по переговорному: «Пусть войдет»,— сказал Дроздову, темнея лицом:

— Умер директор мясокомбината. Молодой еще человек. Мы тут его коллективно, предприятиями хороним.

Вошел председатель профсоюзного комитета, лысоватый пузатенький человек, быстрый в движениях.

— Семен Сергеевич, я принес ткань на обивку гроба. Как вы говорили, бархат двух оттенков и белую бязь.

Он бросил ткань на стол и накрыл ею фотографию. Бекетов с недовольством вытащил из-под нее снимок, отложил и начал мять в пальцах ткань, сначала ярко-алую, потом бордовую. К бязи он не прикоснулся.

— Это пойдет! — скомандовал он, указав на ярко-алую.

— Понял,— согласно кивнул быстрый человек, забирая ткань и уносясь к двери. Но у двери вдруг остановился.— Семен Сергеевич, гроб уже готов, но Чикин отказывается обивать, говорит, что работа должна быть деликатная, художественная, а он не специалист.

— Дурака валяет твой Чикин! — рассердился директор.

— Да нет, Семен Сергеевич, не валяет,— не согласился председатель.— Он нам так обтянет, позора не оберешься. Ему бы какого-нибудь толкового человека в помощь, а вы всех людей на прирельсовый на разгрузку цитрусовых отправили.

— Ладно, иди, пришлю кого-нибудь,— отмахнулся Бекетов. Он потыкал кнопки селектора — всюду шли длинные гудки, вздохнул.— Нет никого. Все разгружают цитрусовые. Городу нужны марокканские апельсины. Ну да Бог с ним... На чем мы там остановились?

— На эскизах.

Семен Сергеевич потянулся к фотографии, но тут раздался гудок селектора. Он нервно снял трубку и сразу как-то подтянулся.

— Да, Александр Михайлович. Уже готов. За нами задержки не будет... Вас понял... Отправим сразу.— Он положил трубку и, легко ослабив напряжение в лице, вдруг предложил Дроздову: — Слушай, может быть, ты поможешь этому Чикину? Вы же там декораторы, дизайнеры, мастера на все руки. Сделай, я тебя задним числом оформлю и еще апельсинов дам. А то вот второй звонил...

Он уговаривал Дроздова, а тот растерялся, ему нечем было возразить — в более глупой ситуации он еще не оказывался. Конечно, душа Емельяна Дроздова протестовала, но не сильно. Чисто по-русски, в себе.

А Бекетов, добившись от него молчаливого согласия, позвонил в кадры и вызвал какую-то Ираиду Степановну, и тотчас в кабинете возникла сухая канцелярская дама, необычайно высокая, в строгом темном костюме, с белым под горло жабо и с хриловатым, прокурненным голосом. От нее разило такой жгучей скукой, что Емельян вконец пожалел о том, что явился сюда, в это драпированное карельской березой царство героического малоземельца.

Однако дама из кадров энтузиазма по поводу ложного трудоустройства художника на базу не выразила. Тогда они дополнительно обменялись взглядами, и этого оказалось достаточно, чтобы остаться вполне довольными друг другом и увлечь в русло событий уже нового сотрудника. (Юридический акт — это уже позже, после обивки гроба.)

Потом Ираида Степановна долго, до ряби в глазах, вела его мрачными, сплошь заставленными ящиками коридорами, вонючим двором к плотницкой мастерской и сдала его с рук на руки крохотному носатому деду в стеганом ватнике и кепочке-разноклинке времен юности художника Емельяна Дроздова. Это и был Чикин.

Старик готовился обедать, раскладывал на газетке рядом со свежеизготовленным гробом еду. Маленькие его глазки, тронутые влажной хмелью, наливались лукавым любопытством, так и шныряли.

— Новенький? — спросил Чикин тонким голоском и, не дожидаясь отве-

та, протянул на удивление крепкую, большую руку.— Давай знакомиться. Я Петр, Егора сын.

Емельян, утопая в ладони, назвал свое имя.

— Ты что, инженер?

— Нет, почему вы так решили? — удивился Емельян.

— А так. Рука у тебя ватная, как у барышни. У нас туточки много инженеров работают на складах. Места свои побросали да и прут к нам. А как же, в магазинах пусто, только в телевизоре густо. Закусывать-то всем охота. А у нас все есть и украсть можно. Умеючи. Хотя и не умеючи, я так думаю, тоже можно,— рассуждал Петр Егорович, крупно нарезаая твердую, дорогую колбасу.— Да ты, парень, раздевайся. Курточку в шкафчик определи, а халат накинь. У нас с тобой сейчас затейливая работенка будет. Вот этот пенальчик в бархат закуем аккуратно, соответственно чина покойничка. Шуму-то нынче много, мясник главный помер. Делегации с утра принимаю. Все по-ровят пощупать гробик, как ему там, кормильцу, не туго ли лежать будет?

Чикин открыл дверцу инструментального ящика и вытащил начатую бутылку водки.

— Бери табуретку, подгребай. Не обедал, поди. Выпьем помаленьку. На помин души принесли. Все одно дармовая. А харчишки-то, глянть, считай, с барского стола.

Пить Емельяну не хотелось, есть — другое дело. Есть ему всегда хотелось. Он взял табуретку, подсел к столу, нравился ему дед.

Выпили. Чикин долго кряхтел, мучился — все воздуха ему не хватало. Сказал в сердцах:

— А по мне, они хоть бы и все повыздыхали. Легче дышать будет. Кто про них знал-то, про мясников, в старину? А никто. Мясник, он завсегда мясник. А туточки, как генерала, хоронют. Бархатцем вот гроб обтяни да еще как-нибудь в складочку, с фокусом. Боятся, значит, друг перед дружкой осрамиться...

Гроб обивали ловко, споро. Выходило хорошо: и складочка стелилась, и гармошка по ребру. Чикин ликовал — соображает, однако, этот новенький, хоть и руки холеные, а со вкусом, со смыслом работает. Только не больно разговорчивый, опечаленный, как бы и не в себе. А Емельян, заколачивая гвозди, держал в голове разные мысли и в который раз клял себя за слабость характера: ну на кой черт, спрашивается, он связался с этим Бекетовым? Обошелся бы как-нибудь. Услужил, однако, Сухарик с заказом. Обхохочется, когда узнает, как ловко купил его Бекетов. Конечно, обтянуть гроб Цифре, который когда-то в юности играл правым форвардом в «Буревестнике» и которого он, хоть убей, не помнил, дело нехитрое, чего ж не помочь, если все вдруг ушли на разгрузку марокканских апельсина. Но не в этом дело — эдак можно и каждого в лапти обусть...

— Ты брось, парень. Ты ум свой не погань ерундой,— перебивал его мысли старик. Не мог он молча работать, душа не позволяла.— А то на тебе вон и лица нет. Или покойник — сват твой?

— Нет, не сват и не брат,— отвечал Емельян, криво усмехнувшись.— Каждый день ловушка получается.

— Эт точно,— подхватывал дед.— Не знаешь, с какого боку ждешь оплеуху. Ну мы-то привычные. У нас на ушах мозоли... Ха-ха...

Приходил председатель профсоюзного комитета, быстрый человек в дубленке, благодарил за качественный труд, обещал бутылочку и от избытка чувств хлопал Емельяна по плечу душевно, как нужного человека.

— Я ему не верю. Брешет он про бутылочку,— сомневался Чикин.— Небось, под этой маркой ящик хапнул.

Потом приехали крепкие ребята на грузовике и стали гроб грузить. Чикин решил было помочь по простоте душевной, а может, так, хмельной резвости ради, но его отодвинули — иди, мол, дед, отдыхай, ты свое дело выполнил аккуратно, так что получай всяческую благодарность и живи долго. Чикин несколько не осерчал, плечом к Емельяну притерся, возле него спокойнее. А Емельян, тупо наблюдая за погрузкой, чувствовал, как где-то там, под сердцем, воспаляется боль, надвигается тихой угрозой, и не остановить ее, не унять...

Водитель тронул, и грузовик с гробом медленно поплыл мимо вонючих ящиков и бочек, мимо пустых грязно-серых складских причалов, и Дроздов вдруг с ужасом понял, что в гробу том навек упрятана его душа.

— Пошли, что ли, придушим остатнюю,— предложил дед.

— Не хочу! — наотрез отказался Емельян.

Он не спеша переодевался, а дед Чикин, выпив стаканчик и тяжело хмелея, говорил ему с сердцем:

— Ты это зря сюда устроился. Тут народец гадкий, шельмовый, а ты, я вижу, малость совестью контуженный. Здоровым тут только и работать, кто рвать зубами может.

— А как же вы? — спросил Емельян.

— Да и я ж такой. Людей вроде жалею, а при случае рвану зубами, аж кожа затрещит. И не гляди на меня с обидой, обида, я тебе скажу,— вошь, вот презрение — да. В презрении и есть наша сила великая. Так что гуляй отсюда, парень, а еще лучше — беги.

— Куда бежать-то, Петр Егорович?

— Не знаю,— пожал плечами старик и подал руку.

Емельян вышел и зашагал по двору, хорошо думая о старике.

День угасал, и воздух плотнел. На островках несвежего, ноздреватого снега тяжелели тени.

К зданию управления базы подкатила сияющая белизной «Волга», и на пороге показался Семен Сергеевич Бекетов, элегантный, в дорогой упаковке крепкий старик с фарфоровым лицом и глубоким болезненно-капризным взглядом темных овечьих глаз. Он молодецевато сбегал со ступенек, поглощенный белым зовом машины, и услужливый водитель уже открывал ему дверцу. И тут он заметил его, Емельяна Дроздова.

— Эй, художник! — позвал он, и Дроздов подошел, чувствуя, как неожиданно закипела в нем злость.— Зайди в отдел кадров к Ираиде Степановне, оставь заявление и возьми свои апельсины. Там и фотография. Ты забыл.

— А вы мне не тычьте. Не тычьте, пожалуйста, я вам не холуй! — выкрикнул Емельян и двинул от Бекетова прочь.

5

...Он как-то сразу осознал Бекетова и, не испытывая к нему ровным счетом никаких чувств, легко уронил его в прошлое, где таких Бекетовых было много. Надо было подумать, сосредоточиться, но в мыслях путалась идиотски-лозунговая фраза: «Даешь погрузку марокканских апельсинов» — и было от нее и смешно, и тоскливо. Боль в груди не унималась, но и не пугала, и он думал о ней почти равнодушно, может быть, даже желая себе еще большей боли, как спасения. Жизнь опять загоняла его в тупик, но тупик был не страшен, страшно было другое — неизбежность тупика. Впрочем, тупик — это еще не отчаяние, а только потеря движения, когда вдруг обнаруживается, что сомнений нет и сама жизнь, лишенная на миг сопротивления, обретает холодную ясность и смиренный покой.

...Он шел по широкому проспекту в центр города и видел, как там, вдалеке, у горизонта, густеет закат и небо из бледно-розового становится синим, а первые знобкие сумерки ложатся вокруг сиреневым намывом.

И вдруг на тэобразном перекрестке улицы имени генерала Панфилова и Октябрьского проспекта, у телефонной будки с новеньким аппаратом внутри, он остановился — это шальная память, как искупление, вернула ему некогда утерянное пространство. И перед ним встала тоненькая, как струйка крови, улица Любви, втекающая в гигантский проспект Надежды, такая вот телефонная будка без стекол и без сердца в самом центре дорог. А по той улице Любви и по проспекту Надежды так же, как сейчас, нескончаемым потоком шли люди, счастливые и несчастливые, но во все времена чудовищно чужие друг другу. И взгляд сейчас ловил в веренице машин, в бархатном сиянии заката черный лакированный лимузин на мягких рессорах и лихого погонщика с лицом Калигулы. Именно здесь, у телефонной будки, которая без трубки и почти без стекол казалась тогда металлическим изваянием обморока, карета Калигулы с сумасшедшей девчонкой делала резкий поворот, и в газовом шлейфе истаивали замечательные цифры 33—33. Она потом неслась мимо здания дворянского собрания, мимо старой аптеки и длинных торговых рядов, в которых сидели дряхлые данайцы со своими дарами — марокканскими апельсинами, вонючей воблой и большими гипсовыми амурами. И как-то сразу исчезала вдали, только стрелы гипсовых амуров еще долго летели за ней вслед.

Нет здания дворянского собрания с роскошной лепкой, нет аптеки, а от даров данайцев осталось воспоминание, как от дурной икоты, но есть телефонная будка, не та, без стекол и без сердца, а эта, полная гармонии и вечного соблазна быть понятным.

И он зашел в телефонную будку и набрал номер 33—33.

— Алло, Луиза.

Он хотел сказать ей: «Помнишь, Луиза, тот далекий майский день накануне сессии в одна тысяча девятьсот?.. Нет, это совсем уже неважно, в каком году, может быть, в прошлом тысячелетии, но это было, я встречал тебя из анатомички, и нас захватил грозовой ливень. Помнишь, мы тогда забежали в телефонную будку на Октябрьском проспекте, только она тогда была почти без стекол, и сильный ветер заметал в нее струи, и мы вымокли почти до нитки, но не это главное. Ведь нам было наплевать, правда? Мы целовались, как сумасшедшие, и нам сигналили таксисты, или нам казалось, что только нам. А может, этого и не было, Луиза, может, это я все выдумал? Но я очень хорошо помню запах твоих волос, пахнувших анатомичкой и дождем. Он меня преследует всю жизнь... Я не знаю, Луиза, прав ли я или виноват, по моему, я все-таки чего-то не понял. Да, я всю жизнь писал монолог, писал, как умел, как позволяла душа. Я старался, и, если получалось интервью или комментарий, в этом тоже был смысл. Конечно, в монологе больше истины, чем милосердия, но человек рождается для поступков, а не для их предвосхищения... Скажи, Луиза, я счастлив?»

— Господи, Емельян, как хорошо, что ты позвонил! Я весь день не находила себе места, даже отказалась от операций. Меня подменил Клещевский, он иногда меня понимает. Знаешь, Емельян, мне приснился ужасный сон, сразу после того, как ты сделал этот дурацкий звонок. Представляешь, ты встречаешь меня из анатомички, и мы идем по нашей Панфиловской улице туда, к телефонной будке, и будто бы начался дождь, только я успеваю спрятаться в будке, а ты остаешься там, на улице, под проливным дождем. Ты стоишь у мольберта и пишешь мой портрет. А я дико хохочу, потому что струи забавно смывают изображение, но ты упорно не обращаешь на это внимания. Ты увлечен, слышишь? Ты весь в работе, как всегда. И вдруг ты протягиваешь мне рисунок, а на нем ужасный глаз...

И тут он почувствовал, что в груди остановилось сердце, но сознание было ясным, и мир за окном сохранял привычное движение и теплые краски, и он не хотел верить в то, что сердце в груди остановилось навсегда. Он хотел быть обманутым еще раз...

— Алло, Дроздов, ты меня слышишь? Глупость, правда, но почему мне так плохо сегодня, почему, а? Какое-то черное предчувствие. Я просто не нахожу себе места. Нам надо встретиться, слышишь?.. Я звонила тебе домой, но там эта твоя несчастная Фаня. Ты что, оставил ей ключ? Я ее спрашиваю, где Емельян, а она мне предлагает послушать стихи какого-то Сатоси на японском языке. По-моему, она совсем... Слышишь, Емельян, а Левка не любит Ивашкина. Ивашкин его воспитал, дал ему все, а он его не любит... Алло, Емельян, ты куда там пропал? Ты где, откуда звонишь? Алло, ты меня слушаешь? Не молчи, родной мой, пожалуйста, не молчи...

г. Шахты Ростовской обл.

Без дали и боли

* * *

Разбиты в борьбе за надежду и
Итоги подводим ночами.
Возможно, игра и не стоила свеч,
Но мы не служили свечами.

Привет поколению вольных зверей,
Живущих без дали и боли.

Нам должно со сцены сойти
И в этом трагедия, что ли?
Да нет же, трагедия в том,
Разбитых, ущербных, убогих,
Кто будет играть человека сейчас
И древних трагедий отроги?

* * *

Я знаю, что Цербер окажется крошечным псом,
Что главный палач домовит и страдает одышкой,
Что в детстве мы часто играли с Фортуной в серсо:
Она убежала, а я забывалась над книжкой.

Я знаю, что Парки прозрачная нить вплетена
В ту грубую ветошь, которой мараюсь в котельной...
Я знаю: безмерна тем более наша вина,
Что наши убоги враги и уступки бесцельны.

Ушастые карлики, войско седых мелочей,
Зачем нас учили безмерности нашей стыдиться,
И как мы забыли, жалея своих палачей,
Что наши сородичи — боги, деревья и птицы?

* * *

В дымной станции перевалочной
У дороги худой и тряской —
Только память с волшебной
Да судьба с милицейской указкой.

Вот такие достались ангелы
Мне в хранители, нет —
Неказистые, роста малого,
Лиц не видно, как на собрании.

За спиной капюшоны серые
Посылают вперед и к паперти,
Да порою прошепчешь:
Под волшебным кристаллом памяти.

Что ж, спасибо двум серым
Или ангелам в ржавых крыльях.
Охраняют от счастья, — думала, —
От бесчестия сохранили.

* * *

И все наши бредни давно позади:
Как частыми бреднями рыбу в реке,
Так нас отбирали, и мы налегке
Готовы идти, но куда нам идти?

Как частыми бреднями рыбу в реке,
 Всех лучших из нас отобрали давно...
 А прочие... Укусом стало вино,
 И слово пищит, как синица в руке.

Нас так отбирали, и мы налегке:
 Лишь страх безъязыкий да совесть без рук
 В ночных сторожах у друзей и подруг,
 И их колотушка — удары в виске.

Мы можем идти, но куда нам идти:
 Ведь эти калеки останутся здесь,
 А их переключка — последняя весть
 Для сердца, чьи бредни давно позади.

Памяти Паскаля

Все пройдет и пребудет, пребудет и снова пройдет,
 Эти люди в плащах станут птицами в крыльях железных,
 Но один из них, тот, что застыл, каменея, над бездной.
 Неизменным, как бездна, навеки окажется тот.

Станет прахом железо, и мрамор уйдет в забвенье,
 Письмена на песке и граните равно бесполезны,
 Но забвенья избегнет безумец, застывший над бездной,
 Ибо в бездне узрел и воздвиг отраженье свое.

* * *

Впереди ничего,
 Кроме жизни, и этой, и — той.
 Позади ничего,
 Кроме жизни, ни той и ни этой.
 Облака на душе.
 Ни гроша, ни гроша за душой,
 Но прорежется голос,
 Когда твоя песенка спета.

И в подростка-Арахну
 Паук превращается вновь,
 И спешит состязаться
 С жестокой и правой Афиной,
 И две жизни сшивает
 На нитку живую любовь
 Швом болезненней нерва
 И тоньше лесной паутины.

* * *

На свалку судеб недовоплощенных
 Тащигь свое... Еще одна попытка
 Не получилась. У тебя? У Бога?
 У вас обоих, но вина — твоя.
 Бракованные статуи в щбенку
 Дробятся. Образуется дорога.
 Пути Господни неисповедимы,
 Но не его ступни кровоточат.

А судьбы те, что завершенней
 статуи,
 Они белеют вдоль слепой дороги.
 Какой поэт пройти по ней сумеет
 Не мальчиком, отправленным в
 музей,
 Но дерзким и свободным
 подмастерьем
 У мастера, чье имя — тайна тайн?

О поэтах

Гигантские ленивцы
 Появляются в сумерках.
 Слепые отростки дерева жизни,
 Ползают они по веткам деревьев
 И глядят удивленно.
 Берегите гигантских ленивцев:
 Вы думаете, легко
 Воспринимать непоправимые
 Уроки эволюции
 С детской обидой?



Младший брат

РОМАН

Глава пятая

— Ну вот, держите наконец. — Облаченный в звездно-полосатые плавики профессор Уайтфилд протянул Марку запечатанный конверт. — А книга для Андрея и калькулятор для вас были в пропавшем чемодане. — Я уже звонил в Москву, — утешил его Марк. — Чемодан ваш отравили в Тбилиси, но сегодня после обеда обещали доставить. И не бойтесь, лезть в него никто не станет.

Нерадивый «Аэрофлот» обидел еще и Люси, избытком сдержанности не страдавшую. «Миссис Яновская, да успокойтесь вы, — лениво твердил Марк, — любая авиалиния в мире может потерять чемодан, тем более что его уже нашли, понимаете, нашли, обнаружили, разыскали!» «А если что-нибудь украдут? — вопила уроженка Лемберга. — Там моя американская одежда, и не нужны мне ваши паршивые триста рублей компенсации!» «В СССР нет воровства», — защищался затравленный Марк. Пока суд да дело, Сара Коган ссудила стропливой соотечественнице купальник, Клэр — пару джинсов, Диана — кофточку, и, несколько приутихнув, она плескалась в теплом море с тем же удовольствием, что и остальные.

Деликатный Берт отошел в сторонку, и Марк, поудобней пристроившись на жестком деревянном лежаке, надорвал долгожданный конверт. Письма от Кости приходили и раньше, но все до единого писались, конечно, с оглядкой на цензуру.

«Привет, — Марк прикрыл ладонью глаза от слепящего солнца, — как видишь, добрался и я до страны зрелого капитализма, озабоченной ростом цен на бензин, безработицей, Вьетнамом и прodelками безобразника Никсона. Нашего брата, эмигранта из Совдепии, однако, покуда пускают, причем на правах беженцев, что дает массу разнообразных льгот. Я обосновался, как и следовало ожидать, в Нью-Йорке, и за два миновавших месяца завел кое-каких приятелей (с друзьями гораздо туже). Живу в небогатом Квинсе, засыпаю под грохот и мерзкий скрежет надземной железной дороги — вроде метро, но гаже, хоть и трудно представить себе что-нибудь гаже пропахшего гниющим мусором нью-йоркского метро, где на гитаре, как мечталось мне в Москве, не поиграешь — и выручку отберут, и инструмент разломают, да и музыканта, может, поколотят. Квартирка моя из одной комнаты с кухонькой и душем обставлена дареной и подобранной на свалке мебелью, купил я себе пока в Америке только пресловутые джинсы да машинку с русским шрифтом, английскую мне Берт презентовал, профессор один, наш мужик, пусть и не без либеральных загибов. Впрочем, тут все либералы, русские эмигранты вроде меня чуть ли не в фашистах числятся. Эйфория моя венская почти прошла. Вижу, что даже на свободе нужно изо всех сил крутиться, чтобы остаться на плаву, не говоря уж о том, чтобы выбиться в люди; эффективность здешнего общества мы в России безбожно преувеличивали, контакты мои устанавливаются до обидного медленно, и на хлеб я зарабатываю главным образом тасканием ящиков на складе, так что по вторникам и четвергам спина невыносимо ноет — сегодня, слава Богу, пятница.

После благопристойной Вены человек со слабыми нервами в Нью-Йорке вполне может свихнуться. Уж поверь другу Розенкранцу — из до-

му вечером выходить опасаясь, грязь кошмарная, дома разрушаются на глазах, на вентиляционных решетках метро действительно спят нищие. Все эти прелести ничуть не умаляют обаяния и мрачной, что ли, праздничности Нью-Йорка — вероятно, величайшего города на земле, в котором все двадцать семь лет моей прошедшей жизни кажутся обрывками из затянувшегося серого кошмара. Конечно, не говорю о друзьях — помню вас всех, люблю, скупаю».

Необыкновенно сильная волна, вскипев прохладной пеной, подкатилась к самым ногам Марка. «Серый кошмар, — с обидой подумал он, перетаскивая неприятно тяжелый лежак, — и тут же оправдывается...» Под слепящим солнцем проступали на страницах письма водяные знаки — силуэт замка о трех башнях, латинские буквы.

«Томлюсь я по родине? Наверное, нет. И все-таки скажу тебе о нашей главной ошибке: мы думали, что, за исключением языка, на Западе все, как у нас, только лучше. Вкуснее колбаса, шире улицы, пьянее водка и хрустче антоновка. Нет, мой милый, Америка — это другая планета, и во всем богатейшем городе мира, где одной черешни дюжина сортов, не достать горсточку обыкновенной кислой вишни. Это ошеломляет — в буквальном смысле, будто топором по темени. Дело, разумеется, не в вишне, дело в тысячах мелочей, которые самой своей привычностью давали нам уверенность в себе, силы для дальнейшей жизни. Андрей на моем месте составил бы таким вещам список — и вышло б недурное литературное произведение. В остальном же изобилие неприличное, и у меня банановая болезнь, поражающая 99% русских эмигрантов, поскольку бананы немалого дороже картошки и продаются в любой лавочке, каждый Божий день сжирю их по килограмму, а то и по два.

В городе несколько десятков тысяч русских, нашего полку с каждым днем прибывает. Выходит газета, идут толки об открытии еще нескольких. Публикуется и журнал, где вскоре появятся стихи А. Кое-что я послал и в «Континент». А ты не вздумай сердиться на А. — в конце концов всем нам действительно пора определяться.

На прошлой неделе издержал шесть долларов девяносто пять центов на «Лизунцы», с удовольствием и гордостью перечитал. Давно не получал ничего от Ивана, еще дольше — от Якова. Пусть не зазнаются и пишут, надеюсь, мои скромные подарки разбудят их задремавшую совесть. Впрочем, куда бы они писали — с моими переездами? А как ты? Женился ли уже? Зазноба твоя на самом деле ничего, только не попади к ней под каблук. Всевозможные приветы старику В. М.

Есть у меня к тебе и просьба. Боюсь, что мои родные так и не оправившись после прощания. На звонки у меня денег пока нет, пишу регулярно, но сам понимаешь... Выбери время, забеги к ним, расскажи что-нибудь хорошее об Америке на правах специалиста. А?

Тебя сюда не зову — ты выбрал другую дорогу, и дай тебе Бог удачи. А все-таки иной раз, засыпая, мечтаешь о том, как славно обитали бы мы тут всей компанией... Да что говорить!

Надеюсь, моим американским друзьям не откажут в визе. Из-за твоей осторожности я не слишком рассчитываю на вашу личную встречу, но, во всяком случае, письмо они бросят в ящик, подарки доставят в дворницкую. На американской земле я стал куда пугливее, чем раньше. Чем больше моя собственная безопасность, тем чаще мучаюсь страхами за Ивана, за А., за ребят из семинара, даже порою за тебя, хотя и безо всяких к тому оснований.

Калькулятор, заметь, — последнее достижение техники, так что цены друга Костю. Кисти для Яшки — настоящие беличьи, он давно о таких мечтал. Остаюсь твой верный товарищ Розенкранц».

Опрямительное было письмо, неосторожное, для знающего человека — сущий клад, со всеми своими прозрачными намеками и прямо названными именами. Но по мере того, как язычки пламени скользили по снежно-белой бумаге, превращая ее в черную, а там и вовсе в пепел, сливавшийся с серыми камнями пляжа, наш герой смягчался и, наконец, глубоко вздохнул уже безо всяких следов раздражения. Кто бы подумал, что за каких-то полгода так пропитается Розенкранц тем невесомым духом свободы, так отличающим западных людей от подневольных. Как смешно звучит это «всем нам пора определяться». Ты уже определился, Костя, ты потерял

право решать за оставшихся, утратил дух тюремного братства. С каждым годом теперь ты все хуже будешь понимать нас, а мы — тебя. Потому-то и звучит так жестко и колюче слово «эмиграция», особенно теперь, когда высокользнувший из России попадает не куда-нибудь, а в страну изобилия. Грустно.

Возле самых заградительных бுவ, метрах в сорока от берега, Гордон отбирал у Руфи надувной мяч в виде глобуса, Диана ему помогала, Берт и Клэр в меру сил мешали. День стоял душный и влажный, страшно хотелось спать. Вчера допоздна выпивали в номере у Митчеллов. Марк рассказывал анекдоты, зачем-то ввязался в спор об Уотергейте, ушел, заснул, а минут через десять к нему уже постучалась встревоженная Клэр — известить о приступе астмы у соседа-дантиста. Застал Марк жизнерадостного мистера Файфа постаревшим лет на двадцать, накрытым до подбородка крахмальной простыней, уставившим тусклые глаза в потолок, на желто-бурые подтеки и потрескавшуюся штукатурку. Растерянная миссис Файф, заполнив могучим телом хилое гостиничное кресло, вертела в руках аэрозольный баллончик с лекарством. До самого приезда «скорой помощи» Марк авторитетно разъяснял страдальцу, что приступ, разумеется, аллергический, виновата пыльца сочинских магнолий, бывало такое с его туристами сто раз, «да что далеко ходить — в позапрошлой группе был точно такой случай...». Агата, кивая, несла какую-то чушь о недавней эпидемии сенной лихорадки во Флориде, Клэр поправляла больному подушку, приговаривая, что умеет, приходилось и в больнице сиделкой работать. И, возможно, так и помер бы бедный американец, если б не передовая советская медицина. Деловитый врач с торчащей из кармана халата пачкой «Беломора» дал ему кислорода из брезентовой подушки, сестра закатила в задницу порядочный укол — и зарозовели щеки мистера Файфа, и губы раздвинулись в облегченной улыбке.

«Что им можно дать, Марк? — забеспокоилась Агата, когда врач с сестрой принялись неловко раскланиваться. — У нас страховка... Блю Шилд... Она здесь признается?» Марк шепнул что-то по-английски ей, что-то по-русски — медикам. В результате его киссинджеровских усилий Агата извлекла из недр чемодана, а гости, смущаясь, взяли какие-то зажималки, колготки и шариковые ручки. Беспокойная выпала ночь, беспокойная.

— Может, заглянем к тебе? Или ко мне? — Они вышли, наконец, от повеселевшего дантиста в гулкий ночной коридор.

— Нет, Марк.

— Почему?

— И старика жалко, и вообще как-то...

— Боишься?

— Ох, Марк, как тебе не идет фальшивить!

— А ты злая.

— Нет. Поздно уже. А мне еще надо Биллу написать.

— Среди ночи?

— Он не хотел меня пускать. Будто чувствовал...

— Брось выдумывать, — сказал Марк без особой уверенности.

Неизвестно, действительно ли писала Клэр в ту ночь праведнику Биллу, но мрачный Марк, вернувшись в кошмарный номер на втором этаже, с окнами, выходящими прямо на танцевальную веранду ресторана — пустую, впрочем, и мертвую в бледном зареве рассвета, сел за шатучий туалетный столик и попытался настроичить открытку своей нареченной. Взамен, однако, лишь выкурил сигарету, состроил несколько рож ни в чем не виноватому зеркалу и в конце концов, не раздеваясь, завалился спать.

Поутру он вновь крутился с обычной неутомимостью расторопного гида Конторы. «Главное — не обжечься, — потчевал он кукурузой, купленной по дороге на пляж, белотелую Хэлен, — и соль сыпать со всех сторон равномерно...» «Знаю, знаю», — отвечала она, продолжая хихикать в ожидании сюрприза от советского початка. В Сочи ее восторги отчасти переключились на Леночку, однако именно отчасти, увы. Вот и теперь, вгрызаясь лошадиными зубами в угощение и показывая иногда свои тощие груди в глубине купальника, бедная старая дева обстоятельно жаловалась на трудности с изданием и распространением газеты, столь не-

справедливо обруганной в холле гостиницы «Украина» классово чуждым мистером Файфом. А две чайки, по-утиному плававшие в полосе прибоя, вдруг взмыли в воздух и, романтически воспарив над блистающим морем, одновременно ринулись вниз — схватить брошенный кем-то из восточных немцев кусочек булки. Хриплые крики, биение крыл. Победительница улетела, побежденная снова принялась с деланной безучастностью качаться на волнах.

— Вы видели вчера лебедей в парке? — спросил Марк. — Совсем ручные, правда?

— Лебедей? — изумилась Хэлен. — Кажется... да-да, вспомнила, там еще был один черный... Вы что, не слушаете меня, Марк?

— Что вы, что вы! Трудности с фондами, понимаю. Да и при инфляции, разумеется, добывать деньги еще труднее.

— Вот-вот, — закивала его собеседница. — Фонды нам ни цента не дадут, а средний класс, у которого есть деньги, нажитые за счет эксплуатации трудящихся, нашу газету саботирует. И не случайно! За этой дискредитацией стоят могучие силы маккартизма. Всякий здравомыслящий человек просто обязан...

«На кого же она все-таки похожа? — думал Марк. — У нас такие становятся кадровичками или профсоюзными активистками. Путевки распределяют, осуждают на собрании технолога Иванова за аморальную половую связь с прядильщицей Петровой». Лениво шевелились мысли, рука лениво перебирала округлые камешки пляжа. Крепла духота. Но не век было Марку томиться идеологически выдержанной болтовней. «Отстаньте, — притворно отбивался он от накинущейся на него мокрой компании, — я занят серьезным делом!» Выхватив у Клэр надувной глобус, он побегал наконец к морю, по возвращении мстительно обрызгал обсохших своих друзей, главной же безобразнице бросил на колени огромную медузу. И не преминул Гордон ехидно заметить, что не отказался бы от такой работы, как у Марка. И не стал Марк, которому такие фразочки были не в новинку, объяснять Гордону, что даже на пляже, даже в номере гостиницы за редкостной импортной бутылкой не покидает его проклятое чувство ответственности, не стал говорить, как хочется ему при всей симпатии к собравшимся, при всей любви к морским купаниям, смыться с интуристовского пляжа к чертовой матери и — быть может, захватив с собой Клэр, — отправиться шататься по городу, растративать невозвратимое время на толкотню среди разомлевших провинциалов. Или отправиться километров за сто от купеческого Сочи или за тысячу.

— Я взял бы тебя в Крым, — шепнул он по-русски. — Там есть места, совсем забытые Богом. Мы шлялись бы целыми днями по горам, обгорели бы, как негры. И хозяйка дома, увитого виноградом, по утрам приносила бы нам два румяных яблока на тарелке.

— Я хватала бы то, которое побольше.

— Это еще почему?

— Безумно люблю яблоки. А куда бы ты девал жену?

— Я, знаешь ли, еще не женат.

— Будешь, будешь. Мне вот тоже хочется — не в Крым, так в Сицилию. Мы были там когда-то, и тоже в диких местах... Только хозяйка нас не баловала, весь день с детьми крутилась... и солнце было сухое, яростное такое... и море...

— С Биллом вы там были?

— С Феликсом, — нехотя сказала она, очнувшись, — был у меня такой знакомый.

Она замолчала. Как раз подоспело новое развлечение: через «берлинскую стену», отделявшую пляж Конторы от берега для советских, перелезли две цыганки и принялись направо и налево предлагать свой специфический товар — сигареты, жевательную резинку, лезвия для безопасной бритвы.

— Эй, Гордон! — позвал Марк. — Купил бы что-нибудь в поощрение частной инициативы.

— Позволь, — Митчелл с любопытством наблюдал за вялой торговлей, — не ты ли нам твердил в Москве, что, кроме как на рынках, частной торговли в России нет?

— Успокойся, дорогой, мы зорко стоим на страже чистоты идеологии. Это чисто южное явление, называется «мелкая спекуляция»

— А гадать они умеют?
 — Наверное.
 — Пойдем? Я жутко суеверная.
 — Я тоже. Поэтому и не стоит. Да и недолго им тут оставаться, цыганкам этим.

И, в самом деле, с дальнего конца пляжа уже спешила облаченная в закрытый купальник Вера Зайцева, на ходу набрасывая халат. Бог знает, что сказала она цыганкам, но в мгновение ока исчез их товар в необъятных складках цветастых платьев, и несостоявшиеся кассандры, размахивая руками, оборачиваясь на Веру и что-то выкрикивая, направились к бравому сторожу, охранявшему вход на пляж, а там и исчезли.

— Вера! — окликнул Марк.
 — Здравствуй. — Она приблизилась, все еще разгоряченная успехом своей общественно полезной миссии. — Откуда только берется эта мразь?
 — Цыгане, — примирительно заметил Марк, — вольная нация.
 — Тебе хорошо говорить. А иностранцы что подумают?
 — Да, — сказал Марк. Он успел шепнуть Клэр, чтобы та помалкивала. — Как у тебя дела?
 — Замучилась. Чуть не половина свалилась вчера с поносом. Валяются по номерам, злые, как черти.

Марк понимающе усмехнулся.

— Я своим для профилактики раздал по упаковке одного лекарства. Тридцать шесть копеек все удовольствие. Хочешь, поделюсь?

— Спасибо, нет.
 — Почему? Отлично помогает.
 — Ну да. А потом разболеются — и меня же обвинят, что я их отравила. От таких вещей лучше держаться подальше. А у тебя как?

— Как видишь. — Он показал глазами на своих туристов и вздрогнул, наткнувшись взглядом на кучку пепла, оставшуюся от письма. — Народ приятный, больших и стариков мало...

— Везет тебе. А у меня вечно попадают какие-то избалованные, глупые, капризные.

Отлегло у Марка от сердца — видно, московская выходка Веры была только минутной слабостью. Если и мог он чем-то в жизни гордиться, так это почти полным отсутствием врагов.

— Ну и гиена! — качала головой Клэр. — Ты хочешь сказать, что и мы могли бы попасть к ней в лапы?

— Тише. Глаза выцарапает.

Время близилось к обеду. Мистер Грин в белой детской панамке терпеливо сидел по-турецки на самом солнцепеке, фотоаппарат установив на складную треногу и ожидая, чтобы в кадр попал подплывающий к порту корабль. Уплыла в одиночестве Клэр, задремала длинноногая Диана. Хэлен избрала себе в жертву чету Коганов — глядя на них, можно было подумать, что беднягам так и не помогли купленные Марком таблетки.

— Нет, мистер Коган, вы глубоко не правы, — услышал Марк. — Да и откуда представителю мелкой буржуазии знать научные законы развития общества?

Безобидные Коганы, как уже успел узнать Марк, держали в Бруклине бакалейную лавочку.

— Новая Великая депрессия неизбежна в самые ближайшие месяцы. И не из-за несчастных арабов, которые хотят продавать нам нефть по справедливым ценам. Беда в том, что все мы заложники военно-промышленного комплекса. В погоне за сверхприбылями он уже развязал грязную войну во Вьетнаме, а где он развяжет ее завтра? В Афганистане? В Никарагуа?

— Странное вы что-то говорите, Хэлен, — проворчала Сара. — Конечно, лучше бы эти красные не нападали на Южный Вьетнам. И бензин дорогой, правда. Но всякое в жизни случается, бывало и хуже.

— Вы идеалистка, Сара. Вам как мелким собственникам не понять трагедии рабочего, выброшенного на улицу. Будет кризис. И посмотрим тогда, как этот хваленый средний класс, все эти гнилые истеричные интеллигентшечки покажут свою истинную сущность, сбросят, как гремучая змея, свою либеральную шелуху. Увидите, как в нашей замечательной

стране, которой должен бы владеть американский народ, а не кучка эксплуататоров...

— Что же вы не зашли вчера к Митчеллам? — сказал Коган. — Мы как раз говорили об энергетическом кризисе.

— Меня не приглашали. — Побледневшая Хэлен покосилась на Марка, потом на Гордона, который штудировал одну из подобранных в Домодедове брошюрок. — А что, вы собирались отдыхать? Все вместе?

— В Тбилиси приходите к нам в номер. Будем опять пить это хорошее вино. Марк, как называлось вчерашнее вино?

— «Гурджаани».

— Вот-вот, «Гурджаани», — с удовольствием повторил Коган. — Марк, а скажи, пожалуйста, кому в Советском Союзе мешает частная торговля? Вот наш магазин, скажем, где мы с Сарой и с мальчиками работаем, только на субботу нанимаем двух человек?

— Что вам сказать...

Марк замолчал и вместо продолжения просто посмотрел в глаза представителю мелкой буржуазии долгим, честным, донельзя усталым взглядом. Тот переглянулся, в свою очередь, с Сарой, и вопросов больше не задавал.

Зычным голосом стал Марк созывать свое стадо, велел ему отправляться обедать, а сам в переполненном троллейбусе поехал на Главпочтамт. Телеграммы от невесты там не оказалось, а у входа в гостиницу голодного и злого Марка вдруг подозвал с лавочки крепкий мужичок со щетинистыми бесцветными усами, в синих мешковатых брюках, в синем же шевиотовом пиджачке. Когда он, отложив свою «Сочинскую правду», махнул рукою Марку, на указательном пальце блеснул солидных размеров перстень дутого золота.

— Эй, молодой человек!

Марк безо всякой охоты подошел к скамейке.

— Соломин ваша фамилия?

— Ну?

— У меня к вам разговорчик. Давайте-ка пройдем на другую лавочку, в тень. А то знаете, народ ходит...

— Вы, собственно, кем будете?

Вместо ответа мужичок, как и следовало ожидать, раскрыл перед носом Марка свое удостоверение.

— Ладно, — вздохнул переводчик Соломин, — только учтите, меня туристы ждут. У нас в час обед.

— Подождут. — Мужичок встал со скамейки и, ласково придерживая Марка под локоть, повел его куда-то в сторону, в тень магнолий. — Appetit лучше будет. Да вы не беспокойтесь, товарищ Соломин. Разговор у нас будет короткий, совсем, в сущности, незначительное время займет наша с вами сердечная беседа. Я вас вчера вечером искал, да телефон не отвечал, хоть ты тресни...

Глава шестая

Неторопливо выходили на ресторанный эстраду холеные музыканты во фраках с серебряной нитью, стучал согнутым пальцем по микрофону певец в шикарных бакенбардах, и флейтист, достав инструмент из кожаного футляра, издал несколько резких писклявых звуков, странно разнесшихся в полупустом зале. Наскоро уничтожив ужин, Марк скрылся в подсобке. Во время командировок он существенно расширял масштабы своих ресторанных операций, и сэкономленные сегодня на туристических желудках сорок рублей собирался превратить в то, что на казенном языке ревизоров, следователей и прочей скучной публики называется буфетной продукцией. В оправдание его можно сказать, что выкроенные деньги или спиртное он все равно изводил на американцев, хотя и не без дальнего прицела на более обильные чаевые. Непростая была механика. Нынешним вечером обещал он, например, отказавшихся идти в лилипутский цирк покатать на теплоходе, для чего и разжился в буфете шампанским и какими-то подозрительной мягкости шоколадками.

— Странные вещи творятся со мною, Клэр. — Крошечный теплоход, сделав крутой поворот, заскользил вдоль берега. — Я, кажется, разлюбил

праздники. Ты заметила, какие толпы у нас в стране осаждают двери ресторанов, магазинов? Всем хочется праздника. Вот наступает он — и всегда оказывается беднее и скучнее, чем мечталось. И кончается вдобавок. И жизнь снова сереет.

— Почему сереет? Это цвет Аида, а мы еще живые, нет? И разве работа твоя не праздничная?

— Как у повара в ресторане, — усмехнулся Марк. — Вы же ее не видите. Мне частенько говорят: хорошо путешествовать задаром да еще денги за это получать. А сколько я мотаюсь по задворкам, по кассам, конторам, бюро обслуживания? И вдобавок должен постоянно корчить из себя радушного хозяина. Попробуй послать какую-нибудь Хэлен. Оскорбится, права качать начнет.

— Все равно мы работаем раза в три тяжелее вас, — кольнула его Клэр.

— Мы, вы, — передразнил ее Марк, почему-то перейдя на английский. — Видел я ваших руководителей групп, все на подбор бездельники, только и знают, что на советского переводчика ответственность переваливать... Между прочим, Берт, вы слышали крики нашей Люси за обедом? «Если б я была дома, я бы из такого ресторана ушла, не заплатив по счету, и имела бы на это полное право! Наши рестораны... наши стандарты обслуживания... наши официанты...»

— Слышал, — откликнулся из полутьмы Берт. — Особенно мне понравилось слово «наши».

— Уж ее-то предки точно не сходили на американские берега с «Мэй-флауэра», — подхватил Гордон. — Да не бери в голову, Марк, она просто избалованная дура. Что за акцент-то у нее, кстати?

— Русский, конечно, — сказал Марк.

Тут Гордон хлопнул его по плечу и напомнил, что поехали они прожигать жизнь, а не сплетничать. Немедленно вслед за его словами из простуженного репродуктора над капитанской рубкой грянуло хрипкое подобие музыки, и под бравурные эти довоенные звуки хлопнула первая пробка, и пеннистая струя теплого шампанского ударила частью в подставленные картонные стаканчики, частью — в фосфоресцирующее море. Увы, со второго-третьего глотка вино стало отдавать клеем и мокрым картоном, так что вторую бутылку Марк просто пустил по кругу — не без хитроумного расчета на то, что его порция, последняя, окажется больше остальных. «Дивная страна! — хохотала Диана. — Где еще мы могли бы распивать шампанское, как кока-колу?.. Сколько мы тебе должны, Марк?» «Нисколько», — рассеянно отвечал честный переводчик.

Мало-помалу компания разбрелась по пароходу, только Клэр осталась рядом с Марком у поручней верхней палубы. Со стороны моря светилась громада рейсового корабля, неслышно скользящего в сторону Батуми. Усилился ветер, и звезды начали одна за другой исчезать за облаками.

— Видела я вчера вечером из окошка прогулочную посудинку вроде нашей, может, даже ту же самую. Музыка похожая громыхала. Смотрела и, представляешь, завидовала.

— Было б чему.

— А я люблю незатейливое счастье. Уезжать далеко, дышать чужим воздухом.

— И забывать?

— Да. Колючий ты сегодня, жесткий. Устал?

— Наверное. Осточертело быть прислужгой, частью местного колорита. Хочу быть самой собой — и не выходит. Стою вот с тобою рядом и...

Он вздохнул. А динамик наконец умолк, притушил капитан огни на парходике, и стала тьма за бортом густой, живой, почти осязаемой.

— Очень просто все, — задиристо сказала Клэр. — Ты злишься, что я к тебе ночью в гости не пошла.

— Может, и так! — Марк засмеялся. — Мерзнешь?

— Ага.

— Я свитер прихватил, держи. Мужской, правда, и на два размера больше, чем надо. Будем с тобою выглядеть, как пара влюбленных идиотов.

— Так уж и влюбленных.

— Молчи, а то свитер отберу.

Море морем, но и сочинский пошлейший берег может казаться заколдованным, если тихо-тихо скользит в блаженной дали темное его пространство, там и сям означенное расплывчатыми пятнами санаториев, ресторанов и гостиниц — или просто огнями, блуждающими во мгле, зачем вдаваться в детали курортной географии; только по памяти угадывается в трепете этих огней шорох кражистых платанов и неряшливых, покрытых свисающими ошметками серой коры эвкалиптов, гомон толпы, фланирующей по паркам, мелкими брызгами рассыпающейся по аллеям и танцплощадкам, взвизги ночных купальщиков да битловская мелодия — то ли «Облада облада», то ли еще какая, узнаешь ли на таком расстоянии.

Вот вам и жизнь, вот и ее ночная загадка и глубокое сбивчивое дыхание, а вы говорите — тоталитаризм.

Оглянувшись — ни души вокруг не было, — Марк поцеловал Клэр, да тут же и отпрянул, сраженный и опрокинутый внезапной несуразной мыслью, коротенькой, из двух слов всего: «Я погиб». Что-то шепнула Клэр, но не было времени переспрашивать — взревел, взвыл мотор пароходика, заклацали рычаги, и все стало на свои места — описав широкий поворот, двинулись они в обратный путь.

— Клэр нисколько не помешает, Берт, что вы. — Он удержал ее за руку. — Ты представляешь, я в феврале проводил в эмиграцию одного из своих самых дорогих друзей, Костю, он добрался до Нью-Йорка и познакомился с Уайтфилдами. Письмо вот мне прислал.

— И калькулятор, — напомнила Руфь. — А чемодана все нет и нет.

— Завтра утром, — отрапортовал Марк. — Я в тбилисском аэропорту уже все телефоны оборвал. Слава Богу, кстати, что вы успели в Москве расстаться с подарком для Ивана.

— Зачем нужны восковки в эпоху ксерокса?

— Затем, мой милый Берт, что все до единой такие машины в нашем отечестве находятся в ведомстве и под контролем Первых отделов соответствующих предприятий. Если девочку-оператора поймают за размножением поваренной книги — полбеды, ее только с работы выгонят. А вот ежели речь, скажем, о листовках...

— Листовки? — вздрогнул профессор. — Но ведь...

— Конечно, опасно. Именно поэтому Иван и использует ваши восковки не для листовок, а для размножения задач по физике. Для учеников. Устраивает?

От шампанского голова кружилась, пришлось Марку взяться за мокрые перила обеими руками. «О Сочи, Сочи!» — истошно орал репродуктор. Тут, именно тут, и более того, как раз в интуристовской гостинице «Магнолия», куда пускали советских писателей и членов их семей, он провел в прошлом году три дня со своей будущей невестой. И в этой же «Магнолии» забронировала им Контора отдельный номер для свадебного путешествия, в начале бархатного сезона.

— Слушайте, Берт, давно порываюсь вас спросить — как там Костя? Что-то главное в письмах пропадает, вы же знаете. Как он себя чувствует? Чем дышит? Какие это ящики он таскает по вторникам и пятницам?

— Эмигрантский хлеб не из легких, — вдумчиво начал профессор, пытаясь понять путающегося в собственных мыслях собеседника. — Работает он в винном магазине... переводов пока делает немного... но я уверен, что у него все уладится. Исключительно энергичный, хотя и озлобленный молодой человек. Рано или поздно из него непременно выйдет настоящий американец.

— А он, ничтоже сумняшеся, уже здесь считал себя настоящим американцем. — Марк улыбнулся не без горечи. — Всю жизнь заочно обожал Америку. Чего же не хватает ему, по-вашему?

Поблескивая стеклами очков, профессор Уайтфилд обстоятельно пояснил, что природные американцы любят родину по-хозяйски, воспитаны в традициях терпимости к чужому мнению, с молоком матери воссали понимание основ демократии, которое, «вы только не обижайтесь, Марк, приобретается не так легко, если впервые сталкиваешься со свободным обществом в зрелом возрасте». Чувствовалось, что заокеанские филиппи-

ки Розенкранца по поводу западных левых мало в чем уступали московским, только симпатии встречали поменьше.

— Америка, говорит он, — моя первая любовь, — хмыкнула Руфь.

— Что в этом плохого?

— Первая любовь самая нетребовательная, Марк. Костя умный парень, но он просто отказывается понимать, что проблем у нас не меньше вашего.

— Инфляция? Уотергейт? Война во Вьетнаме?

— Не понимаю твоей иронии. У моей сослуживицы под Сайгоном погиб сын. А за что? Какие ценности мы там защищаем?

— Да, — сказал Марк. — И негров у вас угнетают. И от большого бизнеса нет житья. И права женщин ущемляют на каждом шагу. Только ты не рассказывай мне об этом, Руфь, я лучше Хэлен попрошу.

Руфь, переглянувшись с мужем, беспомощно покачала головой. Так жутко было на этом курортном пароходе, над фосфоресцирующим морем, под развеселую советскую музыку слушать те же речи, которыми порядком выводил их обоих из себя Костя в своей пустой и грязной однокомнатной квартире после бутылки «Смирновской», сервированной на ящике из-под конторского шкафа. Те же речи, которыми озадачил их Иван в своих апартаментах.

— Тебе самому нужно уезжать отсюда с такими мыслями, — вдруг сказала Руфь. — Иначе ты так и будешь мучиться всю жизнь, думая, что у нас рай земной.

— Думаете, это так просто?

— Костя же уехал.

— Я его отговаривал, кстати. Почти вашими словами насчет своих проблем. Но дело не в этом, милая Руфь. Даже не в том, что уезжающий отсюда теряет все и главное — право вернуться. Я просто люблю свою родину. Такой парадокс.

В знак приветствия надвигающемуся причалу капитан снова усилил звук репродуктора, так что на берег маленькая компания сошла с заметным облегчением. «И что это меня понесло», — недовольно думал Марк, вспоминая, как пытался вдолбить в свое время в Костю примерно то же самое, в чем профессорская жена, сама, кстати, доцент чего-то гуманитарного с уклоном в феминизм, старалась сейчас убедить его, переводчика Соломина.

Прошли сквозь мелкие кирпичные арочки, бросив взгляд на асфальтированный дворик, на пролысину земли в сухой траве, на десяток взъерошенных пальм, на ларьки с вафлями, теплым лимонадом и папиросами «Сочи». А ночь окончательно сгустилась. Ни следа не осталось от недавней таинственности берега, даже плеск прибоя, едва различимый за гомоном толпы, звучал плоско и плотно, будто звуковое сопровождение к дрянному фильму сороковых годов. Обозрев своих подопечных, Марк заявил, что программа завершена, что его рабочий день тоже кончился и что гостиницу найти совсем нетрудно. «А это, — он достал из сумки еще одну приятно охлаждающую ладони бутылку с горлышком в серебряной фольге, — пускай скрасит ваш одинокий вечер, господа. Нет, миссис Фогель попрошу на некоторое время задержаться. Ее доставку я беру на себя».

Обернувшись издали, Берт помахал им рукою, и все четверо скрылись в деревьях прибрежного парка.

— Ты им надоел со своей политикой.

— Я и сам себе надоел.

— Нет, погоди. Не думай, что я дура. Конечно, здесь кошмарно, я вот и «ГУЛАГ» недавно прочла, и родители рассказывали, и в церкви слышалась, ладно, все понимаю. Но как же ты не видишь, что этот твой воображаемый Запад тоже состоит из живых людей? Им, разумеется, и жалко вас, и обидно, но...

— Своя рубашка ближе к телу?

— Снова ты иронизируешь. А когда твой воображаемый счастливый американец лежит, как наш дантист вчера, пластом на спине и умирает от рака или от нефрита, ты думаешь, ему лучше, чем твоему — опять же воображаемому — страдальцу Иванову?

— Ты бы спелась с Андреем, душечка. Он тоже у меня любитель пофилософствовать. Знаешь, как он говаривал? Жизнь на свободе куда

труднее, потому что вопрос о бесцельности бытия встает с куда большей остротой, чем в нашем муравейнике, где расстреливать уже перестали, до лоботомии еще не дошли, а обилие крахмала в пище располагает к медлительности мыслительных процессов. Когда увидишь автомат с газированной водой, скажи мне, ладно?

— Пить хочешь?

— стакан украсть. Из картонных невкусно, из горлышка тоже. А забегаловки переполнены. И придется нам, милая, допивать оставшуюся бутылку где-нибудь на пляже — только подальше от города.

Подстриженные самшитовые изгороди. Сухой шум акаций. Мужчины с закатанными рукавами, в мешковатых брюках. Женщины в ситцевых, сатиновых, а кто из модниц — в кримпленовых платьях. Бегущая то вверх, то вниз суетливая главная улица... Выбирались из города до поздней ночи, забредали в пустые извилистые проулки, перелезали через заборы, напоролась за одним из них на спущенную с цепи немецкую овчарку. Снова вышли на шоссе, поймали такси и за полчаса туманной ночи домчались до Адлера. Вместо моря перед ними был утомленный аэропорт, ревели невидимые самолеты, из душного здания брели в южную ночь люди с блаженно-дурацкими лицами, на смену им входили загорелые, влачащие тяжелые ящики для фруктов, сколоченные из тонких досок, — две раздаленные сизые виноградины, протиснувшись сквозь щель, истекают бледным соком. Еще такси, мелькают вдоль дороги приземистые небоскребы санаториев и гостиниц, а там — начинаются беленые домики, за живыми изгородями угадываются розовые кусты — куда, зачем? — и одинокие звезды все-таки сияют в разрывах облаков. А ночь стояла совсем сумасшедшая, задыхающаяся; щурилась сквозь волнистые туманы половинка луны, непривычно завалившаяся набок, — сланцевая стояла, слоистая, слишком влажная ночь. За Хостой дома начали редеть, машина вышла на простор и понеслась вдоль пляжа, отделенная от него только железнодорожной насыпью.

— Здесь, пожалуйста, — сказал Марк.

Усмехнувшись в запорожские усы, водитель отсалютовал своим пассажирам, лихо развернулся и не менее лихо умчался, посверкивая тревожными красными огоньками. Бешеный ритм ночи, означенный колотящими сердцами обоих, уступил место другому, несколько не мешавшему тишине. Рокотал, как положено, прибор, шуршала под ногами галька, да по шоссе, за тутовой рощицей, нет-нет да и пронеслись машины — взвизгивая тормозами, стремительно следуя огибавшей ущелье дороге. Ветер с моря был прохладен, но камни пляжа еще не успели растерять накопленного за день тепла.

— У тебя сигареты есть?

— Щедротами миссис Файф — даже американские.

Вспышка спички высветила во мраке их напряженные, чуть растерянные лица.

— Ну зачем ты машину отпустил? Не всю же ночь нам здесь шляться! И скажи на милость, — она засмеялась, — за каким дьяволом я вообще за тобой потащилась?

— Здесь довольно красиво. И нет отдыхающих, равно как и твоих изрядно опостылевших мне соотечественников. Слышишь?

Одна легковая машина уже скрылась, другая, сияя фарами вдалеке, еще не выдала себя звуком — и в этом неподвижном промежутке отчетливо различалось верещание цикады. Бутылку Марк опустил в море, сам принялся расхаживать по камням. Тучи все-таки растаяли. Весело и холодно горели над ними обильные звезды.

— Машину я отпустил, чтобы избежать известного шаблона, — продолжал он почти спокойно. — Есть такая советская легенда пятидесятых годов. Бездомные парочки вечерами отъезжают километров за тридцать от города, просят таксиста подождать и уходят в придорожные кусты, чтобы наскоро заняться своим делом и вернуться на той же машине. Надоели мне шаблоны, моя милая. Ты как полагаешь, к примеру, есть на свете хотя бы одно место, где можно быть абсолютно свободным?

— Небеса.

— Если они существуют. Да и попасть туда можно только большими

стараниями, мне не по зубам это. Разве что мой дражайший папочка за меня помолится.

— Тогда Таити! — засмеялась она.

— А это уж точно вранье. Один мой приятель собирался туда переселиться, не веришь? Американец он был, профессиональный руководитель туристических групп. Все подробности мне рассказывал — про визу, про то, как деньги копит, какая его там дивная французенка ожидает. Как надоело ему мотаться по свету и все такое прочее. Мечта у него имела — открыть там механическую прачечную, ландромат по-вашему.

— Прачечную?

— Угу. Она бы сама работала, а он бы полеживал в гамаке и занимался китайским языком, чтобы в подлиннике читать Лао-цзы. Я от него недавно открытку получил. В самом деле открыл парнишка свою прачечную!

— На Таити?

— Нет, в штате Огайо. Вода-то какая теплая, ты потрогай. У нас говорят — как парное молоко.

Небо в путанице созвездий. Вечно недосуг выучить названия, только и знал, что Большую Медведицу да зимний, сиявший над Васильевским островом Орион — Наталья показала. А брат Андрей, даром что недоучка, знал все назубок и над кроватью своей прикинул карту с хищными зверями и мускулистыми охотниками: звездное небо Германии шестнадцатого века.

«Стоим у самого обрыва. Босые ноги боязливо по серым камешкам скользят. Под ветром выцветшим вздыхая, трава колеблется сухая, и страшно повернуть назад. Но видишь, вышли к синей шири. Давай, единственная в мире, разломим хлеб, нальем вино. Дай поблуждать судьбе и взору по воспаленному простору — недаром все обречено. А я люблю тебя и впряме забыть о смерти и о славе, сказать: на свете нет ни той и ни другой... а только море и горы, а вернее, горе и флейта музыки простой. Плыви — мы никого не встретим. Я только к небу, к волнам этим тебя ревную... звонкий свод небес, морской и птичий праздник... скажи, зачем он сердце дразнит, волну под голову кладет?»

Тело само устраивается, изогнувшись, на податливой воде, и если оттолкнуться ладонью от безучастной поверхности моря — примутся плыть вокруг тебя ртутные созвездия, крошечный берег, качающийся горизонт. Почти задыхаясь, так и не достав до твердой почвы, он выплыл на воздух, отдышался — и протянутая его рука встретила руку Клэр.

— Я хотел камешек со дна, — сказал он. — Знаешь, там бывают совсем круглые.

Глава седьмая

Ну вот, движение на шоссе совсем замерло, порядком продрогшая парочка шагала в обнимку по обочине пустынного шоссе, не оборачиваясь, когда за спиной возникал-таки приبلудный пустой автобус или такси с заспанными седоками. Наступал час, когда вместо «поздно» пора говорить «рано»; невидимое за горами солнце ворочалось где-то в зарослях терновника и ежевики, окрашивая дальние хребты в цвет чайной розы, а море — в цвет каленой стали. Пора было возвращаться в то место, которое невольно зовет домом невнимательный к точности своих речей путешественник. В придорожных поселках победно перекликались петухи, и сторожевые псы ворчали, положив мохнатые беспородные головы на передние лапы. Вскоре должен был показаться аэропорт, где поймать такси ничего не стоило.

— Я такая счастливая, что приехала, — вдруг сказала Клэр. — Так давно собиралась.

— Почему именно сейчас?

— Случайно. Отец все мечтал поехать. Путевку заказал, но друзья из прихода узнали — и пошли его стращать. Тут я и подвернулась. Зачем, говорю, задатку пропадать? Видишь, какая проза.

— Билл тебя действительно не хотел пускать?

— Он у меня либерал. Только я все равно последние три с лишним года как привязанная. Мальчишка, дом, мастерская. Сначала нравилось,

после Европы-то, а потом... То есть я не жалуясь, — спохватилась она, — мне завидуют...

— У тебя зрачки сужаются, когда ты говоришь «Европа».

— Я горшки лепила на керамической фабрике. В Ирландии. Простые, конечно, не чета нынешним.

Марк взглянул с недоверием.

— Правда, — сказала она. — Моя работа называлась «младший керамист». Полтора доллара в час. Первые месяцы чудилось, что так и прожву остаток жизни в деревушке за холмом. И каждое утро буду проходить мимо друидских развалин с непонятными буквами, не знаю, как по-русски...

— Руны?

— Да. И возвращаться домой мимо грязноватых кабачков, слушать гомон пьяных сквозь открытые двери, искать дорогу в тумане. Наверное, это было самое счастливое время в моей жизни.

— Тебе и тогда так казалось?

Под лучом малинового огромного солнца потеплела и вспыхнула опаловая глубина, заплясали камешки на дне. А прибой обленился, стал почти неслышным.

— Нет, — сказала Клэр. Не сговариваясь, они свернули с шоссе и спустились к морю. — Знаешь, я совсем сбила ноги, — пожаловалась она. — Зря мы шли босиком, а? Мне тогда совсем, совсем по-другому казалось... Себя хоронила, можно сказать. — Она улыбнулась. — Шесть человек нас в домике обитало, эдакая коммуна. Раз в неделю по очереди ездили на попутках в Дублин за... за лекарствами. — Она хотела, конечно, сказать — наркотиками. — Отец с матерью меня завалили письмами, умоляли вернуться, а мне так стыдно было — не перед ними, они люди простые, честные. Перед самой собой, перед всеми нью-йоркскими приятелями. Уезжали-то мы Европу покорять... за счастьем, черт подери, ехали...

— С кем, милая?

— Я говорила тебе уже. Феликс. Но это совсем другая история. Послушай, я тут вспомнила — я же перед самым отъездом просматривала этот роман дурацкий, про кошек. Отец купил в Нью-Йорке, когда они приехали.

— Не понравился, чувствую.

— Я, наверно, не поняла чего-то. Показалось совсем не смешно. Безвыходно, тоскливо. Одно кошачье пианино чего стоит. Твой брат в самом деле такой мизантроп?

— Когда он не философствует, не пишет прозы, не торчит в запое, с ним легко. Он сглупил с этими «Лизунцами». Задачу себе, понимаешь ли, поставил, — Марк помедлил, вспоминая, — написать пародию на антиутопии, балансируя на грани смешного и зловещего. Но многим нравится, иные даже хохочут. Ты опусти ноги в воду, легче будет. Плоские камешки умеешь кидать, чтобы подскакивали? Я умею.

Он отыскал в остывшей гальке овальный камешек и, аккуратно примерившись, запустил его параллельно прозрачной поверхности моря.

— Восемь раз! Ты и впрямь мастер.

— Время бросать камни, — промолвил Марк, — и время собирать камни. Иван уверяет, что имеется в виду не просто бросание камней, чтобы подскакивали, а известная библейская казнь. Видишь ли, даже из-за этой спорной повестушки у Андрея могут быть неприятности. Даже посадить, в сущности, могут. И жалко, что он уехал, — я бы непременно вас свел, и ты бы ему понравилась. Кстати, не пора ли торопиться? Мало ли что может случиться... с тем же дантистом.

— А с тобой самим ничего не может случиться из-за Андрея?

— Сейчас не тридцатые годы. Да и у него все будет в порядке, я уверен. А вот коли мистер Файф окочурится...

— Что с ним делается, с толстокожим. Ночь напролет, наверное, видел во сне лилипутский цирк. Нет, правда, не беспокойся. Ему вчера врач оставил лекарство, то самое, которым его кололи. Я даже знаю, что он скажет тебе за завтраком. «Среди этих лилипутов попадаются совсем замечательные, Марк! Они не просто малорослые люди, многие из них калеки, с гормональными нарушениями, мне как врачу было исключительно интересно!»

Шесть утра. Гостиница уже открыта, не придется стуком в дверь создавать ненужную рекламу. Из холла уже выходят две поджарые деловитые немки в купальных халатах, шумит лифт. Марк подал Кларь руку, попрощался, дотасился до своего номера, глубоко вздохнул по поводу накопившегося беспорядка, блаженно потянулся — и рухнул в постель. Дежурной по этажу было велено разбудить его в половине десятого.

Много всякого снилось Марку, а напоследок привиделся отряд голоногих римских солдат, колотящих тараном в ворота какой-то несчастной осажденной крепости. Разумеется, это означало всего лишь чей-то настойчивый стук в дверь гостиничного номера. Но сны, как и жизнь, избыточны: Марк ясно различал капли пота на обветренных загорелых лицах, ясно слышал хриплые выдохи солдат при каждом новом ударе и всей кожей ощущал лучи беспощадного иудейского солнца.

— Слышу, слышу, спасибо! — Он вскочил и побежал в душ. Поначалу показалось, что кран горячей воды поворачивается с трудом, но это была ошибка — кран не поворачивался вовсе. Повертевшись под ледяными струями, Марк быстро пришел в себя. А стук в дверь продолжался. Дежурная бы по телефону позвонила.

Натянув на влажное тело вельветовые джинсы, Марк отворил дверь — и с превеликим неудовольствием обнаружил на пороге вчерашнего шевиотового мужичка.

— До ночи гуляете, Марк Евгеньевич, — вкрадчиво молвил незванный гость. — Поздненько гуляете. Разыскивая вас, я на работе задержался, от супруги выволочку получил. Нехорошо.

— У меня рабочий день не круглые сутки. — Марк пододвинул мужичку стул. — Да и что вам было меня искать? Объяснил же я вам, что перегнула палку ваша Лена. Безобиднейший старикан этот мистер Грин, наполовину уже из ума выжил.

— Вы ручаетесь?

— Ручаться, — осклабился Марк, — я могу только за себя, и то не всегда. Но мне смешно, когда делают из мухи слона. Ну, зарисовал он в свой блокнотик самолет на аэродроме. Это же Ту-134. Его за границу продают, и в любом газетном киоске открытка с фотографией.

— Спорить нам с вами ни к чему, — сказал усатый все тем же вежливым вязким голосом. — Сегодня Ту-134, а завтра? Бдительность, товарищ Соломин, еще никому и никогда не вредила.

Далее он пояснил, брезгливо косясь на раскиданные по комнате вещи хозяина, что Грин его покуда не интересует. А не потрудится ли зато переводчик Соломин после завтрака составить подробную справку о профессоре Уайтфилде и о его супруге. Место работы, цель приезда, политические убеждения, контакты с советскими гражданами, партийная принадлежность, участие в деятельности реакционных американских организаций, словом, сами знаете.

— Но с какой стати? — Марк продолжал играть в обленившегося столичного ферта. — Составлять отчеты на маршруте входит, как вам известно, в обязанность местного переводчика. У меня своих забот по горло. Времени нет, понятно это вам?

— Если ночами гулять, так, конечно, никакого времени не будет. Вы не кипятитесь, Марк Евгеньевич, а спокойно, четко, по-армейски исполняйте то, что вам приказано. К двенадцати ноль-ноль попрошу отчет на две-три страницы представить в комнату 1037. И больше мы вас ничем не обеспокоим. Вы ведь сегодня улетае в Тбилиси?

— В Тбилиси! — злобно сказал Марк. — А как же чайный совхоз?

— Лена справится и без вас.

— Ладно, — покорился Марк, — принесу. Или через Лену передам. Хоть это-то можно?

— Разумеется! — восхитился мужичок. Перстня на его пальце сегодня почему-то не было. — Нам только отчетик и требуется, а уж кто его принесет-доставит — дело десятое, Марк Евгеньевич. Договорились?

Кофе Марку не оставили, мутноватый чай с черствой булочкой ясноности мыслям не прибавил нисколько. «Вы не езжайте в совхоз, — тихо попросил Марк Берта, не успевшего еще разобрать свой нашедшийся чемодан, — подойдите в пол-одиннадцатого ко мне в номер, только без жены». Озадаченный профессор кивнул.

— Минутку внимания! — Марк оглушительно хлопнул в ладоши, и одиннадцать пар глаз устремились в его сторону. — Дамы и господа, на экскурсию вы поедете без меня. Попросите Лену на обратном пути завезти вас в «Березку». Сразу после обеда отбываем в аэропорт. Напоминаю, еще раз КАТЕГОРИЧЕСКИ напоминаю, — он свирепо посмотрел на мистера Грина, у которого рот, белая рубашка и даже почему-то левое ухо были перепачканы яичным желтком, — фотографировать, снимать кино, рисовать — все это в аэропортах и на вокзалах запрещено. Из окна самолета, разумеется, тоже нельзя.

— А со спутников можно? — проворчал неугомонный Гордон.

— Со спутников, с Луны, с Венеры, с Марса — ради Бога, правила эти придумал не я, и потрудитесь воспринимать их как должное, дамы и господа. Цирк понравился?

Понравился. Даже Люси кисло улыбнулась, а Коганы принялись наперебой расхваливать Леночку, заодно и осведомившись, как ее лучше отблагодарить.

— Советую, дамы и господа, скинуться по два-три доллара и купить ей в «Березке» какую-нибудь блузку или босоножки, только размер заранее спросите. Кроме того, советские переводчицы бывают очень благодарны за колготки, так что если кто захватил лишнюю пару...

— Может, лучше тогда просто деньгами? — осведомилась Агата.

— Денег переводчики не берут.

— Я так и думала, — воспряла Хэлен, — еще бы! Та же самая Лена — она ведь комсомолка, у нее есть своя гордость...

— Буду ждать вас в ресторане в полпервого, — оборвал ее Марк. — Приятной поездки.

Добрых четверть часа прорылся несчастный профессор Уайтфилд в своем чемодане. Калькулятор нашелся сразу, но «Лизунцы» бесследно исчезли.

— Противная история, — сказал Марк, когда они вышли из гостиницы в парк, продуваемый морским ветерком. — Очень противная. Остается надеяться, что все произошло случайно.

— У чемодана отличные замки. — возразил профессор. — Сам по себе он никогда не откроется.

— Больше ничего не пропало? Тряпки, западные штучки — все цело? — Все на месте.

— Да, говорил же я Люси, что в Советском Союзе нет воровства. Не пугайтесь, Берт. Мой — и ваш — умный товарищ Иван уверяет, что до самой последней возможности следует видеть в неприятностях проявление мировой энтропии, а не чьего-то злого умысла. Только будьте поосторожней, ладно?

— Вы тоже будьте поосторожней, Марк, — вздохнул профессор и пояснил, что Хэлен с Люси за завтраком уже прохаживались по поводу... — Ну, вы знаете, по какому поводу, Марк. Вы действительно скоро собираетесь жениться?

— Да. — Марк вздрогнул. — А какое их собачье дело?

— Это вы у них спросите. Между прочим, извините, что я лезу в ваши дела... Невесты вашей не имею удовольствия знать, а Клэр, конечно, редкая женщина. Хотя, — он усмехнулся, — я принципиально против подобных историй.

— Не из религиозных, я надеюсь, соображений?

— Я атеист. Просто я немного узнал вас за эти дни, Марк. У вас очень небольшой запас прочности. Вы понимаете, о чем я?

— Понимаю, — медленно сказал Марк. — Только я всегда считал наоборот.

— По-моему, не тот случай. — Профессор смотрел в сторону, где гипсовая посеребренная крестьянка протягивала к небу толстого младенца. Гипс потрескался, из мощного запястья скульптуры торчал кусок ржавой арматуры. — Не тот случай, когда гарантированное расставание навсегда — преимущество. Но простите еще раз, хорошо? Сам не знаю, зачем я все это говорю...

Ни единого солнечного луча не пробивалось сквозь плотные гостинич-

ные шторы. Отворив дверь, Клэр снова юркнула в постель, до подбородка натянув простыню.

— Я проспала экскурсию, да? — протянула она жалобно. — Умираю, спать хочу. Отвернись. — За спиной у Марка послышалось шуршание одежды, видимо, собираемой в охапку. — Можешь повернуться! — раздалось сквозь плеск воды из ванной.

В номере стоял такой же кавардак, как у Марка, зато стол украшали три розы — по преступному небрежению хозяйки, впрочем, не освобожденные от целлофановой обертки и тугой проволоки и оттого начавшие уже увядать. Он попросил у вернувшейся в комнату Клэр ножницы.

— Мне самой их жалко, но я вчера так и не смогла развернуть. Шипастые такие. Тебе хорошо, ты в самолете отоспишься, а я не умею. Посадишь меня у окна, хорошо?

Поставив освобожденные розы обратно в казенный кувшин, Марк раздвинул шторы, распахнул настежь окно и балконную дверь. Яркие фигурки внизу брели к морю, рассыпались по серым камням, галдели, молчали.

— Берт прочел мне небольшую лекцию, — сказал Марк. — О том, как недопустимо примешивать чувства к курортным романам.

— И я так считаю. Заявился ко мне с утра пораньше в нарушение всех приличий...

— Чемоданы надо паковать. — Он обнял Клэр. — И вообще...

Они засмеялись, а сердца у обоих снова частили, и безучастное солнце заливало комнатушку.

— Пора собираться. — Он продолжал обнимать Клэр. — У меня тоже все в беспорядке...

Спустился он в свой номер, однако, не скоро и вместо сборов попросту покидал все вещи в чемодан — да и заспешил на первый этаж встречать американцев, вдоволь нахлебавшихся чаю на образцово-показательной плантации.

Пора было и в дорогу. В кармане у Марка шуршала смятая телеграмма из Москвы: «ЖДИ ПИСЬМА ТБИЛИСИ ПОЧЕМУ НЕ ЗВОНИШЬ ЛЮБЛЮ СКУЧАЮ СВЕТА». Потому и не звоню, что курортный сезон, дорогая, телефонного разговора надо ждать несколько часов, а знаешь, сколько у меня забот на маршруте! Не дай Бог, взбредет ей в голову позвонить ему самой — в Тбилиси, в Ташкент ли. О чем разговаривать? И как?

— Поехали! — бросил он шоферу и отыскал глазами Клэр — та ответила ему долгим, без улыбки взглядом. За обычным гвалтом никто не заметил этого беззвучного разговора, а старательная Леночка все загибала пальцы, теперь уже на другой руке, перечисляя какие-то безумные общественные фонды потребления. Выходя из автобуса, Руфь протянула ей небольшой пластиковый пакет — и тут наступил хорошо знакомый Марку приступ нерешительности. Пришлось ему, безучастно насвистывая, отвернуться — только боковым зрением уловил он успешное завершение борьбы бедной девочки с самой собою. Взяла, куда она денется!

А уже в самолете, когда страшная сила разбега могучей машины прижала Марка к спинке кресла, когда тело его напряглось в предвкушении полета, он вдруг вспомнил, что в комнату 1037 не зашел и даже Леночке не передал никакого отчета. В другое время переполошился бы, стал бы думать о каких-то срочных телеграммах, письмах и телефонных звонках, а сейчас... Со всех сторон их обступала солнечная фиолетовая синева, внизу откатывалось в сторону море, и вот самолет поплыл над голыми горами, пиками, ущельями, а там показался и ослепительный первый ледник, и по правую руку рванулась к небу, словно в кино, снежная вершина Казбека.

Воровато оглянувшись, Марк нажал на затвор отобранного у Клэр фотоаппарата.

— С ума сошел! — ахнула Клэр. — Сам же предупреждал!

— Ничего, — подмигнул Марк, — будет тебе уникальный сувенир... перед Биллом похвастаться...

— Он домосед, — Клэр вздохнула, — не работает, так возится у себя в подвале. Мебель строит. Даже в отпуск его не вытащишь. Мотаемся к его старикам во Флориду, как идиоты, каждое лето. На Максима хочешь полюбоваться?

— Очень милое дите. — Он повертел в пальцах цветной квадратик фотографии. — Ты с ним на каком языке разговариваешь?

— Стараюсь по-русски, только он не хочет. А у тебя есть фотография невесты?

— Нет.

— Я видела, — настаивала Клэр, — у тебя торчал уголок из бумажника. Покажи. Это и есть моя счастливая соперница и почти тезка? У вас скоро свадьба? Что ж, вполне симпатичная. Ты ее сильно любишь?

— Вот кто, любезная, верни-ка мне фотку — вот так — и ради всего святого заткнись. Поглазей лучше в окошко, сама же просила. Или почитай своего валютного Мандельштама. Мне и так совсем не сладко, девочка.

— Мне тоже, — сказала она тихо.

Часть третья. РУССКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Глава первая

«Господи, Господи, зачем же завел ты меня на зловещий карнавал, что забыла я в этих чужих краях? Земля предков! Какие детские были надежды, как верила: обоймет, ошеломит великая держава, в один миг полюблю, как в романах, и все затмится и отступит, вся бесталанная жизнь, все проигрыши, неудачи, тоска и отчаянье — отступят. И не за семь, за семь тысяч верст приехала хлебать киселя, ах, ведь могло бы гнилое и страшное это болото так и остаться моей Россией церковной школы, бредом сладким могла бы остаться, луковками церквей, алым пятном на карте, зимним деньком из Бенуа или Бакста. Двадцать восемь лет откладывала, двадцать восемь лет берегла эту свою Россию, не слушала рассказов, книгам не верила, не знала, как давит эта страна, не дает вздохнуть, головы не дает поднять — а поди объясни, поди растолкуй! Да и лучше б было угодить в лапы какой-нибудь Верочки Зайцевой, с тем бы и вернуться — и выбросить все из памяти... Откуда ты взялся на мою голову, Марк, не довольно ли с меня безумцев — или сама такая? Как объяснить тебе, глупому, невесть как попавшему в грязный этот фаланстер*, что ни в Голландии, ни в Сицилии, ни в Ирландии ни счастье, ни покой никогда не вернутся, что я ничуть не свободнее тебя. Ты еще тянешься к своей чаше, а я свою уже осушила, и была она — горька».

Клонится к середине завлекательное путешествие, и уже сболтнул Марк, юродствуя, насчет безопасности русских приключений — не позволит, мол, второй участник приключения в дверь, не станет выяснять отношений по телефону, даже в письмах будет осторожен. Озлоблен Марк этим летом, несправедлив и к себе, и к своей любви. Но простим ему минуты душевного упадка, всмотримся сквозь время и пространство — еще путешествует он по своей недоброй земле, еще стоит, прикрыв глаза рукою, у самолетного трапа, и снова медленно спускаются на летное поле двенадцать его бестолковых подопечных.

В Тбилиси, или в Тифлисе, как упорно называл его старичок Грин, в дивном городе, не плоском, как большинство его собратьев, но выступающем своими пригорками, спусками, балкончиками и крутыми тесными переулками прямо в третье измерение, касательная к которому обозначена отважно ползущим по склону Мтацминды подъемником в виде перекошенного трамвайчика — собственно, диковинной помеси настоящего трамвая с греческим амфитеатром... так вот, в столице Грузии наших американцев сразу взял в оборот расторопный местный гид Гиви. К вящей зависти Марка, жизнерадостный кавказец употреблял, в сущности, его же собственные приемы, сиречь был слегка, в самую меру, развязен, говорлив, ироничен, приветлив, услужлив, короче — профессионален настолько же, насколько неотразим. В гостеприимной улыбке обнажал высококорослый плотный Гиви замечательно белые зубы, оттененные густейшими воронеными усами и синевою хорошо выбритых щек, микрофоном

* В учении утопического социалиста Ш. Фурье — огромный дворец, в котором должны жить, а отчасти и работать члены фаланги — трудовой общины. (Прим. ред.)

в автобусе завладел, по любимому выражению Ильича, всерьез и надолго. «Мы, грузинский народ, любим красноречивые тосты, и вот вам один к примеру...» Отсмеявшись вместе с американцами, он склонился к коллеге для делового разговора.

— Программа, — приговаривал Марк, — Мтацминда, Пантеон, Джвари, цирк... Погоди, фокус покажу. — Он возвысил голос: — Дамы и господа, кто-нибудь хочет в цирк?

Обескураженный дружным «Нет!», Гиви только развел руками.

— Не беда, — ободрил его Марк, — заменим, что тут еще у тебя... Гóри?

— Обязательно, — шептал Гиви, — им всегда интересно, великий сын грузинского народа...

Москвич и тбилисец знали друг друга уже года четыре и не раз работали вместе. Из автобуса сгрузились у фешенебельной «Иверии» — там, где кончались буйные клены проспекта Руставели, а сам проспект раздвигался, сворачивая налево к каким-то облезлым бетонным коробкам, направо же — спускаясь к бурой ленивой Куре. «По-нашему, «Иверия», то есть Грузия — Иберия, — веселился Гиви. — Видишь световую надпись на крыше? Месяц назад первая буква погасла — что случилось? Скандал!» Марк, слышавший этот анекдот далеко не впервые, вежливо улыбался.

Достался ему угловой номер с просторным балконом и шторами цвета запекшейся крови, сообщавшими освещению некоторую мрачность. Нежаркое солнце висело над городом, воспетым десятками поэтов, и велик был соблазн взглянуть с гостиничного балкона в чужую жизнь, kloкотавшую по захламленным дворикам: белье на веревках, раскатистая речь, худые женщины, носатые отцы семейств...

Когда зазвонил телефон, он опрометью кинулся к нему, но вместо Клэр услышал гостиничного администратора. Просили спуститься забрать письмо.

«Тоскую по тебе почему-то больше обыкновенного, — плыло перед его глазами, — думала даже слетать на день-два в Тбилиси или Ереван, да вовремя вспомнила, что ты как-никак на работе... Выпросила у отца злополучные эти «Лизунцы», прочла, вызвала папку на разговор... оказалось, автора уже нашли, чуть не на следующий день после твоего отъезда...»

У-у, сучьи потроха, вонючие рты, докопались-таки сволочи, суки гёбэшные. Доперли-таки, кого-то раскололи, подслушали неосторожный телефонный разговор, вскрыли опрометчивое письмо, а может, похитрей что придумали, с американским-то оборудованием, хрен их знает, на то они и тайная полиция. Надо удивляться, что он, Марк, до сих пор в стороне — то ли недосмотр, то ли просто везение.

«...и лишний раз порадовалась, что у вас разные фамилии. О родстве, конечно, и не заикалась, но сказала отцу, что помню стихи А. и в «Юности», и в «Новом мире», встречалась с ним у Влад. Мих.... тут кстати случился и Чернухин, похвалил его стихи, дал отцу подборку... словом, все не совсем безнадежно... у В. М. я была в Медведково в больнице, полчаса тряслась на трамвае. Больница кошмарная, но палата ничего, на троих... Апельсинов принесла, журнал шахматный свежий... Оказалось, отец был у него студентом в 38-м году, встрепенулся, когда услышал о нашем знакомстве, обещал перевести старика в Кунцевскую больницу и вообще как-то помочь... Заходили Истомин со Струйским, безобразно пьяные, пришлось выставить обоих... Платье готово, но мне пуговицы совсем разонравились, портниха эта — полная идиотка, не пойму, почему Вероника от нее без ума, поставила серебряные, а я ей ясно говорила — чисто белые, сутажные или на худой конец перламутровые — вот отправлю тебе письмо — и сразу по магазинам...»

— Нас ждут, — Клэр влетела в комнату, вся в лиловом. — Тебе Берт разве не звонил?

— Звонил. — Марк поднялся с постели. — Просто я задремал после ужина. Забыл обо всем на свете. Сядь, посиди со мной.

— Обидятся.

— Поймут. Гиви позвали?

— Говорит, дела.

— Точно. — Марк улыбнулся. — Инструкция же запрещает бывать в номерах у иностранцев, а он тут на виду. Понравился он тебе?

— Дурак, по-моему. И хам.

— Не видала ты дураков и хамов.

Час от часу, день ото дня становилась утомительнее и невыносимее эта привычная игра. О письме он старался не думать. А город — шумный, южный, тенистый — окружал их и охватывал, петляла горная дорога, и свистел ветер на вершине холма, пролетая сквозь оконные проемы полуразрушенного храма. Смуглая ящерка, черноглазая, с драконьим хвостом, при виде Марка и Клэр вскинула голову, застыла сфинксом — и тут же исчезла в развалинах, а небо синело в пустоте крыши, и блеяли, неспешно пересекая дорогу перед самым автобусом, овечьи стада, и американцы по очереди фотографировались с седобородым пастухом, у которого мистер Грин одолжил для такого случая его высокую меховую шапку, взамен всучив свою белую панамку. На вершине Мтацминды Гордон отпустил свои обычные шуточки при виде огромного пустующего подножия, где не так давно высился памятник: вождь, дескать, пошел прогуляться, — но в Гори памятник сохранился, вздымался великий специалист по языкознанию и национальному вопросу во весь свой могучий гранитный рост неподалеку от лачуги, где некогда явился на свет. Впрочем, лачуга была целиком обстроена мраморным зданием музея.

— Дело прошлое, — доверительно жаловался Гиви, — репрессии-депрессии, реабилитации-пилитации, одно тебе скажу, Марк, — бардак в стране, нет в стране хозяина... Ты знаешь, сколько стоит у нас в Тбилиси поступить в институт?.. Яблоки, — не унимался он, — сорок соток у деда участок...

— Четыре гектара? — уточнял Марк.

— В десять раз меньше, дорогой, в десять раз... Будь у меня четыре своих гектара, разве стал бы я корячиться на государственной службе? А ты, я слышал, женишься?

— Кто тебе сказал?

— Наши же клиенты, дорогой. На Свете, полагаю? Прекрасная женщина, пирожки ее до сих пор забыть не могу. А у нас от деда вина бочонки. Забегай, а? В магазине такого не купишь.

Марк вздохнул. Он совсем не прочь был бы выпить с простодушным тбилисцем, повидаться с тихой Нателлой, поиграть с их трехлетним сыном. Но вечеров оставалось не так уж много.

— Туго со временем, Гиви.

— Ай, огорчаешь! — сказал Гиви с преувеличенным акцентом. — Почему туго? Зачем туго?

— Сегодня праздничный ужин, завтра... Завтра я жду весь вечер звонка от Светы... А там и уезжать...

Не закрывая рта, хвастался Гиви своим наследником, но и Клэр прожужжала Марку все уши своим Максимом, накупила кучу детских пластинок, матрешек, пирамидок, книжек и цветных карандашей и непростанно сокрушалась из-за того, что так много в русских, читай: советских, — магазинах всевозможных танков и автоматов: «По этому ассортименту, — кривилась, — вы нас точно обогнали».

А когда Марк, к продолжению рода человеческого достаточно равнодушный, попробовал над нею подшутить, несоразмерно ожесточилась и чуть не закричала, что у нее в жизни, может быть, никого и ничего больше не осталось, кроме этого мальчишки.

Из отрывочных ее историй мало-помалу прояснялся и образ рокового Феликса, флегматичного, склонного к полноте парня, который в одно прекрасное летнее утро четыре года тому назад с концами исчез из их квартирки в порывшем от старости доме на берегу грязного, заросшего тиной амстердамского канала. Бывший хиппи или полухиппи, Феликс сделал блестящую и стремительную карьеру на поприще изящных искусств, получил, по выражению Клэр, «кучу денег» за серию картин под названием «Иконографическая трансформация», и счастливая парочка не спеша проживала их в благословенной Голландии, где жизнь была довольно дорогая, но марихуана — поразительно дешевая.

Но свихнулся бедный Феликс не на марихуане и даже не на кокаине, на политике он свихнулся. В мае 1968 года он был в Париже, откуда вернулся подавленный и злой, на чем свет стоит кляня «омерзительных буржуа» и «скотский интеллигентский миропорядок». Еще больше он расстроился после известных событий в августе того же года. В сентябре же с превеликими хлопотами начал оформлять поездку в Албанию на неделю, после которой в Китай ехать расхотел. Судя по всему, американские власти его считали чуть ли не дезертиром, и домой он возвращаться не спешил.

Осень была ужасная. Мало-помалу шумные художники из неудачников сменились в амстердамской квартирке совершенно иной и, надо сказать, куда менее симпатичной публикой. Небритые арабы и молоденькие немцы приносили неизвестного назначения пакеты и пакетики, порою даже ящики, завернутые в плотную бумагу и достаточно тяжелые. Мрачноватые латиноамериканцы в кожаных куртках их забирали. В конце осени нагрянула и полиция в счастливый момент, когда в доме не было ни пакетов, ни пакетиков, ни, Боже упаси, ящиков. Перед Клэр рассыпались в любезностях, Феликса хмуро расспрашивали на предмет его друзей-немцев, вновь появившихся, и то ненадолго, лишь к весне.

Работать Феликс перестал. Брезгливо листал то Маркса, то Троцкого, то Энгера Ходжу, один том Мао Цзэдуна собственноручно сжег в муфельной печи, где Клэр обжигала свою мелкую пластику.

Она плакала. Как-то сразу слетел с нее весь хипповский налет, оказалась под ним, по ее же русскому выражению, обыкновенная баба. Уговаривала вернуться в Штаты, ребенка завести, в Сицилию, что ли, навеки переселиться. Наконец потащила к психиатру. Густой снег за окном, достигаая мокрого асфальта, мгновенно таял; простуженный доктор комкал клетчатый платок. Аминокислотный баланс, бормотал он, инсулиновые шоки. Больной запирался в своей комнате, рисовал всякую дрянь, виселицы какие-то с голубиньими крылышками, и все рисунки отправлял все в ту же печку. Вот так и тянулось до второго августа, когда Клэр проснулась в квартире одна, обнаружив только записку с просьбой «не разыскивать» и вымученной «благодарностью за все». Рядом лежали две бумажки по десять гульденов, зажигалка и начатая пачка сигарет.

Тела несчастного самоубийцы, разумеется, разыскивать не стали, не вчера родились сотрудники амстердамской полиции. Да и зареванная Клэр почти сразу сообразила, что стала жертвой неуклюжей комедии. («Жестокости этой до сих пор понять не могу», — всхлипывала она четыре года спустя в Тбилиси.) «Шизофрения», — продолжал бормотать доктор. Возможно, возможно, кто же спорит, только паспорт он с собою прихватил, не запамятовал, да и с банковского общего счета почти все деньги снял недели за три до исчезновения. А дальше что? Да ничего. Одна нью-йоркская газетнка поспешила опубликовать нечто вроде некролога, картины, отосланные Клэр хозяину галереи, где выставлялся Феликс, довольно быстро были распроданы. Выручку переслали родителям.

— Вот я и решила, что с меня хватит. Так и сдохну в пригороде, нарожаю детей, буду новые блюда для мужа изобретать, шить, вязать.

— Забыла про свои горшки.

— Ну, горшки.

— И русские приключения.

— Заткнись.

— Скоро, скоро уже вернешься к своему вязанью. Не забавно ли — Света ведь тоже вяжет. Пишет, что купила по случаю деревенской шерсти и уже взялась за толстый свитер для меня. Белый. Могу спросить у нее фасон по телефону. Свяжешь Биллу такой же, благо и шерсть у вас не проблема.

— Марк!

— Знаешь, ты до сих пор влюблена в своего Феликса. Как кошка. А я — тот самый черный проводник, с которым прямо-таки обязана переспать просвещенная белая путешественница по Африке. Куда мне, со свиным-то рылом, в калашный ряд. Амстердам, понимаешь ли, картины, каналы, террористы...

— Я тебя люблю, Марк.

— Оставь. Я тоже полюбил тебя — а что толку?

В гостиничном номере, несмотря на полдень, полутемно — это от задернутых штор, таких же плотных, как в комнате у Марка, но не багровых, а лиственно-зеленых. Освещение поэтому не мрачно, а совсем спокойное. Сквозь щель между шторами виднеется в отдалении серебряная коническая крыша церквушки, той самой, что расписана изнутри любимым Ладом Гудиашвили; городской шум слышен довольно вятно, а разговор не то что не клеится, но ушел куда-то в сторону — у бедной Клэр глаза на мокром месте, Марку со всеми его злыми заявлениями тоже совсем не весело, и совершенно непонятно — зачем они так друг друга изводят, неужто и впрямь так уж без памяти влюблены? Наверное, так оно и есть, но незаконной этой любви, к торжеству праведников, осталось жить недолго, автобус притормаживает в деревушке на полпути к Тбилиси, и вся туристическая шарага стремглав несется к киоску с газированной водой, библиофильствующий же Марк по привычке забредает в книжную лавчонку, где дремлет над прилавком, склонив кудрявую голову на точеные руки, молодая продавщица в черном.

— Что ты делаешь тут? — нагоняет его Клэр.

— Охочусь, милая.

— Нашел что-нибудь?

— Дохлый номер.

С сожалением пробегает он взглядом по полкам, пестрящим серебряной по синему вязью грузинских названий, а шофер автобуса уже в третий раз нажимает на клаксон. Мистер Файф с натугой раскрывает окно, громогласно поясняя, как полезен его легким здешний воздух. Да и в самом деле, жара и запахи дорожной пыли в этих местах странно смешаны с горной свежестью. А вокруг тишина, даже стайка мальчишек, сгрудившаяся у автобусных дверей, помалкивает. Наверняка успел шикнуть на них потихоньку строгий Гиви, но даже он не может запретить им показывать пальцами на Люси и Хэлен — обе дуры сегодня нацепили шорты и едва прикрывающие тело майки, так что в музей Сталина их пустили с большим скрипом.

По пути в город можно, наконец, отдохнуть и от Гиви — он подсел к профессору и, расточая самые обольстительные улыбки, ведет с ним крайне не нравящийся Марку разговор, из которого долетает то «нельзя же не согласиться, что Сахаров все-таки клеветник», то «вот я, например, был в Англии, я путешествовал с нашими грузинскими туристами на теплоходе вокруг Европы, и большой, между прочим, был теплоход, как же после этого у вашей пропаганды хватает совести утверждать, что мы, советские люди, не имеем права ездить за границу? Да каждый год, заметьте, за границей бывает не менее двух миллионов советских людей». Профессор, все еще переживающий свой сочинский афронт, от спора уклоняется, знает кивает головой, да и Гордон, который вполне мог бы встать что-нибудь вроде того, что не густо советских туристов в Лувре, не кормят они что-то голубей на площади Святого Марка, не щелкают лучшими в мире советскими камерами у статуи Свободы, — даже Гордон, похоже, чуть опасается гостеприимного тбилисца. А энтузиазм Хэлен — как корова языком слизнула, потому что забыла отважная защитница рабочего класса в Нью-Йорке свои гигиенические тампоны, призвать на помощь Марка постеснялась, весь вчерашний вечер пробегала по аптекам и, как решила эту проблему, — Бог знает. Зато лучился счастьем мистер Грин — поймавшие его на улице два пизона с ходу отвалили ему две с половиной сотни за тридцатидолларовый «Поляррид» с одной запасной кассетой, и теперь он то и дело извлекал из бумажника три хрустящие банкноты, любуясь протупающим на свету адвокатским профилем Ильича.

И, конечно же, на третий день в Тбилиси полгруппы свалилось с расстройством желудка. «Это из-за воды, — Марк раздал им еще по порции лекарства. — К отлету в Ташкент будете, как огурчики, а то и раньше». «Безобразия! — вопила Люси, глядя красными от бессонницы глазами. — Кого я специально спрашивала в Москве, опасно ли пить воду из-под крана? Немудрено, что в ней микробы и грязь, в такой некультурной стране! И чемодан мой по дороге в Сочи порвался, где моя компенсация?»

Вся эта проза, признаться, скорее радовала бедного Марка, по крайней мере никто не дергал его в последний вечер в Тбилиси. «Вольному — воля, спасенному — рай», — почему-то пробормотал он, когда они с Клэр,

взявшись за руки, свернули в звездный колодец переулка и побрели по набирающей крутизну булыжной дороге. Пыхтели безучастные небесные светила, пылали и переливались, нестерпимо бил в глаза лунный свет, и в двухэтажном домике с деревянными балконами на резных колоннах шумело застолье, выводили чинную мелодию надтреснутые и серьезные мужские голоса. Были сады, и были беспризорные придорожные деревья; не без труда забравшись на кряжистую шелковицу, гид-переводчик Соломин что было сил раскачивал ветки, чуть сам не свалился вслед за дождем иссиня-черных ягод, обогравших серые камни — кровавым? — нет, скорее чернильным соком, безобразно перемазавшим им обоим губы и пальцы. Задыхаясь, одолевали Марк и Клэр каменистый склон, переглядывались, томясь. И был обрыв над городом, красноватый гранитный парапет, и река в отдалении светилась, мерцала, гасла в обрамлении черных гор. Мужской хор давно смолк. Дул неторопливый ветер, и листья высокого тополя, растущего на склоне шагах в десяти под обрывом, шумели почти на уровне глаз.

Глава вторая

Прощаясь, американцы Гиви не обидели. Получил он на память бутылку виски, блок «Уинстона», да к тому же дюжину пакетиков с лезвиями для безопасной бритвы, купленных по его просьбе недоумевающим мистером Файфом в местной «Березке», называвшейся неудобопроизносимым именем «Цинцинателла». Его ли хлопотами, по счастью кому ли совпадению, но для отъезда в Ереван грузинское отделение Конторы расщедрилось для пруппы на роскошный, блистающий лаком и краской новенький венгерский автобус о тридцати четырех местах. Гиви сочно перецеловал всех женщин, перетряс руки всем мужчинам и скрылся в гостинице, унося с собою, помимо коллективных приношений, небольшой пакет лично от Хэлен, точно такой же, какой вручила она сочинской Леночке. Полупустое чудо техники, издав тоскливый гудок, мягко отчалило от «Иверии», запетляло по одноэтажным улочкам, миновало сталинский центр и оруэлловские новостройки, потом потянулись заводы, при виде которых туристы стали наперебой вспоминать пейзажи Нью-Джерси, потом серо-зеленая виноградная долина — а там Грузия и кончилась, и на границе с Азербайджаном, у придорожного поста ГАИ, испугал оживленных туристов вид остова «Волги» — смятого, искореженного страшным ударом о дно ущелья.

«Довольно надрывов, довольно, — устало размышлял Марк, покуда его подруга, утомленная бесконечными плоскими виноградниками за окном, дремала у него на плече, — потешился — и будет. И чего я боюсь, мальчишка? Разве мало было всех этих смазливых американочек? Разве не издевался бы надо мною, вчерашним и позавчерашним, тот же Иван? Что за пошлость — влюбляться, когда все заведомо обречено, что за дешевый романтизм?..»

Долгая предстояла дорога. Но виноградники понемногу начали редеть, печально поглядывал вслед автобусу ушастый осмлик с непомерным тюком на выгнутой спине — и по сторонам задьбились горы, не лысые, травянистые, как два часа назад, а покрытые южным непроходимым лесом или уж — совсем мрачные, каменные, черно-коричневые. За персиковыми садами и черепичными крышами Дилижана дорога взметнулась круто вверх, поворачивая через каждые полсотни метров, и за каждым поворотом еще сильнее захватывало дух от высоты, от близости неба, от чудного устройства и ускользящей от первого взгляда гармонии гор и долин. Сколько раз проезжал этой дорогой, а все не насытиться, с прежним нетерпением ждешь того, что неведомо твоим случайным спутникам. Скоро в глубине песчаной и глиняной равнины, за неряшливой Семеновкой, блеснет дивное озеро, закружатся над ним белые росчерки чаек, и на узком полуострове встанут две заброшенные церквушки почерневшего камня — скоро, погоди.

Отобедали на берегу Севана разрекламированной еще в Москве форестью и пустились дальше. «Совсем другой язык, — отбивался Марк, — грузинский — из кавказской семьи, армянский — из индоевропейской, да

и не суетитесь вы, местный переводчик все расскажет подробно...» Впрочем, у него был в запасе беспроигрышный номер, вернувший ему пошатнувшееся было доверие американцев. Автобус остановился у склона, сплошь усеянного кусками вулканического стекла. «Сюрприз! — надрылся Марк. — Почти драгоценность! Уникальный сувенир!» Надо ли говорить, что отзывчивый мистер Грин, покряхтывая, забирался в автобус с полной сумкой. А Клэр копалась дольше других, ушла далеко по склону и вернулась с двумя странными камушками — у каждого в глубине сияла из-за внутренних трещин крошечная радуга. «Один тебе». «Зачем? Я здесь не в последний раз». «Пожалуйста». «Раз просишь... А что со своим сделаешь?» «В серебро оправлю — я умею — и буду носить».

Марк бросил подарок в казенную сумку, тщетно пытаясь вспомнить, есть ли у обсидиана мистические свойства, как у драгоценных камней. Нет. Просто черное траурное стекло. Одна слава, что возникло при извержении вулкана.

А на следующий день, когда он дожидался Клэр на площади перед гостиницей, сюрприз ожидал его самого.

— Марк Евгеньевич, — услышал он робкий голос.

На фоне стрекочущего фонтана перед ним стоял плюгавый солдат пограничных войск со школьным портфелем в руке — из тех, кого тянет, по жалостливой русской традиции, назвать «солдатиком».

— Простите? — сощурился Марк.

— Марк Евгеньевич, — солдатик переминался с ноги на ногу, — я вас сразу узнал..

— А я вас что-то... — начал Марк, но тут же, вскочив, солдата обнял и даже расцеловал. — Петька!

Петя Скворцов был тем самым принципиальным уклонистом, о котором рассказывал отец Марка заезжему американцу в баптистской церкви. Марк помнил его в сером пиджачке и бумажных брюках из комиссионки и теперь с веселым любопытством рассматривал, как сидела на отцовском протезе военная форма. Сидела, надо сказать, ужасно. Мундир топорщился, на голенищах пыльных сапог образовались стойкие складки, а подворотничок, надетый, видимо, утром, сплошь покрывали черные пятна.

— Рассказывай, — заторопил его Марк, — ты в увольнении? Из церкви?

— Меня в другую часть переводят, — понуро отвечал Петя, извлекая из портфеля какие-то бумажки. — Майор постарался.

— Это еще что? Отец говорил, у тебя все на ять. Шпионов, шпионов-то — много изловил?

— Никого я не изловил, Марк Евгеньевич, — вздохнул Петька, — даже ни одного учебного не засек. Заклевали меня там совсем. Перевоспитывать, понимаете, решили. Сержант наш... — Он в сердцах махнул рукой.

— За что он тебя?

— Известно, за что. У меня личное время. Сажу на койке, Библию читаю, а он, как клещ, — религия, дескать, опиум для народа, поповские выдумки. Наряды на меня сыплются как из ведра. По воскресеньям с кухни не вылезая, на службу в Ленинанкан забыл, когда и ездил. Ваня, говорю, где же у тебя совесть? А он взъелся. Я, мол, таким, как ты, не Ваня, а товарищ сержант. И ты со своей религией мне хуже врага, я бы с тобой в разведку не пошел. Ты присягу принять отказывался, служишь из рук вон, и будь моя воля, я бы тебя этими вот руками..

Марк с содроганием представил себе жилистые красные кулаки неведомого сержанта.

— И чем же все кончилось?

— Плохо кончилось, — сказал Петя, глядя в землю. — Я его не виню, я за него каждый день молился, что ж, значит, у меня у самого веры мало. А недели две назад прислали ему одеколону два пузырька. Он выпил, стащил у меня Библию из тумбочки и перед всем отделением на листочки и разодрал. Ты, говорит, эту книгу уже прочел, хватит с тебя, а она за границей издана на деньги ЦРУ, и терпеть ее в Советской Армии нельзя... Ну и...

— Я бы не стерпел, — сказал Марк.

— Вот и я не стерпел, — вдруг улыбнулся Петя. На месте одного верхнего резца у него зияла дыра. — А вышел с губы — уже приказ о переводе, это майор меня пожалел, мог ведь и под трибунал подвести. Через два часа еду в Тбилиси, а уж оттуда — не знаю куда. Как вы думаете, — он посмотрел в глаза Марку, — большой был грех?

— Я тут не судья, — весело сказал Марк, — но, знаешь, есть один замечательный русский поэт Александр Галич, так он считает, что Христос учил не столько обыкновенному милосердию, сколько жалости к поверженному врагу. Так что мотай на ус. Ах, Петька, а я-то думал, ты уже и сам в сержантах! Отец так тебя нахваливал... и майор ваш, говорил, не в претензии...

— Майор-то как раз меня выручал. Мы с ним даже о вере разговаривали. А Евгению Петровичу, конечно, я не мог всего писать. У него своих забот много, его беречь нужно. Как он там в Москве?

— Все по-старому.

— А Андрей Евгеньевич?

— Вот у него плохо, — отвечал Марк с неожиданной откровенностью. — Он написал книгу, ее напечатали за рубежом, и ему теперь грозят крупные неприятности.

— Зачем же за рубежом? — всплеснул руками рядовой Скворцов.

— Больше негде было.

— Ох! Зачем же ему было в политику лезть? Это ведь политика, да?

— Она самая, — скривился Марк.

— Пусть из Москвы уедет на время. Пока все не успокоится.

— Он и так уехал.

— Нет, пускай в Шелетовку едет, к моим старикам. Там его ни за что не отыщут. Я им напишу, хотите? — загорелся он. — Да они для сына Евгения Петровича все сделают, они же его проповеди специально приезжали слушать... И накормят, и напоят, и работу найдут без прописки... Пусть живет... Хотите?

— Спасибо, милый. Может быть, и пригодится. Теперь послушай, ты ведь не куришь и не пьешь?

— Не курю и не пью! — засмеялся Петя.

— А как насчет кофе и мороженого?

— Это с удовольствием, Марк Евгеньевич.

— Брось ты это дурацкое обращение, ладно? Зови меня просто Марк. Сейчас моя подруга подойдет...

— Света?

Марк прикусил язык. Черт знает, какие понятия о морали у этого симпатичного, но все-таки полусумасшедшего паренька.

— Нет. Я же в командировке от Конторы. Одна моя американка просила ее отвести в художественный садон.

Тут заерзал на скамейке Петя, поглядывая на разгуливающий вокруг фонтана военный патруль — младшего лейтенанта и двух солдат.

— Тьфу, — сообразил Марк, — извини. Ты иди потихонечку вниз по этой улице и на первом же перекрестке нас подожди.

«Одна из американок» появилась почти сразу, на ходу отшивая какого-то настырного молодого человека, окончательно испарившегося лишь при виде ожидающего барышню кавалера. Перепуганный Петя — историю его Марк пересказал по дороге — исправно томился на углу, но с первыми звуками голоса Клэр мгновенно успокоился.

— Вы совсем как русская, — заявил он, выбирая из алюминиевой вазочки крошечную порцию мороженого, — не отличишь.

— Я и есть русская. — Клэр улыбнулась.

— Зачем же вы меня разыгрывали, Марк Евгеньевич?

— В Америке всех наций понемногу.

— А вы тут с делегацией? — любопытствовал Петя.

— Нет-нет, — сказал Марк, увидав, что Клэр не понимает вопроса. — Ни с какой не с делегацией. Просто приехала посмотреть.

— Посмотреть?

— Ну да, — терпеливо пояснял Марк, — человек хочет поехать в отпуск. Может отдохнуть у себя дома, в Америке, а может купить путевку

или даже без путевки отправиться куда душе угодно. В Турцию, в Египет, в Советский Союз.

С неудовольствием поджав губы, Клэр встала и заспешила в гостиницу, пообещав вернуться через десять минут.

— Она совсем, как мы, — удивлялся Петя.

— А ты полагал, американцы о четырех ногах и двух головах?

— Откуда же мне знать, Марк Евгеньевич! Читаешь газеты, слушаешь радио — империализм, эксплуатация, безработица. Она, наверное, капиталистка?

Марк покачал головой. Входящая на террасу Клэр спугнула воровья, который боязливо подскакивал на краю стола, примериваясь к забытой хлебной корочке.

— Вы не откажетесь взять у меня это? — сказала она с неожиданно усиленным акцентом. — Это моя собственная... подарок от мамы, еще лет двадцать назад... Тут, правда, только Новый завет, но я подумала...

Марк даже поразился той жадности, с которой Петька схватил протнутый пакет и разорвал обертку. Раскрыл порядком зачитанную книгу на одном месте, на другом, погладил, перелистал, забыв поблагодарить Клэр.

— Вот это да! — сказал он наконец. — Бывает же! Я бы попросил родных, но у них на всю общину всего три, да и расстраивать их не хотел, а пропавшую мне Евгений Петрович подарил, я же не могу к нему снова...

Растаяли в помятых вазочках остатки провинциального мороженого, припахивающего кипяченым молоком, кончилось кислое армянское вино в стакане у Марка, и Петька, прижимая к груди драгоценный подарок, все чаще поглядывал на часы над верандой.

— Вы, Марк Евгеньевич, я знаю, не очень-то верующий, — дипломатично говорил он, — а я, например, эту книжку могу ну прямо до бесконечности читать, умнее книги вообще нет на свете, и Евангелия, и деяния, а послания апостола Павла и вовсе, это такой был умный человек, теперь таких и не бывает...

— Есть у брата Андрея такой знакомый, — Марк, пожалуй, обращался больше к своей подруге, чем к Петьке, — который спятил на религиозном экзистенциализме. Начал с Достоевского, перешел на Пушкина, Льва Шестова чуть не наизусть выучил. И такой он кончил своеобразной идеей, что Федор наш Михайлович, со всеми своими проповедями, вовсе не христианин. Что старец Зосима, если пригладеться, одержим бесом. Что Пушкин, конечно, куда более православен, но все же тоже мирянин, настоящему верующему его писания не нужны — только смутят. И если уж так, решил он, то не нужна вообще никакая литература — все, до чего могут додуматься лучшие из борзописцев, уже содержится в сорока страницах Евангелия от Матфея.

— Зря смеешься, Марк.

— А я не смеюсь. Иногда мне эти рассуждения представляются вовсе не такими неверными.

— Я других книг не люблю, — отозвался Петя, не вполне, правда, проникший во всю глубину рассуждений неведомого столичного обскурантиста. — Потому что они все выдуманые. А над этой, Клэр, вы знаете, который раз читаю, а все плачу.

Пожилые армянки на бульварных скамейках с приближением полудня понемногу передвигались в колеблющуюся тень листвы, игравшую и на цементном полу кафе золотистыми пятнами.

— Хорошо ты придумала с книгой. — Марк смотрел в спину уходящему Пете, который все оборачивался, все махал им рукою с зажатым томиком.

— Тебе думала подарить. Но ему нужнее, правда?

— Правда. А ты на что-то злишься, по-моему.

— Нет.

— Только честно.

— Не понравилось мне, как по-барски ты расписывал Америку этому несчастному парню. Езжай, мол, куда хочешь, и вообще рай земной.

— Стоп, — желчно сказал Марк, — стоп машина. Куда тебя понесло, душечка? Опять вообразила себя с Феликсом или не знаю с кем в Сици-

лии? Опомнись, милая. Я себя ничуть не считаю сколько-нибудь богаче или счастливее этого парнишки. У него по крайней мере есть теперь твое Евангелие и полчаса армейского личного времени в день на чтение. А у меня?

— Евангелие и у тебя есть, сам хвастался.

— Толку-то что. Я же не верю в бессмертие, я и в чудеса не верю, лапушка.

— Сам виноват.

— Нет. Просто это было бы слишком хорошо — знать, что вся земная жизнь — только игра, а кто-то наверху посматривает, заносит в книги, подбивает итоги. Как это было бы хорошо, Клэр! Слишком хорошо, чтобы поверить.

В обеих чашечках турецкого кофе оседала на стенках помолотая в пыль гуща, съезживалась в гадательные полосы и пятна. Не стоит гадать, не надо разговаривать, пора уходить, пора черт подери, хоть в тот же художественный салон отправиться, дорога идет бульваром, клены шуршат острыми звездчатыми листьями, каменные церкви тесны, а камень улиц — тепел и розов.

— Я тебе завидую иногда, — невпопад сказала Клэр. — Тебе есть на что жаловаться. От этого, должно быть, гораздо легче. Знаешь, у меня, даже по нашим пресыщенным меркам, «все есть». А я чуть не всю прошлую весну провалялась пластом две недели в своей комнате, даже Максима почти забыла, ревела. На улицу сунуть нос боялась. Ну кто в этом виноват?

— К психиатру бы пошла, — зевнул Марк.

— Жулики они все. О детстве расспрашивал, кляксы показывал, таблетки прописал.

— Пила?

— Нет.

— Ну, занялась бы этой, как ее там, общественной деятельностью. Борись за снижение налогов, за права женщин, за бесплатные аборт, что ли, или за запрещение абортов.

— А ты не будь идиотом, ладно?

— Между прочим, — примирительно сказал Марк, — экскурсию мы прозевали, а Армения — единственная страна в мире, у которой на гербе изображена гора из другого государства. Вон золотое облачко на горизонте — видишь? Это Арарат, Турция уже.

Он вспомнил рассказ Петьки о его заставе близ Ленинакана, о выжженной каменной равнине, неизменной почти с первого дня творения — только перегороженной тремя рядами колючей проволоки, о скрипучей лесенке на сторожевую вышку, об огоньках турецкого поселка на той стороне границы.

— Полно, милая, рассуждать, кто несчастнее, суета суета это все, томление духа. Ни до чего мы не dospоримся. — Голос его вдруг окреп и стал похож на отцовский. — Какая неблагодарная, ненасытная тварь человек! Что Евангелие от Матфея! Разве в книге Экклезиаста нет наших разговоров? Ты права, столько ступеней счастья, и на каждой хочется выше, выше, покуда шею не ломаешь. А сколько людей нам с тобой завидует!

— Было б чему, — нехотя улыбнулась она.

— Не вместе нам, — поправился он с такой же невеселой улыбкой, — по отдельности.

Он перевернул пустую кофейную чашечку, подождал. Но гадания не вышло — только какие-то мотки колючей проволоки да волосатые хари чудились ему на желтоватой фаянсовой поверхности. Пора, пора. К двум часам надо быть в гостинице; не дай Бог, забудет нерасторопный метрдотель подать минеральную воду, а не то снова в последний момент заменит бифштекс натуральный на котлеты рубленые. Снова взбунтуется американец, снова какая-нибудь Люси или миссис Файф брезгливо отодвинет тарелку, гневный взгляд обращающая на проштрафившегося переводчика: «Дома мы рубленого мяса не едим никогда, и платили по первому классу, за нормальную еду, а не за эту дрянь...»

— Кстати, о Люси. Подпиши, пожалуйста. Профессор и Диана уже расписались, третий нужен.

«Справка, — принялась читать Клэр. — Настоящим удостоверяется, что чемодан коричневый виниловый, принадлежащий госпоже Яновской, был поврежден (разорван) на территории Союза Советских Социалистических Республик при форс-мажорных обстоятельствах (землетрясение), заключающих материальную ответственность советских учреждений и частных лиц. Контора по обслуживанию иностранных туристов в лице заместителя Генерального директора г-на Соломина почтительно просит страховую компанию возместить упомянутой г-же Яновской стоимость упомянутого, принадлежащего ей чемодана, разорванного, винилового, размером 32 на 44 дюйма, в духе разрядки, доброй воли и мирных отношений между СССР и США, каковой факт удостоверяется упомянутым г-ном Соломиным и тремя свидетелями».

— Ну и ну! — смеялась Клэр. — Отчего ей Аэрофлот не заплатит?

— Долго, — пояснил Марк, — да и денег дадут рублей шесть. Я такие бумажки часто выдаю. Произведет впечатление?

— Конечно. — Клэр лихо расписалась. — Кириллица в особенности.

— Я еще печать поставлю. Диана была права — боится наша Люси, как заяц. Даже в Аэрофлот протестовать не пошла. У нее родная сестра где-то в Белоруссии.

— Коганы же не боятся.

— Они из Польши уехали, в смысле, теперь это Польша. А Люси наоборот — была Польша, стал Советский Союз. Вот она и трепещет. Думает, что кому-то нужна. Я с тобой распустился, все власть ругаю, а на самом-то деле, кто спорит, гораздо все мягче стало.

И была Армения. Черноглазая, черноволосая, чуть усатая Аник стояла на обрыве у недавнего памятника жертвам резни тринадцатого года. Наклонные плиты грозowego бетона сходились к центру, образуя подобие распускающегося, а скорее увядающего цветка. Текст молодой переводчицы был, разумеется, казенный, напичканный дурацкими русицизмами. До поры до времени барабанила она его с такими знакомыми Марку старательно-равнодушными переливами служебного голоса. А поди ж ты, под конец и ее проняло, и слезы на глазах показались — и даже привычный московский переводчик вздохнул.

— Видишь, — шепнул он своей подруге, — а мы спорим, кто несчастнее.

Лежали в музейной витрине раскрытые фолианты шестого века. Раскрашенные фигурки на пожелтевшем, потрескавшемся пергаменте вздымались огромные луки, в скорби охватывали руками большие головы, рядками молились в темных церквушках при сальных свечах. Каменные орлы с отбитыми крыльями. Голые стены, прохладная теснота эчмиадзинской церкви. Старуха в черном замерла на коленях, уставившись в сияющую прорезь окна. Праздные американцы щелкают фотоаппаратами, озаряя церковь до самого купола, и профессор пробует ногтем коричневый камень — когда-то бывший нежно-розовым туфом армянской столицы. И мистер Грин, одержимый идеей поскорее спустить свои двести пятьдесят рублей, переминается у киоска, прицениваясь к штампованным алюминиевым крестикам, роется в открытках, и, когда засовывает толстую их пачку в нагрудный карман, смиренно смотрят оттуда золотисто-черные очи Богородицы.

А о чем же говорят мои Марк и Клэр, спрятавшись от остальных за колонной?

— Thou hast ravished my heart, my sister, my spouse, — медленно произносит Марк на чужом языке, — thou hast ravished my heart with one of thine eyes, with one chain of thy neck. How fair is thy love, my sister, my spouse! how much better is thy love than wine! and the smell of thy ointments than all... than... than all spices...*

Глава третья

— Да, ночи здесь холодные, — согласился Марк, — климат-то континентальный. Но знаешь, Гордон, кого мне сейчас жалко больше всех?

— Дантиста? Или Грина?

* Песнь песней Соломона, IV, 9—10.

— Нет, администратора самаркандской гостиницы. Знай она, что мы прилетим только утром, заработала бы за эту ночь сотню с лишним. В холле-то, небось, десятка два командированных, и всякий был бы ей счастлив всучить свою кровную десятку. Диалектика!

В маленьком зале ожидания для иностранцев при ташкентском аэропорту скучали все тринадцать путешественников, дожидаясь своего отложенного до трех часов ночи рейса. Впрочем, четырнадцать — брат Когана, Моисей Хаймович, приехал их проводить да так и застрял, безостановочно разговаривая по-еврейски со своими заокеанскими родичами. Все трое то взахлеб хототали, то надолго замолкали, однажды американский Коган принялся громко всхлипывать, а Сара — вытирать ему слезы бумажной салфеткой. Митчеллы, Уайтфилды да неизменная Клэр лениво разговаривали, остальные подремывали или просто томились, развалясь в потертых рыжих креслах. Не теряла времени даром только неутомимая Хэлен, и тут сосредоточенно рывшаяся в АПНовских брошюрках.

— Кстати, Берт, коли вам интересно, как раз в Ташкенте мы восемь лет тому назад с Иваном познакомились. Он тебя не разочаровал?

— Ничуть. Скорее, как говорится, превзошел все ожидания. Только что он нервный такой? Ты бы видел, как он вздрогнул, когда мы его нагнали на Красной площади.

— Он с апреля месяца не в себе, — вздохнул Марк.

Восемь лет назад, да, летом было дело, забрели они с братом Андреем среди ночи погреться на городской почтамт, стрельнули там курева у московского хромого паренька, хладнокровно читавшего свой «1984» на английском языке за казенным столиком. Впрочем, на почтамте было совершенно пусто, не было ни единого претендента сочинять за оным столиком письмо или телеграмму. Умный, болтливый и самоуверенный Иван пришелся ко двору. С ним в конце концов было много веселее, чем с грустноватым Андреем, да и поездка приобрела известную лихость. «Мистер Истомин», как он тогда представился, взял на себя все дальнейшие заботы о ночлеге, и даже остаток той ночи все трое провели отнюдь не на почтамте, а в каком-то довольно чистеньком домике при турбазе. А когда на следующую ночь их оттуда благополучно выставили, администраторша стараниями Ивана постелила им прямо в саду на дощатом помосте — и девятнадцатилетний Марк навсегда запомнил ночной азиатский холод и странно близкие звезды, мучительно светившие сквозь виноградную ливу. Вечерами на железнодорожных путях Иван ухарски расспрашивал рабочих, куда и когда отправляются товарные поезда... С душераздирающим лязгом трогались составы, и ликовали на каких-то бетонных блоках безбилетные московские студенты. «Что загрустил, — писал много позже Андрей, — и отчего продрог в восточном сне, в его истоме крепкой? По всей империи болотной ветерок размывает серенюкою кепкой. А здесь, где кошка по уступам крыш могла бежать до самого Багдада, замешана предательская тишь на шелесте ночного винограда. Прислушайся к дыханью тополей — на этот вечер прошлое забыто. Ночь наступает глубже и быстрее, чем остывают глиняные плиты. Еще земля в руках твоих тепла, покуда черный воздух спит и стынет, и лунный луч — железная игла — легко скользит по темени пустыни. Вернется жизнь оплывшей стеной, и щебетом скворца, и нищею листвою пристанционной, и улочкой кривой, а повезет — и ручкою дверною, и жарким очагом... а ты все плачешь: «мало», выходишь из ворот и таешь вдаль, и только привкус ржавого металла горит на пересохшем языке...»

— Отличные лирические стихи, — одобрил Гордон, — и ты их, Марк, очень даже неплохо перевел.

— Вся музыка пропадает, — сказал Марк не без гордости за брата. — Клэр может их гораздо лучше оценить.

— И вообще, — добавил Гордон, — как приятно, что есть на белом свете поэты, художники, музыканты. Такое, понимаешь ли, бескорыстное, Богом избранное племя. Мы занимаемся грязной работой, вкальваем, детей рожаем, о политике базарим, а они раскатывают по миру и что-то такое трогательно-непонятное нам, простым смертным, сочиняют. Возьмешь перед сном книжечку в руки, пролистнешь — и прямо стыдно от собственной тупости...

— Ну что ты несешь! — Диана покраснела.

— Шучу, дорогая.

Чтобы заполнить опасную паузу, Марк спросил у профессора, как ему понравился Ташкент, в ответ же услышал, что для города, на девяносто процентов разрушенного землетрясением, он выглядит совсем неплохо.

— Ценю твою вежливость, Берт. — На Гордона явно напал приступ мизантропии. — Но неужели ты всерьез? Я вообще не понимаю твоей системы скидок. Мы же не в третьем мире, профессор! Мы во второй сверхдержаве нашей старушки-планеты. Они в шестидесятом году собирались нас за двадцать лет догнать и перегнать по всем статьям. И впрямь по вооружению уже нам на пятки наступают. Раскрой глаза, Берт, у нас на социальное пособие лучше живется, чем здесь среднему рабочему, не видишь, что ли?

— Ну, — начал профессор, — без скидок никак не обойтись. Мы в войну двадцать миллионов человек не потеряли... и климат у нас...

— Да не о том ты, Берт, — перебила его Руфь, — просто у нас есть дурная и высокомерная привычка сравнивать все самое лучшее в Штатах с самым плохим за границей. Ты меня извини, Гордон, но мне эти ташкентские жилые кварталы при всей их тошнотворности все-таки симпатичнее наших трущоб. А о нашем метро ты забыл?

— Будто у тебя машины нет.

— Так я и поехала из Форест Хиллз в нижний Манхэттен на машине в часы пик, благодарю покорно. С нынешними ценами на бензин тем более. Да я такой нищеты, как у нас, ни в каком Ташкенте не видала. Ты посмотри, они же сейчас голодали бы, как Индия, если б не коммунисты. А мы оттого и жиреем, между прочим, что до сих пор качаем почем зря ресурсы из третьего мира, потом процентов десять возвращаем обратно — помощь называется. И если уж ты о метро — да, я за такое метро, а не за нью-йоркское. И наша беднота, к слову, вовсе б не отказалась жить в этих ташкентских домах.

— Ты прямо на глазах в Хэлен превращаешься! — вскипел утомленный Гордон. — Конечно, московское метро лучше нашего, особенно если убрать из него позолоту, мрамор и скульптуры с винтовками. Только ехать на нем, извини, некуда. Это же не страна, а сплошная казарма. Ты извини, Марк, — спохватился он.

— Ничего. — Побледневший Марк улыбался почти благодушно. — Как я однажды объяснял своим друзьям, двое из которых сейчас, вероятно, отсыпаются после трудового дня на лесоповале, раньше было хуже. Да и сейчас есть страны похуже нашей. Вьетнам. Албания.

При последнем слове Клэр вздрогнула.

— А в Южном Вьетнаме что? — вскинулась Руфь. — А в Парагвае? А в Бангладеш? Где дети с голоду умирают?

— Лапочка ты моя, — поднял брови Марк, — почему же, спрашивается, я, цивилизованный европейский человек, должен думать о каких-то, прости, парагвайцах? Ты ведь не сравниваешь свой Нью-Йорк с Калькуттой? Я — гражданин бывшей великой державы, по милости господ большевиков превратившейся в мерзейшую помойную яму! Какая уж там Индия, какой Парагвай, не до жиру, быть бы живу!

— С помойной ямой, пожалуй, ты загнул, — покачал головой Гордон. — В том же Нью-Йорке куда грязнее, чем в ваших городах.

Половина первого ночи. Мистер Файф, вчера чуть не сыгравший в ящик от очередного приступа, уже похрапывает в своем кресле в обнимку с кислородной подушкой: закинулась лысеющая седая голова, приоткрылся рот, венозная рука висит, почти касаясь пола. И мистера Грина тоже сморило. Свернулся калачиком бедняга, положив под голову купленный утром на базаре коврик желтого плюша с ядовито-лиловыми лебедями. Хэлен, хоть и глядит в свою брошюрку «Что такое коммунизм: реальность против пропаганды», но, похоже, прислушивается к беседе. А Клэр помалкивает, играет колечком, которое подарил ей Марк в Ереване, тонкой серебряной змейкой с бирюзовыми глазами. Впрочем, скорей пластмассовыми под бирюзу, да и серебро оказалось сомнительное, быстро начало зеленеть.

— Не был я в Нью-Йорке, — сказал Марк спокойно. — Я и в Парагвае не бывал. Слушаю вот вас и диву даюсь: как часто вы, белые люди, во-

сторгаются нашим Орднунгом, — хотя, замечу в скобках, бардак у нас на Руси ужасающий, — а переселяться к нам даже коммунисты ваши что-то не торопятся. А через берлинскую стену бегут, бегут тысячами, это под автоматным-то огнем, через минные поля, сквозь колючую-то проволоку, а, миссис Уайтфилд, как оно, по-вашему, объясняется?

— Недовольные есть при любом режиме, Марк. Кто же отрицает, что западные страны богаче. Другой вопрос, какой ценой все это достигается. Ну, берлинская стена — это просто такой драматический символ противостояния двух миров. Гаитянских потенциальных иммигрантов куда больше, чем, скажем, кубинских. И, заметь, гаитянцев мы принимаем с большим скрипом, а кубинских контрреволюционеров — без звука, с распротертыми объятиями даже. Причем из них половина оказывается наркомамами и уголовниками. Погоди, лет через десять — пятнадцать из России тоже можно будет уехать, и, я уверена, стоящие люди останутся здесь.

— Революций в развитых странах, конечно, устраивать не стоит, — поддержал ее профессор. — Не стоит ломать сложившуюся и, главное, способную к эволюции структуру ради неведомых результатов. Но ежели у нас речь о каком-нибудь Гаити — стране на таком же уровне, как была Россия перед революцией, — то почему бы и нет. Там олигархи у власти, Марк, там социальной справедливостью не пахнет, и демократия в нашем понимании им, в сущности, не то что не нужна или недоступна, а как бы тебе сказать...

— Ты с Костей пробовал на эти темы беседовать, Берт?

— Пытался, — пожал плечами профессор. — Я же говорил тебе, с ним совершенно невозможно.

— А почему? Почему, тебе не пришло в интеллектуальную твою голову? Ох вы, умники из свободного мира... «Социальная справедливость»! — передразнил он профессора, пришедшего в некоторое замешательство. — Слепые вы, что ли? Или глухие? Ладно, нам не повезло, русским, так смотрите, вашу мать, учитеесь, благословляйте судьбу, молитесь Господа, чтобы у вас такого не устроили!

Он замолк, устыдившись своей горячности. К тому же у Уайтфилдов, как водится, имелись в запасе исключительно веские контраргументы. В самом деле, у России особая судьба, в конце концов в ней никогда не было демократических традиций. Зверства тридцатых годов — лишь логическое следствие зверств царского режима, ссылавшего, гноившего в тюрьмах и вешавшего своих политических противников. Да и были ли зверства, право слово, — в искренности Солженицына никто не сомневается, но статистическая база у его домыслов в высшей мере шаткая. Террор отнюдь не является логическим следствием марксизма, посмотрите хоть на Югославию. И так далее. Марк встал и двинулся к выходу.

— Товарищ Соломин, — поймала его за руку Хэлен, — я все, решительно все слышала! Неужели ты не советский патриот, Марк? Неужто я обманулась в тебе?

— Все нормально, солнышко. — Марк похлопал ее по костлявому плечу. — Мне — по секрету тебе сообщу — по работе положено прощупывать взгляды американской общественности. А уж какими я для этого пользуюсь приемами — дело тонкое. У меня не такие маленькие полномочия, товарищ Уоррен.

Она недоверчиво перевела дух.

— А я так перепугалась... я думала...

— Фюрер думает за нас, — сказал Марк, высвобождая руку, — все мы только послушное орудие Партии.

Вслед за ним на продутый ночным холодным ветром балкон вышла Клэр. Маленький ладный Як-40 шел на посадку, посверкивая алыми хвостовыми огоньками. Высоко в алмазно-черном небе пролетал еще один обозначенный лишь тремя разноцветными фонариками да шмелиным жужжанием мотора. На летном поле не было ни души.

— Страшно люблю дешевую романтику, — вдруг сказала Клэр. — Вывести ночью машину из гаража, выехать на хайвей...

— Скоростное шоссе, — автоматически поправил Марк.

— Выехать на шоссе и жать куда глаза глядят милях на девяноста в час. Чтобы ветер посвистывал, и встречные машины, как метеоры, и если полоса дождя — прибавить газу, чтобы миновать ее поскорей.

— В одну прекрасную ночь гробанешься к чертовой матери.

— Билл меня всякий раз ругает на чем свет стоит. Особенно если Максим просыпается, пока я раскатываю.

— Второго не собираешься заводить?

Она покачала головой.

— Для работы и так времени не хватает. А я еще надеюсь чего-то достичь, ты знаешь. Степень хочу получить, по миру поездить, на керамику посмотреть — ни в Латинской Америке я не была, ни в Африке. Курсы, может быть, открою. Мы в кошмарном районе живем. Мужья по утрам уматывают в свои офисы, а бабы с детьми дни напролет торчат дома и с ума сходят от скуки. Друг к другу ходят в гости телевизор смотреть. Бр-р-р.

Спор о политике сошел на нет. Покуда их не было, компания успела сдвинуть кресла, и по кругу гуляла выставленная советским Коганом бутылка коньяка. Даже молоденькая дежурная, поломавшись, сделала пару глотков. Усталый Марк пристроился в сторонке и, поманив Клэр, дал ей письмо от Андрея, полученное сегодня утром на ташкентском почтамте.

«Твоя телеграмма, разумеется, заставила мою бедную душу уйти в пятки, — заглядывая Марк через плечо своей подруги. — Долго не находил себе места и мучился тем, какой я матерый антисоветчик, прямо из романов твоего будущего тестя. Престранное ощущение, братец кролик! До сих пор не верится, что где-то в краях желтого дьявола какие-то любители изящной словесности выкладывают честно заработанные доллары за мои «Лизунцы». А ты еще уверял меня, что американцы не читают книг, бессловесный. Конечно, глупейшая вышла история. О выходе книги не жалею ничуть, но, сам понимаешь, у меня нет никакого желания влипнуть из-за полуслучайной вещицы, к которой я давно охладел. В былые времена в таких случаях бежали за границу, но, увы и ах, не в те времена уго-раздило нас с тобой родиться, милый мой Марк.

Впрочем, в известном смысле я и так за границей. Вот тебе мой распорядок дня: встаю в двенадцатом часу, завтракаю молоком, хлебом и картошкой, иногда творогом. Распугивая глупых литовских цыплят, приношу из колодца два ведра воды — хозяйка Алдона всякий раз рассыпается в благодарностях. Иногда, горько вздыхая, мою посуду. Если нет дождя — отправляюсь в лес. По дороге непременно прохожу мимо деревянного столба, на котором красуется вырезанная из дерева и с большим тщанием раскрашенная дева Мария. Собираю маслята и землянику. В дождь, то бишь чуть не каждый второй день, покоюсь на веранде в чеховском плетеном кресле и читаю книги из местной библиотеки. Лесков, Тургенев, Писемский, Гончаров — здоровый и полезный рацион. Одолевает искушение сочинить большой старомодный роман из нашей повседневной жизни, до сих пор, в сущности, никем не живописанной в должном виде. Жаль, что она, жизнь то есть, так бедна событиями! Они вроде бы и есть, да все какие-то не такие, скучные, и даже не в этом дело — они упорно не желают складываться в осмысленную картину. Так что работа остается на уровне довольно бездарных набросков, и не стану скрывать, что меня порою бесит собственное бессилие. Вечерами натираю Алдоне ее старческую спину мазью от ревматизма, потом готовлю на керосинке собранные грибы. Отужинав, смотрим польское телевидение, далеко не такое скучное, как наше, — а иной раз я слушаю «Свободу», которую тут почему-то почти не глушат.

Как всегда в отъезде, меня иногда тянет потолкаться среди людей. Помнишь Цветкова стихи: «Потолкайся меж людей, на вокзале, у паромы — выбирают перемет в легкую ладью Харона, чей-то поезд у перрона, птиц осенних перелет...» По воскресеньям хожу за шесть км в костел. Надеюсь, родная православная церковь простит мне этот небольшой грех. Молюсь!.. а впрочем, вру, не молюсь вовсе, так стою, умиляюсь. Приход богатый, с округи иной раз съезжается и до трехсот человек.

На ободранном моем, тоже немножко чеховско-дачном столе красуется букет маков, они растут здесь прямо по обочинам дорог. Раскрыт учебник литовского. Не выучу, конечно, а все ж таки — какое наслаждение разыскивать в нем древние индоевропейские корни! Я тебе рассказывал, что это самый архаический язык в мире? Да ты и сам знаешь, конечно.

Близлежащий Друскининкай — чинное, благонравное курортное местечко, откуда пациенты санаториев рассылают во все концы нашей необъятной Родины посылки с индийским чаем, детским трикотажем и жевательной резинкой местного производства. Презанятные, страсти разыгрываются при этом в почтовых отделениях.

Разумеется, я постараюсь задержаться здесь. Алдона сулит безо всякой прописки устроить меня рабочим на стройку, но только с первого сентября. Посему и обращаюсь к тебе, безотказный мой брат, с просьбой выслать рублей сорок. В сентябре отдам, а куда ты бы меня очень даже выручил. Между прочим, хозяйшка моя уже колдует над самогонным аппаратом. Приехал бы, а?

По-прежнему убежден, что сажать меня не за что. Лишь на всякий случай, точнее, на крайний случай, вкладываю листок, который прошу тебя — первый и последний раз — передать с оказией Косте, буде со мной приключится какая крупная неприятность. Хотя, повторю, этому не бывать. Поверь своему старому умному брату. Письмо от Кости, пересланное Иваном, доставило мне несколько веселых и грустных минут, джинсы его отнюдь еще не протерлись.

Ладно, обнимаю, привет отцу...»

Марк отобрал у Клэр письмо — дальше следовало пожелание жарких ночей с молодой супругой — и вздохнул. Вряд ли в мыслях у брата было над ним издеваться — сам же он, Марк, уверял его некогда, что истории с Натальей ему до конца жизни хватит. Деньги он выслал еще днем, шестьдесят рублей. «Листочек» для Розенкранца, не прочитав из суеверия, таскал в бумажнике.

Клэр тоже вздохнула. А Коган-младший театрально перевернул бутылку, добывая из нее последние капли, — и тут вдруг протянула ему Хэлен большую бутылку виски, запасенную, видимо, еще в Москве. После аплодисментов всей компании разговор снова ожил, снова принялся советский Коган что-то горячо объяснять по-еврейски, а Коган-старший — переводить, и услышал Марк слова «мир», «дружба» и «простой народ». Горький опыт подсказывал ему, что от высоких этих слов рукой подать до обсуждения зарплаток, квартир и автомобилей. В каком тоне — зависит от патриотизма младшего Когана. Может быть, заслушается, раскрыв рот и сокрушенно кивая, а может, наоборот, — расхвастается, что через каких-то два года подойдет и его очередь на «Жигули», а квартиру от завода они уже получили в прошлом году, три комнаты плюс ванная, туалет и кухня, сорок семь метров на троих, и квартплата всего двадцать рублей. А не то заметит, что в СССР многого нет, а в Америке все есть, но не потому ли, что у нас промышленность не поспевает за растущими нуждами населения и у народа есть деньги, «не то, что у вас». Когда дежурная растолкала задремавшего Марка, вышли уже на посадку и зевающий Файф, и жена его, и Люси — ах, черт, до сих пор не поставил печать на ее филькину грамоту! — а американские Коганы все оглядывались на советского, и в глазах у всех троих стояли слезы. Ташкентский родственник вчера ездил с группой на озеро Рохат, что в переводе означает «наслаждение», много купался, вообще был весел и оживлен. А ближе к полудню, когда Марк разыскал наконец на противоположном берегу озера мистера Грина, запльнувшего туда на водном велосипеде, и доставил перепуганного старичка вместе с велосипедом обратно на спасательном катере, подсел к «товарищу переводчику» на вакантный полотняный стульчик — заверить Марка, что «беспокоиться нет никаких оснований», что он, Моисей Коган, участник войны, член партии с 1944 года, что работает на секретном заводе, но письма от брата, разыскавшего его года два назад, своевременно предоставлял в Первый отдел и что о приезде Рувима и Сары за полгода «поставил в известность треугольник предприятия», который «принципиальных возражений не имел», только с первого допуска его перевели на второй. А вот и прощание — загорелый, сам смахивающий на узбека Моисей Хаймович, пожимая Марку руку, испытующе заглядывает ему в глаза, и тому, кроме «до свидания», хочется сказать, что вовсе не его надо опасаться ташкентскому инженеру, не его.

Мерзнувшие американцы растянулись по летному полю, несчастную Хэлен оставив далеко позади, — позавчера она повредила ногу и теперь, прихрамывая, опиралась на вишневую палку. Он кинул ей на ходу какую-

то ободряющую фразу, пустился бегом и, наконец, нагнал грустного Рувима и всхлипывающую Сару.

— Видите, — сказал он почти радостно, — как все хорошо. И повидались, и удостоверились, что все в порядке. Заодно и по стране покатались. Племянники понравились?

— Чудные, — сказал Коган, — старшему уже двадцать. Нам так не хватило времени, Марк! Шутка ли, столько лет в разлуке!

— Мы точно не могли задержаться в Ташкенте? — спросила Сара.

— К сожалению, к сожалению, нет. Лето, гостиницы переполнены. Билетов на самолет, чтобы присоединиться к нам попозже, не достать.

— Мойша приглашал остановиться у них.

— А это невозможно по другим причинам.

По-прежнему ежась от ночного холода, они подошли к самолету, к желтым масляным огням иллюминаторов и почти вертикальной лесенке трапа. Небо на горизонте серело и розовело, завтра снова жаркий день, раскаленные улицы, жажда, глинобитные стены и синие изразцы Самарканда.

— Не беда, — добавил он, чтобы смягчить свою резкость, — вы в любой момент сможете приехать снова.

— Две с половиной тысячи долларов, — сказал Коган.

— Две тысячи шестьсот семьдесят, — поправила его жена.

— А знаете, Моисей мог бы переехать в Штаты. Для евреев в наши времена это не так невозможно. Пришлите ему вызов — только лучше не от вас, а от фиктивного лица, из Израиля, — и через какой-нибудь год он уже почти наверняка...

Марк вовремя осекся. Какой уж там год, с первым-то допуском, даже с нынешним вторым! Пять лет в лучшем случае, а то и вовсе не выпустят. Впрочем, Сара тут же его успокоила.

— Он не хочет, — сказала она. — Говорит, в его годы поздно сниматься с насиженного места. А в гости к нам на месяц-другой могли бы его пустить?

— Может быть, — соврал Марк, — почему бы и нет? Пошлите ему приглашение, а там посмотрим, уладится как-нибудь...

Он остановился, по очереди пропуская своих американцев в самолет. Из вежливости пришлось пойти навстречу Хэлен и подать ей руку.

— Хорошо, что вы только повернули ногу, а не сломали ее, — балагурил Марк, — палку достать легко, а с красивыми костылями была бы проблема. И хорошо, что ногу, а не руку, — завтра на базаре нас ожидает настоящий узбекский плов, не чета московскому, и есть его полагается пальцами, так что...

— Говори что угодно, Марк, — пробурчала она, — мне все-таки многое не нравится в этом путешествии.

— Неужели обслуживание? — Марк поднял брови.

— Против обслуживания я ничего не имею, я не буржуйка, как некоторые. Я понимаю, у вас кипят великие стройки материально-технической базы коммунизма, автомобильные заводы, миролюбивая космическая промышленность, вы не можете впустую тратить средства на обслуживание избалованных иностранцев. Мне не нравится ваше поведение, Марк.

— И что же, простите, вам не по душе в моем поведении?

— Очень многое. И прежде всего твои шуточки с немецким языком. И твое дружелюбие с этими еврейскими сионистами и типичной мелкой буржуазией Коганами. Ты забыл, что они, как и этот циник Гордон и его легкомысленная жена, они все пьют кровь из трудовых масс Америки?..

— Простите, не вы ли только что с ними вместе выпивали?

— Я — другое дело. И не слишком ли ты увлекся этой...

— Хэлен, дорогая, — поспешно перебил он, — я забочусь только о пользе для Конторы. Вы зря мне не верите. И вообще, — добавил он по-русски, — шла бы ты в задницу, старая дура!

Глава четвертая

Восточные города — Самарканд, Бухара, Хива — неизменно казались ему беззвучными. О, конечно же, хватало в них и рева грузовиков, и гостиничных скрипов, и уличного говора, и ишаки кричали по утрам, но

этой какофонии он не слышал, она принадлежала сегодняшнему дню, то есть тонкому срезу времени, не имевшему для сердца сокровенного смысла. Он не слышал в этих городах музыки прошлого, а когда силился воссоздать ее — по грохоту молотка старика-жестянщика на базаре или по лазурному блеску купола мечети, — терпел самое унижительное поражение, разгром; в толще времен различались разве что пронзительное завывание дутара, лоснящиеся губы и жирные щеки сытого веселья да чья-то хитрая улыбочка между длинными усами и жидкой бородой. Невежество было тому виною? или предубеждение? Это бессилие мучало Марка — не любил он быть несправедливым к чужой жизни. А Самарканд между тем, если верить любому туристическому проспекту, давно уже стал современным индустриальным центром, производящим все на свете, от иголок до холодильников, но даже это ничуть не приближало его к глазам. Промышленность и прочие приметы настоящего существовали сами по себе, сам же город казался бесконечно отдаленным и совершенно немым, сколько ни всматривайся в глиняные башни и серо-желтые горы на дрожащем от зноя горизонте...

Походный будильник застрекотал в половине десятого. Долго стоял Марк под струями прохладной, припахивающей болотом воды, смывая усталость и пот утомительной ночи, сильно похожий на смертный. Сосед по номеру тоже проснулся, уставившись на Марка опухшими похмельными глазами. Назывался он Сашей, работал с поляками и сообщил, что в гостинице стоит еще одна американская группа — надо понимать, зайцевская. Порезав при поспешном бритье подбородок, Марк натянул джинсы и футболку, помчался по лестнице в ресторан — лифты в самаркандской гостинице работали отвратно.

Хлопотами местной переводчицы завтрак уже украшал столы — розовые ломтики вареной колбасы, кремовые пирожные, аккуратно нарезанная селедка. Тихо выругавшись, Марк побежал к метрдотелю. «А с обедом что? — скандалил он. — Разве это яблоки? Шеф, это зеленые грецкие орехи, ты перепутал. Где дыни, где арбузы, где персики — мы что, на Северном полюсе?»

— Не завозят на базу, — безучастно ответил «шеф».

— На рынок всегда завозят, — пустил Марк свою обычную шпильку. — Уберите десерт из меню к чертовой матери! Салат фирменный тоже, помидоры поставьте. Лимонад к херу, замените минеральной водой. Разница, — он достал розенкранцевский калькулятор, — сорок два рубля тридцать копеек. Десять возьмите себе, остаток давайте мне. Сами на рынке фруктов купим, раз вы такие бедные.

Метрдотель, не собираясь спорить, протянул Марку три помятые десятка. А сонные путешественники приходили в себя с трудом, капризничали. Пришлось заказать им по добавочной порции кофе и развлечь баснословными обещаниями, вроде того, что это «самый интересный город на нашем маршруте». Самаркандские сюрпризы, надо сказать, начались уже на дворе гостиницы, где красовался каменный дракон с задранной головой, метра в три длину. «И драконы будут, — тараторил Марк, — и музей, и могила Тамерлана, и раскопки... А в подвале, между прочим, отличный валютный бар...»

В гостиничном холле, неподалеку от витрины местной «Березки», предлагавшей халаты, пиалы и сиротливый, покрытый пылью транзисторный приемник, почтывал в кресле «Правду» русский парень лет двадцати шести. Обильные багровые прыщи несколько испортили его вытянутую, но в остальном довольно правильную физиономию.

— Привет, Опенкин, — не удержался Марк.

— Иди, куда шел!

— Нехорошо забывать старых друзей. Месяц назад ты со мной не поздоровался, теперь снова. Нехорошо.

Злобно сложив газету, парень позеленел, потом побагровел, потом почему-то покосился на вытертые джинсы Марка и пересел подальше. Клэр, видевшая эту сцену, принялась расспрашивать Марка, и тот по выходе на улицу в лицах рассказал ей историю, приключившуюся с ним в этой гостинице прошлым летом. Опенкин, в то время еще практикант понятно чего, изловил Марка, листавшего журнал «Звезда Востока», и

отвел его под белые руки в подобие гостиничного номера, но с решетками на окнах и портретом Дзержинского на стене.

— Вам известно, что у нас режимная гостиница? — спросил он грозно.

— Это в каком смысле?

— Здесь останавливаются иностранцы.

— Ну и что?

— А то! Вы здесь проживаете? Документы!

Марк протянул ему паспорт.

— Так вы еще и из Москвы! Командировочное удостоверение есть? Нету? А чем ты занимался в холле?

— Журнал читал.

— Сказок мне только не рассказывай! — вскипел прыщавый.

Затягивать забавную игру времени не было. К тому же Марк слишком отчетливо представлял себе невыразимое наслаждение следующих минут.

— Хвалю за бдительность, практикант, — сказал он. — Но непрофессионально работаешь. Мне ведь недолго и Хафизулле Алиевичу позвонить. — Он кинул на стол удостоверение Конторы.

При сегодняшней встрече парень первым делом позеленел, потом покраснел, а год назад его лицо меняло цвет в обратном порядке — румянец победителя уступил место бледности утопленника.

— Что же он до сих пор так злится?

— Нету чувства юмора у этой публики, — безмятежно отвечал Марк, — к тому же я эту историю раззвонил в Москве. Наверняка его тут потом поддразнивали.

После пыльных и замусоренных стройплощадок Ташкента, после трамваев, круглые сутки лязгавших вокруг тамошней гостиницы, после европеизированной тамошней публики — русских в узбекской столице было, говорят, чуть не за девяносто процентов — путешественники жаждали настоящего Востока и довольно-таки разочарованно косились на сноваше по улицам троллейбусы. «Не обольщайтесь, — предупреждал Марк еще в Москве, — советская Средняя Азия не Персия, не Марокко — живописных нищих там не водится, и ремесленники почти перевелись, и муэдзина по утрам не услышите...» Но разве мало халатов, цветастых платьев, тубетеек, смуглых лиц, дивной глиняной архитектуры старого города?

— Мистер Грин! — Марк вовремя успел схватить старичка за руку.

— Но они такие фотогеничные!

— Ни солдат, ни милиционеров, ни частных лиц без их позволения — сколько раз повторять, мистер Грин!

А кадр получился бы отменный — Марк и сам не без любопытства глазел на здешних солдат в побелевших застиранных гимнастерках, тяжелых сапогах и зеленых панамках.

— Ослика можете заснять, — сказал он, — переводчицу нашу Гульмиру, монументы всякие снимайте. Потерпите, мистер Грин. Через пять минут будем на площади Регистан, там вашим камерам будет работа...

Странный, странный город. Солдаты эти. Девочки в мелких косичках, наголо бритые черномазые мальчишки, бородачи в чалмах и халатах — и тут же невыразимый псевдогреческий оперный театр и коробочки хрущевских пятиэтажек. А на главной площади — розы, косые линии замысловатых орнаментов, и на портале медресе Шир-Дор по-прежнему усмеваются два не то льва, не то тигра, бегущие навстречу друг другу, и из-за спин у них выходит по солнцу с человеческими чертами. Не слушая пояснений толстенькой Гульмиры, Марк чертил носком ботинка свои инициалы на пыльной земле. Под утро ему снились душные, дурные сны о Москве.

— Где я могла видеть эту площадь раньше, милый?

— В Третьяковке. Картина «Торжествуют». Верещагин. И вся площадь уставлена кольями с отрубленными головами русских солдат. Только медресе жутко обшарпанное. Его ведь отреставрировали совсем недавно.

— А война-то здесь почему была?

Марк кивнул в сторону Гульмиры. Несколько запинаясь и морща лоб

в поисках английских слов, она поясняла, что «присоединение Узбекистана к России в последней трети 19-го века явилось исторически прогрессивным событием, так как отсталый народ, находившийся на полуфеодальной стадии развития, смог приобщиться к передовым для того времени капиталистическим отношениям. Но при этом трудящиеся массы простых узбеков попали под двойной гнет национального полуфеодализма и русского империализма, что существенно ухудшило их положение, зато привело к росту классового самосознания, ядром которого явились русские рабочие и их передовые для того времени идеи...»

— Простите, Гульмира, — перебил Гордон, — я человек простой, объясните мне, ради Бога, хорошо все-таки или плохо стало узбекам от того, что их завоевали русские?

— Нас не завоевали, а присоединили путем войны за рынки сбыта, — снисходительно улыбнулась Гульмира. — Конечно, это было передовым для своего времени явлением. Но не сразу, а только после Великой Октябрьской революции, превратившей некогда отсталые национальные окраины в развитые во всех отношениях индустриально-аграрные советские республики.

Она посыпала цифрами, особенно почему-то напирая на то, как невероятно выросло за годы советской власти число узбеков-зоотехников.

Отбарабанив свой нехитрый текст, повела Гульмира туристов сквозь резные деревянные ворота во двор медресе — квадратный, мощный, со всех сторон огороженный спартанскими кельями в два этажа.

— Восемь лет назад мы тут ночевали.

— Прямо в музее?

— Ну да. Сунули бутылку сторожу, накидали на пол соломы, ящиков картонных. — Марк присматривался к одинокому карагачу в центре двора, прикидывая, заметно ли выросло дерево за эти годы. — Знаешь, что меня больше всего поразило в этом ночлеге? Тени. Ночью я вышел во двор, сплошь расчерченный на шестиугольники, — это луна светила во-он сквозь ту каменную решетку. Ты заметила, какие огромные тут звезды, как быстро темнеет?

— Ага. Я бы тоже тут заночевала.

— Холодно. Да и времена не те. Тогда здесь было раз в сто меньше туристов, чем сейчас. Мы еще находили в пыли на площади разноцветные бусинки позапрошлого века. А вот здесь, где теперь асфальт, был обнаженный склон, знаешь, срез культурного пласта, и из него торчали кости и глиняные черепки с глазурью. У Андрея до сих пор чуть не целый мешок.

В двух шагах от запыленного автобуса Марк крикнул Гульмире, чтобы отправлялись без него — «дела!» — и они с Клэр пошли к торговому куполу, еще одной местной достопримечательности, где, правда, вместо шелков и верблюдов давно уже продавались открытки, галантерея и алюминиевые значки. «Не скомпрометирую я тебя, не дрейфь, — приговаривал Марк, — куда уж дальше. Зато я тебя от Гульмиры спас, у нее сейчас по плану лекция об освобождении узбекской женщины, кошмарная тягомотина...» «Ваша Контора нарочно набирает таких толстух? — мстительно спросила Клэр. — И ай-кью у вас у всех ниже семидесяти... ой, Марк, не колоти меня, пожалуйста...»

Пыльные городские тополя тоскливо шелестели в жарком безветрии, в кооперативных лавочках покачивались над головами сонных продавцов окровавленные туши на ржавых крюках, жужжали мухи, журчала в придорожных арыках серо-коричневая вода... Сторож при развалинах мечети Биби-Ханым долго не мог взять в толк, зачем этот русский парень с русской девушкой тычет ему какое-то удостоверение с выглядывающим уголком рублевой бумажки, наконец перестал приговаривать «Йок, йок, нелзя», а достал из-за пояса ключ и повел их к запертой двери, ведущей в одну из башен полуразрушенного портала. В душной полутьме, пахнущей глиняной пылью, старостью и мышиным пометом, подыматься мимо редких окошек выщербленная винтовая лестница. Было тихо. Сторож дожидался внизу.

— Почему здесь заперто?

— Раньше было открыто. Говорят, в любой момент этот замечательный памятник может рухнуть. Устала? Ничего, недолго осталось.

За следующим поворотом этой бесконечной лестницы и впрямь обозначился дневной свет, и они очутились на открытой площадке, усеянной обломками необожженного кирпича. Голова кружилась: в тридцати метрах внизу и все-таки — у самых ног лежало всегдашнее великолепие восточного базара, пестрящего горами дынь, арбузов, помидоров, персиков, зелени. Прозрачный дым поднимался от уличных мангалов, даже до вершины башни долетал плотный запах свежеевыпеченных лепешек. Кто-то невидимый у стены базара бил в бубен, бил то мерно, то тревожно частая. Эти раскатистые звуки вдруг усилились, ударили по барабанным перепонкам — базарный безумец, размахивая бубном, огромным, как колесо, поднялся со своего тряпья под стеною и побежал меж рядами, подпрыгивая, крича, расталкивая продавцов и покупателей худыми грязными локтями. Звуки крепи, становились все отчаяннее и вдруг смолкли — бубен покатился по земле в сторону, к чайхане, а сумасшедший сел прямо в пыль и замер, обхватив плешивую голову руками. Справа тянулись глинобитные кварталы старого города, по левую руку голубели мавзолей Шах-и-Зинда, ближе к горизонту сиял поросший травой купол гробницы Тамерлана... «Не стоит завидовать солнцу востока, незрячим проулкам и шелковой тьме. Огромное небо и здесь одиноко, и сердце похоже на розу в тюрьме. Кирпичные соты. Глухие аркады лазури, гнилого пергамента. Тут из крепкой земли мусульманского сада недаром кровавые колья растут. И если в провалы подземной темницы заглянешь — слезами зайдется душа, увидев, что стыдно ей жизнью томиться, которая, право же, так хороша...»

— Сейчас к тем куполам отправимся, в гончарную мастерскую, помнишь, я обещал? Там драконы, как в гостиничном дворе. Осторожней, девочка, ты на самом краю стоишь. Отойди, не дразни меня.

— Вон наши из автобуса выходят.

Хэлен бойко хромала к мечети, на ходу что-то выспрашивая у Гульмиры, остальные тянулись следом. Кажется, Берт заметил парочку на вершине башни, но виду не подал.

— Я почему-то страшно не люблю мусульман, — пожаловалась Клэр. — Еще с Германии, насмотрелась там на турецких рабочих. Они, представляешь, жен своих запирают на замок на целый день, а сами охотятся за молоденькими немками.

— Глупая ты. Кто мне байки рассказывал про свой пригород, про домохозяек, воющих от скуки? Да и какие тут мусульмане! Ты хоть одну женщину в чадре видела, феминистка? То-то же. Здесь советской власти куда больше, чем ислама.

Он махнул рукой вниз — всю улицу перегораживал кумачовый лозунг, по-русски и по-узбекски призывающий хлопкоробов к новым трудовым победам в честь ноябрьского пленума ЦК КПСС.

— И красоты эти — дело рук реставраторов, учившихся в России. И русских в Самарканде, я думаю, куда больше, чем правоверных мусульман.

— Ты такой империалист?

— Я бы с удовольствием оставил их всех в покое. Только поздно уже, да меня и не спрашивают.

— Нет, — упрямылась Клэр, — у вас еще будут неприятности с этими бородатыми стариками, помни мое слово.

— Не у нас, у них, — сказал Марк. — Пойдем, родная.

В гончарной мастерской Марку обрадовались. Знакомый мастер, сорокалетний украинец в запорожских усах, обстоятельно изложил Клэр, как лет десять назад археологи раскопали в окрестностях города детскую игрушку, веселого дракона, как мастеру Джуракулову пришло в голову сделать копию не копию, а вариацию, что ли, на тему; как мастерская, до тех пор промышлявшая тарелками да кувшинами, ухватилась за идею. На полках красовались расставленные по годам образчики размером с ладонь — драконы с хвостами задранными и волочащимися по земле, драконы грустные и драконы хитрые, с одним рогом, с двумя рогами, со страшными зубами и с выпученными глазами. На столике теснилась необожженная серийная продукция, дожидаясь отправки в печь. Клэр терзала мастера профессиональными вопросами, тот с видимым удовольствием отвечал. Сквозь глазок печи виднелись в огне фигурки, пылавшие ровным

оранжевым огнем. Мастерская состояла всего из двух небольших комнат, посетители еще не успели надоесть гончарам. На дворе, в тени чинары, узбекский паренек, не обращая внимания на Клэр и Марка, без усталости раскрывал шпатель рты болотно-зеленым необожженным игрушкам, вставлял загодя припасенные языки и оттискивал на лапах вмятинки, изображавшие когти.

— Еще тарелки изготавливаем, — сказал мастер, — традиционные, как в пятнадцатом веке.

— А сами-то вы как тут очутились?

— Война, девушка, эвакуация, а там и осел! Тарелки не желаете посмотреть?

Покуда восторгалась Клэр развешанными по стенам блюдами и тарелками, которые сияли то голубой, то черной, то зеленой глазурью в сетке мелких трещин, Марк отозвал мастера в сторону. После кратких переговоров несколько зверьков с какой-то особой полки перекочевали к нему в сумку. Один, работы чуть ли не самого покойного Джуракулова, был на редкость хорош — широко ли раскрытой смеющейся пастью или узором из кружков и квадратиков, оттиснутым по всему телу, а может, и тем, что левая его передняя лапа выдавалась вперед, придавая игрушке весьма воинственный вид. А Клэр между тем отщелкала целую пленку, снимки пообещала незамедлительно выслать. Они спустились по скрипящей лесенке на улицу, миновали вход в Шах-и-Зинда и пристроились на одинокой скамейке в жиденькой тени иссушенных солнцем тополей.

— Ты доведешь их до Америки? — спросил Марк. — Будь поосторожней, постарайся завернуть их получше. У меня есть опыт, я знаю, как легко у них отбиваются лапы и хвосты.

Развернув покупку, он расставил зверьков боевым строем на земле у ног Клэр.

— Ой, спасибо, милый! А почему два одинаковых?

— Один тебе, другой мне. Береги его больше других — я человек суеверный, а глина — хрупкий материал.

— Знаю.

Он снова раскрыл сумку в поисках сигарет, и на дне ее увидал обломок вулканического стекла, все с той же трещинкой-радугой, играющей в глубине.

— Клэр.

— Да, родной.

— Ты не забудешь меня?

Молчание.

— Господи правый, Марк, я ничего не понимаю, — наконец произнесла она. — Послушай, осталось всего пять дней. Билл и мои старики придут встречать меня в аэропорт и Максима, может быть, привезут. И ты через пять дней будешь дома... и женишься.

Молчание.

По мере удаления воображаемой кинокамеры по вертикали вверх голоса этой, и без того негромко разговаривающей пары, становятся все глуше и глуше. Поначалу еще можно различить выражение на лицах и даже догадаться о слезах, обозначенных потеками черной туши вокруг глаз женщины, но вскоре в серебристой тополиной листве скрывается почти вся картина, точнее, сводится к очертаниям зеленой скамейки, на которой сидят двое, чуть сгорбившись, взявшись за руки и не замечая косящихся на них редких прохожих — то солидных господ, потеющих в своем шевиоте, то молодых черноглазых домохозяек с полными авоськами южной снеди, то ковыляющего старика-нищего, бурчащего свою непонятную песню в грязную всклокоченную бороду. Глиняные же фигурки, по-прежнему образующие боевой строй, и вовсе сливаются с землей, из которой они, собственно, и вышли. Зато в поле зрения попадает поросший полусухой травой склон, по которому медленно перемещается небольшое стадо овец по главе с загорелым пастушонком, а дальше — и потрескавшийся, выцветший, покрытые арабской вязью купола и плоские крыши Шах-и-Зинда, знаменитого некрополя, и десяток американских туристов, одолевающих долгую крутую лестницу. Лица иностранцев серьезны и сосредоточены — пилигримы озабочены подсчетом ступенек, ведущих к древним могилам. Если верить легенде, поведенной толстощекой и румя-

ной Гульмирой, все грехи отпускаются тому, кто насчитает одинаковое количество шагов при подъеме и при спуске. Пустые труды, как все земное! Хитростью архитектора сходящий вниз всегда набирает на одну ступеньку меньше, но об этом искушенная переводчица сообщает лишь напоследок, к немалому облегчению сконфуженной клиентуры. А камера все подымается, и когда кругозор расширяется в очередной раз, ряды парадных гробниц вдруг резко обрываются невысокой полуразвалившейся оградой, сразу за которой начинается обширное и достаточно запущенное городское мусульманское кладбище. Местность пересечена, изрыта провалами, ямами и норами сусликов, могилы разбросаны как попало, многие из них безымянны, от иных памятников осталась только горсть серо-желтой глины. Одиноким баран меланхолично выщипывает чахлую траву, с любопытством озирая выцветшие фотографии на памятниках. А недалеко от неразумного животного стоит седенький мистер Грин, которого уже обыскала бедная Гульмира. Сжимая в руке отнюдь не воображаемую, а самую настоящую кинокамеру, жизнерадостный старичок с упоением обводит ею весь изнемогающий от удущья горизонт, а чтобы улучшить свой фильм, бормочет не то по-английски, не то по-польски какие-то извинения и, побряхывая, залезает на выщербленную надгробную плиту... но объектив его камеры намертво закрыт черной пластмассовой заглушкой.

Глава пятая

За окном еще переливались болотные огоньки городских фонарей, но тьма азиатской ночи понемногу рассеивалась. В глубине гостиничного номера Клэр лежала пластом на разоренной постели. В пепельнице тлел огонек забытой сигареты. Марк отыскал на столе пластиковый мешок с десятком персиков и начатую бутылку.

— Вина не хочешь? — резко прозвучал его голос в предутренней тишине. — Не самое плохое.

— Голова болит.

— Заснула бы.

— Нет.

— Как знаешь.

Какая пронзительная тишина! Режущая полоска света из прихожей, скрип паркета, бульканье струи о доньшко тонкого стакана. Он осилил всего несколько глотков.

— Весь день проговорили, прогуляли, а теперь и сказать друг другу нечего. Драконов не разбила?

— Нет.

— Сегодня отправимся в обсерваторию Улугбека, был такой эмир. Покажу тебе одну дикую яблоню — ей, наверно, лет сто. Будем камнями яблоки сшибать.

— Замечательно.

— А вечером в оперу пойдем.

— Терпеть не могу оперы.

— Эта — особенная. Из счастливой жизни национальных меньшинств при советской власти. Обещаю, будет поразительно смешно. У тебя нет ножа? Я свой где-то обронил сегодня. Хороший был нож, швейцарский.

— На столе гостиничный лежит. Зачем тебе? Самоубийство по-японски?

— Нет, что ты! Но живописно ты, между прочим, лежишь под этой простыней. Вылитая Настасья Филипповна из последней сцены «Идиота». Где он, не могу найти. Спасибо. Эти персики такие мохнатые.

— С гладкой кожей тоже бывают.

— Знаю. Но они совсем не такие вкусные. Держи, только осторожней, из него сок течет. Здесь, говорят, персики и дыни — лучшие в мире... Ну что с тобой? О чем ты думаешь, я не могу больше, ты совсем сумасшедшая этой ночью...

— Как я хотела бы жить с тобой! Чтобы через четыре дня мы вместе вернулись домой, вместе разбирали чемоданы, сплетничали о наших попутчиках и расставляли по полкам твоих драконов... И целых полгода вспоминали бы об этом путешествии... и ссорились по пустякам, и мирно-

лись, и чтобы ты хвалил мои горшки, и болтал бы со мною вечерами, и спорил, и язвил, и хочу, черт подери, гладить тебе рубашки и вязать свитера...

— Из деревенской шерсти.

— Заткнись, а то разревусь. Почему у других нормальная жизнь, а у меня вечно какие-то идиотские истории, почему?

— Надо было вовремя остановиться.

— Кончай ты издеваться, а? Сам бы и остановился. — Она снова закурила. — И накинь что-нибудь на себя, простынешь. Страшно мне, Марк, милый мой, как страшно, если б ты знал. Что я буду делать без тебя? Я не смогу, честное слово, я после Европы год как мертвая ходила, а теперь ведь у меня и Билл, и ребенок, это же никаких человеческих сил не хватит...

— Зачем ты замуж выходила, голова твоя садовая?

— Куда мне было деваться! — Она насупилась. — Не вешаться же. Уильям, — в первый раз назвала она мужа так при Марке, — он меня семь лет ждал, как в Ветхом Завете. Еще пророчил, что Феликс меня бросит, а я на него злилась. Мы школьные приятели были в Кливленде, и в Нью-Йорке виделись изредка. Все и вышло, как он предсказывал.

— Жалеешь?

— Не знаю теперь.

— А о нас — жалеешь?

— Нет. Просто боюсь.

— Не бойся, — Марк усмехнулся, — все в жизни кончается. Может, я и вовсе погибну теперь... Нет, не волнуйся, я для красного словца. Постараюсь выжить, переболеть. Трудно бросить все это. — Он выгнул в окно, где полоской раскаленного металла пылало над городом одинокое рассветное облако. Из улочки донесся протяжный крик петуха, и сразу вслед — урчание первой поливальной машины, и плеск воды о холодный асфальт. — Только удержаться будет трудно. Но знаешь, если б не наша встреча, я бы и так начал гибнуть понемногу, по-другому, но все-таки.

Он плеснул в стакан еще вина, но пить не стал. Не хотелось разрушать ту лихорадочную ясность мыслей, что приходит порою после бессонной хмельной ночи.

— Странная у тебя философия.

— Наверное, тебе проще. Ты баба. У тебя Максим есть.

— Только не вздумай снова меня уверять, что детей не любишь.

— Отчего же? Я и кошек люблю, и собак. А дети... что дети? Появляются, заполняют пустоту, не оставляют времени на ночные страхи, а потом вырастают и уходят. Есть такая песенка советская. «Будут внуки потом, все опять повторится сначала...» К чертовой матери!

— Напридумывал себе Бог знает чего. Откуда ты все это взял? Жизнь, смерть... У тебя родинка на спине — совершенно как чернильная клякса после стирки.

— У Андрея такая же. От отца досталась.

— Ты правда недолюбилаешь своего отца? Петя твой ереванский чуть не молится на него.

— Пусть Петя его и любит, — сказал Марк с беспричинным озлоблением. — «БОГ ИЕСТ ЛЬУБОВ!» — передразнил он неизвестно кого. — Знаешь, как у меня вся жизнь из-за него переломалась? Вольно ему было променять своего родного сына на любовь к людям вообще. Возлюбите врагов ваших!.. Был у нас в классе такой Быстров, сынок одного мидовского чина. Спрашивают его на уроке обществоведения, в чем эксплуататорская сущность религии. Спросите, отвечает, Соломина, ему папаша наверняка объяснил... Класс в хохот, учительница Быстрову двойку — и вразумлять. Дети, мол, за родителей не отвечают, отец может быть верующий, а сын — порядочный человек... Пусть катится куда подальше со своими красивыми сказками. Не бывает чудес.

— Мы с тобой встретились — разве не чудо?

— Не из тех это чудес. Ладно, прости меня, дурака. Смотри — солнце?

Закутавшись в сероватую простыню с черным несмываемым клеймом гостиницы, Клэр подошла к балконной двери, и Марк обнял ее за плечи. Недавнее кровавое облачко не то растаяло, не то уплыло под ветром,

бушующим в небесной высоте, а здесь, ближе к земле, слепящее солнце и неподвижный воздух сулили еще один сухой и жаркий день.

Снова проснувшись в половине восьмого, он, крадучись, выбрался из номера в длинный пустой коридор. Увы, дежурная по этажу не только не спала, но даже успела выбраться из своего закутка, с кем-то беседуя у столика. На проходящего Марка бросила она взгляд несколько настоороженный, собеседница же ее — удивленный. Оказалась она, к большому неудовольствию Марка, Верой Зайцевой.

— Раненько встаешь, Верочка, — сказал он как мог радушно.

— Через полчаса в Пянджикент едем, — отозвалась она. — А что ты так рано? Ты же не на этом, кажется, этаже?

— Турист у меня, — охотно пояснил Марк, — астматик. Час назад вызвал меня по телефону. А приступ прошел сам собой, безо всякого врача. Вы, наверное, спали, — льстиво обратился он к дежурной.

Тут он, конечно, промахнулся, невольно намекнув на возможность нарушения ею, дежурной, правил трудового распорядка, спать на работе, понятно, запрещавших.

— Ничего я такого не знаю, — открестилась она, — с шести утра здесь сию. Товарища Опенкина спросите. А до шести вязала дорожку у себя в комнате, да и то дверь была настежь.

— Ну, видно, не заметили как-то, — заключил Марк напористо, — я тихо проходил, легкой, так сказать, тенью. — Какие, интересно, могли быть у прыщавого Опенкина дела к этой бабенции да вдобавок с утра пораньше? — Ты отсюда в какие палестины, Верочка?

— Вечером в Бухару, потом в Ленинград через Ташкент. Наши туристы одним рейсом отбывают.

— Отлично! Что ж, в Ленинграде и свидимся. А я покуда к себе досыпать.

Сосед Саша дремал так сладко, что и Марка одолело нестерпимое искушение завалиться в постель. Но он боялся проспять завтрак и без четверти девять уже сидел в ресторане, разворачивая удачно купленную в киоске «Литературную газету». Почитать ее, впрочем, не удалось — один за другим потянулись его американцы, всем чего-то от него требовалось. Гордон с Дианой, смущаясь, пожаловались на тараканов («они, конечно, не такие крупные, как у нас в Америке, но зато их очень много»). У Хэлен треснула палка. Неунывающий Грин доверительно сообщил, что у него пошаливает желудок и пускай Марк съест его обед, завтрак и ужин сам или отдаст Гульмире, а ему возьмет только минеральной воды и молока. Последнего в ресторане, разумеется, не оказалось, пришлось Марку галопом обегать три близлежащих магазина. Сучка же Люси за столом затеяла лицемерно сокрушаться насчет усталого вида переводчика. «Наверняка не выспались? Что ж, дело молодое, понимаю...» А тут еще и Гульмира принялась откровенничать, невинно посверкивать шололадными глазами, объяснить Марку как родному, что со снабжением в Самарканде неважно, мясо на рынке шесть рублей кило, но уж, конечно, лучше работать в Конторе, чем за восемьдесят рублей вколачивать английский или русский в головы каким-нибудь кишлачным недорослям... Но едва скрылся за углом дребезжащий автобус с группой, как Марк внезапно развеселился, даже начал напевать одну пастушескую мелодию из репертуара Розенкранца.

По глиняным беззаконным проулкам старого города проблуждали они до двух часов дня. Добрались до развалин старой обсерватории, насшибали горьких яблоч с обещанного дерева. К обеду же их обоих вдруг сморило, а когда в номере раздался звонок профессора — солнце клонилось к западу, в ресторане ждал ранний ужин, а у подъезда гостиницы — неизбежный автобус. Предстоящим развлечением никто не манкировал, даже напротив, с легкой руки Гульмиры, убедившей простодушную клиентуру, что «наша самаркандская опера» сливает-таки в единое целое «достижения европейской музыки, русской музыки и национальной музыки», ждали чего-то из ряда вон и на пустой зрительный зал смотрели с большим недоумением. Действие единого целого происходило сразу после революции, надо понимать, семнадцатого года. Бедняк в шелковых отрепьях и

белой чалме неплохим тенором что-то распевал, порою отбивая такт бутафорской мотыгой. Как явствовало из программки, жестокий бай намеревался отнять у него красавицу невесту, толстоногую, зато обильно нагримированную узбечку средних лет. Свой пухлые руки она в отчаянии простирала к возлюбленному, покуда маячивший на заднем плане бай, вплескании басмач, строил влюбленным страшные козни. Не дожидаясь конца его арии, Марк выскользнул из зала.

Позевывая, буфетчица подала ему бутылку мутноватого пива. Начал он читать свою «Литературку», по обыкновению, с последней страницы, кисло поулыбался карикатурам, перескочил на девятую страницу с международными новостями, где куклуксклановцы в белых балахонах сжигали крест, а на соседней фотографии умирал от голода американский младенец, на десятой же странице обнаружил огромную, в треть страницы, статью:

«О КОШАЧЬЕМ ЦАРСТВЕ, ЛИТЕРАТУРЕ И ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ»

Пару месяцев тому назад небезызвестное издательство «Рассвет», специализирующееся на антисоветской пачкотне, надумало издержать очередную долларовую подачку своих заокеанских хозяев на обнародование в Западной Германии одного сочинения под названием «Лизунцы» и подзаголовком «Кошачье царство». С подозрительной быстротой эта книжонка появилась на прилавках магазинов и даже, говорят, пользуется некоторым спросом в кругах доверчивой западной публики, изучающей русский язык, и кое-кого из эмигрантов. Восторженные статейки в замшелых эмигрантских листках, разумеется, не касаются несуществующих литературных достоинств этого состряпанного на скорую руку пасквиля. Свою скандальную однодневную популярность он заслужил прелестями иного рода: порнографическими сценами, богатым арсеналом гнуснейших выдумок о советском образе жизни, беззащитной спекуляцией на давно изжитых проблемах далекого прошлого. Мудрено ли, что с таким нескрываемым восторгом ухватилась за этот опус буржуазная пропаганда! Да и пребывающий ныне на столь любезном его сердцу Западе литературный власовец Солженицын тоже дал ему весьма лестную оценку, тут же поддержанную истерическим хором профессоров от светологии.

Трусость — характерная черта предателей. Доморощенный беллетрист, намаравший свою повестушку и пышно окрестивший ее «романом», счел для себя удобным не выступать с открытым забралом, а прикрыться псевдонимом, назвав себя Михаилом Кабановым. Откуда же, спросите вы, свалился этот Кабанов, и что заставило его посвятить часы досуга такому, мягко говоря, странному хобби, как облачение в простенькую «литературную» форму своих клеветнических измышлений?

Органам безопасности нашего государства без особого труда удалось установить, что таинственным автором является некто Андрей Баевский, в настоящее время лицо без определенных занятий, то есть попросту тунеядец, а до апреля сего года дворник. Нас, признаться, не слишком интересует, как выполнял господин Баевский свои прямые обязанности в этом последнем качестве. Нам любопытно другое — что же в его жизни предшествовало вступлению на скользкую дорожку предательства.

Баевский родился в 1946 году в Харькове, где и закончил среднюю школу. Не блистая особыми способностями, ухитрился, однако, заполучить аттестат серебряного медалиста. Правда, мать его к тому времени перешла на должность инспектора горно, но, как говорится, не пойман — не вор. Благополучно избежав призыва в ряды Советской Армии, он направляет стопы в Москву и поступает, желая, видимо, надолго окунуться в столичную жизнь, на филологический факультет МГУ. Первые годы обучения даются ему легко. На втором курсе он даже ухитряется пролезть в председатели научного студенческого общества. Впрочем, с этой должностью ему пришлось расстаться довольно быстро. Студенты-комсомольцы сумели его раскусить, сумели понять, что под видом «научной работы», под предлогом изучения истории литературы Баевский пытается навязать начинающим советским ученым приемы махровой буржуазной методологии, пробудить в них интерес к реакционным философам, к заслуженно забытому декадентствовавшему отребью — назовем хотя бы имена «отца» Павла Флоренского или Василия Розанова. На третьем курсе, провалившись на экзамене по политической экономии, Баевский уходит в затянувшийся на

два года академический отпуск, большую часть которого подвизается в должности экскурсовода в бывшем Кирилло-Белозерском монастыре. Ничтоже сумняшеся, он уже числит себя в «поэтах», из кирилловского уединения без усталы рассылая по газетам и журналам свою дурно зарифмованную продукцию. Наведываясь в столицу, делит время между приставаниями к литконсультантам редакций и... спекуляцией не то пойманной, не то скупленной по дешевке рыбой. Ко времени его возвращения в МГУ относится появление в университетских аудиториях клеветнических «листовок» о братской помощи советского народа социалистической Чехословакии. Если это и совпадение, то совпадение знаменательное.

За два года вольной жизни Баевский утратил вкус к учению. У него участились прогулы, он уклонялся от общественной жизни, позволял себе, наконец, явно демагогические, провокационные выступления на семинарах по марксистско-ленинской философии и в среде товарищей-студентов. А в один прекрасный день на курсе стало известно, что комсомолец Баевский — к ВЛКСМ он примазался еще в четырнадцать лет — регулярно посещает службы в православной церкви и даже тайком крестился.

Свобода совести в СССР — неотъемлемое право граждан, гарантированное нашей Конституцией. Нельзя, однако, не согласиться с тем, что религиозные убеждения никак не совместимы с членством в первых рядах молодых строителей коммунизма. Естественно, что комитет комсомола МГУ, рассмотрев персональное дело Баевского, единогласно постановил исключить его из комсомола, одновременно возбудив перед ректоратом ходатайство об отчислении его из университета. Понятно и то, что руководство МГУ удовлетворило эту просьбу, — ведь даже с четвертой попытки не удалось студенту Баевскому сдать авторитетной комиссии экзамен по научному атеизму!

Казалось бы, после фиаско с МГУ нашему герою следовало бы вернуться в родной город, чтобы честным трудом на производстве заслужить себе право через несколько лет восстановиться в университете.

Однако ему не хотелось покидать Москву. Здесь у Баевского было больше возможностей для распространения своих виршей, для амурных приключений, для нечистоплотной окололитературной возни. После двух-трех случайных публикаций он возомнил себя профессиональным литератором, нимало не смущаясь тем, что большинство редакций находило его писания достойными в лучшем случае мусорной корзины. Оставляя в стороне прозаические экзерсисы Баевского, так полубоившиеся фашиствующим недобиткам из «Рассвета», заметим, что и в своих, с позволения сказать, стихах Баевский не упускал случая вставить в вопли по поводу «одиночества» и «богооставленности» изрядную дозу ущербных, упадочных да и попросту антисоветских измышлений. Но справедливости ради упомянем и то, что его напичканные формалистическими изысками произведения находили-таки свою незыскательную аудиторию — озлобленных графоманов, завсегдаев существующих еще кое-где «салонов», обывательски настроенных «поклонниц изящного». Эти девицы, впрочем, рвались не столько послушать гнусавые декламации Баевского и его приятелей, сколько побывать у него на квартире, постепенно превратившейся в настоящий притон. Достаточно сказать, что соседи многократно жаловались на Баевского администрации жэка, где он дворничал до тех пор, пока не заполучил вожделенную московскую прописку.

Будем откровенны: находятся еще у нас морально разложившиеся личности, обуреваемые жадной урвать хоть малую часть тех средств, которыми империалистические спецслужбы подкармливают подонков, в социалистических странах развивающих свою подрывную деятельность. До публикации «Лизунцов» наш дворник, на первый взгляд, честно зарабатывал свои 70 рублей в месяц, ничего не получая из сейфов буржуазных разведок. Однако же под видом коллекционирования он скупил ряд ценных икон, вывез из Средней Азии изрядное собрание археологических находок, обзавелся мебелью, стереопроектором с набором известного рода пластинок, раздобыл и пишущую машинку для размножения своих трудов. На какие доходы сделал он все эти приобретения — предстоит еще выяснить органам прокуратуры. Покуда известно лишь, что находились у него не только поклонники, но и меценаты. Например, некто Розенкранц, выехавший в феврале сего года к родственникам в Израиль, но взамен на-

правивший стопы в США, уже по дороге за океан буквально завалил своего протеже посылками с подержанным заграничным тряпьем — уж не в счет ли гонорара за так называемый роман, играющий на руку не только антисоветчикам всех мастей, но и сионистам?

Водил Баевский дружбу и с диссидентствующими отщепенцами. Навезжал в Ленинград, где такие же графоманы, как он сам, устраивали ему «выступления», неизменно кончавшиеся пьяным разгулом. Были среди его приятелей и обыкновенные хулиганы — достаточно назвать Глузмана и Лобанова, в начале этого года испоганивших стены Новодевичьего монастыря порнографическими рисунками. Сейчас, когда эта парочка уже получила по заслугам, позволительно спросить: а насколько непричастен к их преступлению был Баевский? Как именно и с какой целью хотел он погреть руки на их омерзительном поступке?

Литература — один из ключевых участков идеологического фронта. И когда в нее с черного хода пытаются пробраться темные личности вроде Баевского, мало развести руками в горестном недоумении. Мало дожидаться, пока буржуазная пропаганда, выжав таких деятелей, как грязную тряпку, и потеряв к ним всякий интерес, выкинет их на свалку истории. Необходимо активная, непримиримая борьба. Необходимо, чтобы свое веское слово тут сказал Советский Закон. И особенно важно это в наши дни, в нынешней международной обстановке, когда миролюбивая Страна Советов взяла твердый курс на политическую и военную разрядку. Иные склонны смешивать этот курс с идеологическими компромиссами, забывая о том, что в сфере идеологии, как подчеркивал еще великий Ленин, у нас нет и не может быть никаких уступок буржуазному Западу. В этой сфере шли, идут и будут идти жесточайшие сражения. Советуем помнить об этом тем господам, которые рассчитывают спекулировать на нашем стремлении к миру во всем мире».

Марк запихал скомканную газету обратно в сумку. Вместо созерцания выдохшегося пива на пожелтевшем пластмассовом столике надо было куда-то бежать, кого-то предупредить, что-то делать... но Москва была в четырех тысячах километров, Литва еще дальше, да и сделать он не мог, в сущности, ровным счетом ничего. А через два часа, после окончания идиотского представления, его ждала работа. Он зажмурился и тихо-тихо, почти незаметно, застонал.

— Решил всех перехитрить? — засмеялась у него за спиной Клэр. — Я тоже не смогла больше. Постой... погоди... что с тобой?

— Неприятности.

— Из-за меня?

— Это еще впереди. На, — он расправил газетный лист, — читай. Читай, читай, черт подери! Мне добавить нечего...

— Боже мой, — она отложила газету, — какая подлость! Но здесь же все вранье, Марк! На этого автора можно в суд подать, за клевету.

— У суда теперь других забот хватит. Андрея могут забрать с минуты на минуту, если уже не забрали, конечно. Или если не произойдет чуда. Господи, пытался же я, старался, ну почему, почему?

— Слушай, Марк...

— Да?

— Кто же мог написать это? Что за скот?

— Там есть подпись, Клэр.

— Нет. Подписано «Литератор».

— Вот именно. Это псевдоним моего будущего тестя, милая. Если, конечно, он теперь когда-нибудь станет моим тестем.

Глава шестая

Лил дождь, густел туман и над Ленинградом в день прилета. По иллюминаторам Ту-134 стекали тусклые продолговатые капли, и среднеазиатские пассажиры со своими пахучими дынями и циклопическими арбузами как-то затравленно жались среди обширного и скудного северо-западного пейзажа. «Мы, ленинградцы, любим дождь, — щебетала очередная Лена, — говорят, наш город в дождь красивее, есть даже такая популярная песня...» Милых ее речей почти не слушали — видно, не один Марк упал духом от дождя, холода, вида тощих сосновых рощ, которые, правда,

вскоре уступили место геометрическому узору бетонных предместий. Но мало-помалу они въехали в сам город — и поразились тяжелому великолепию столицы империи, и замотали головами, и защелкали затворами фотоаппаратов.

В последний раз проставив мелом номера комнат на сложенных в гостиничном холле чемоданах, Марк поднялся к себе. Тоска, одолевшая его всю дорогу от аэропорта, сменилась тупой рассеянностью, сердце колотилось глухо и ровно. А за окном неспешно струилась широкая Нева. Красовались набережные, будто вычерченные свинцовым карандашом. Цепочка туристов под яркими зонтиками тянулась от своего автобуса на знаменитый крейсер «Аврора», определенный на вечную стоянку вблизи гостиницы.

Даже горячая ванна не сумела вернуть ему ни доброго настроения, ни, главное, той деловитости, которая так необходима в последние дни работы с группой. Под конец тура даже самые симпатичные американцы порою откальвали неожиданные колена: все уставали друг от друга, начинали скучать по дому, так что гиду Конторы поневоле приходилось быть вдвойне предупредительным, втройне вежливым и изобретательным — тем более что и ограниченный запас вечерних развлечений — ну, валютный бар, ну, театр, ну, цирк, ну, наконец, попойка в чьем-то номере — за две с половиной недели успевал порядком истощиться. В Самарканде к нему уже подкатывался делегированный от группы мистер Файф на предмет чаевых, точнее, той формы, какая для Марка будет в этом смысле наиболее удобной. По привычке объяснил ему Марк, что денег он не берет, — доллары брать опасно, рубли — глупо, а пускай туристы скинут долларов по пять-шесть и купят для него в «Березке» советский магнитофон или японский транзистор. И за то, и за другое Марк без труда мог потом выручить рублей триста — свою зарплату за десять, примерно, недель. Правда, мог он и вовсе никакого магнитофона или транзистора не выпросить. Еще в самолете твердо решил Марк целиком свалить группу на ленинградскую переводчицу, никуда не ездить, ничего не делать. Могли рассердиться и обойти американскими милостями — ну и черт с ними. Онова живем.

— Заходите! — раздраженно крикнул он, услышав стук в дверь. — Заходите, хватит колотить!

Вошедшая Лена — оказавшаяся, впрочем, вовсе не Леной, а Ирой — застала его в халате, с сигаретой в зубах и початой бутылкой виски на столе. Она покраснела, Марк устыдился.

— Вы уж простите, — сказал он, — у нас долгий был перелет, с пересадкой. Встали в пять утра. Устал, как последний пес. И вдобавок, кажется, простудился.

— Правда? — участливо спросила Ира, присаживаясь на уголок жесткой гостиничной постели. Была она тоже из практиканток, милостивая, беленькая, длинноногая. — Так бывает при резкой смене погоды. Хотите, принесу вам меда? С молоком?

— Откуда?

— Мед поблизости в магазине, и почти никакой очереди. А молоко в ресторане. Хотите?

Она даже привстала, но Марк остановил ее.

— Мед, вино и молоко, — пробормотал он, — где только мед, вино и молоко... Не обращайтесь внимания, Ира. Это стихи. Их один очень хороший человек написал, его потом убили. Ну, справедливо ли? Благодарю вас сердечно, я сам надеюсь встать на ноги. Аспирин у меня есть, точнее, не у меня, а у одной туристки, чуть ли не в соседнем номере. — Он заглянул в список группы. — Будем с ней болеть вместе, она тоже простужена. Только, боюсь, на экскурсии ваши ездить не сможем. И на завтрак, Ирочка, уж будьте ласковы, отведайте их сами. Тут ведь шведский стол, если не ошибаюсь. Мы не опоздали?

Глубоко, ах, как глубоко сидят профессиональные инстинкты. Душа саднит, как никогда раньше, а язык знай лопочет свое, и губы сами собой складываются в довольно натуральную вежливую улыбку.

— Нашей группе оставили завтрак до полдвенадцатого, — сказала Ира, — я попросила. А сами-то вы как?

— Обойдусь. А обед на три часа закажу сам, только уж не обес-

судьбе, если нас там не будет. Выпить хотите? Тут совсем на доньшке. Вот и хорошо, — сказал он поощрительно. — Группа вам не доставит никаких хлопот. Они у меня совсем ручные. Есть там такая Люси, вечно всем недовольна, но вы на нее наплюйте — просто климактерическая дура.

— Профессор...

— Дался им этот профессор! Небось, и о Грине вас предупредили? Нет? Странно. А Берт — отличный мужик. Безобидный либерал, даже социалист в некотором роде. На правах человека чуть задвинут, но ведь все они, с Запада, такие.

Он еще раз отказался от «хотя бы молока», а когда за Ирой хлопнулась дверь, воровато налил себе сразу полстакана. «Вот так-то, — он скорчил рожу настольному зеркалу, — такие-то вот дела, и что это я, спрашивается...» Вскоре он уже спал мертвым сном, а за окошком снова напознал на город безысходный туман, снова заморосило, и на пустынной Неве закипели белые барашки волн. Сколько можно путешествовать, сколько можно на ревущей механической птице взвиваться в голубую и фиолетовую бесконечность, где не на что опереться ни душе, ни телу, сколько можно в напряженном ожидании спускаться по трапу на чужую землю, не оставляя надежды, непрестанно вымаливая у небес, только что покинутых тобою, хоть чуть-чуть облегчения, просветления, покоя? Ответь мне, город, величественный, будто труп императора на погребальном катафалке, откуда такая невыносимая тревога? Дыхание спящего углублялось, разглаживались морщины на лбу, он не услышал стука в дверь, не проснулся и когда Клэр вошла в комнату и села с ним рядом. Какие сны ему виделись — Бог весть. А печальная его подруга гладила его по взъерошенным волосам, и город все дальше уходил в дождь и туман... «Смотри — из голубого далека на землю падает прощальный свет Господен, и сонная красавица-тоска безмолвствует. Отныне ты свободен. Лети один в безудержную высь, лежи в саду, где пыльные оливы, молись и плачь, но только торопись. Жизнь коротка, и судьбы молчаливы. Сто лет пройдет. Смоковница умрет. Граница ночи в проволоке колючей ощерится — и разойдутся тучи, в песок уходит кровь, уходит пот. Вот так и мы уходим, не скорбя, и птица спит за пазухой живая — пусть мьтари пируют без тебя, из уст в уста свой грех передавая...»

— Сколько же я проспал? — встrepенулcя Марк. — И как ты сюда попала?

— Часа полтора ты спал. И дверь забыл запереть, растяпа. А номер комнаты мне эта добрая Ира сказала. Мы снова будем бродить по городу? Так красиво здесь. Или не надо. Будем просто тихо сидеть и разговаривать, долго-долго. Тебе что снилось?

— Ничего. Ничего страшного. Как хорошо, что ты пришла. Ты дождь любишь?

— С тобой я все люблю.

— Хитришь.

— Немножко.

— Не беда. Можёт быть, дождь пройдет, а нет — будем разгуливать под твоим зонтиком. У меня еще виски есть, хочешь? Коганы подарили. — Он говорил все быстрее и лихорадочнее, иногда чуть заикаясь. — Видом из окошка тогда полюбуйся, мне одеться надо. Да нет, какая там стыдливость! Просто у кого-то из французов сказано, что ничего на свете нет прекраснее раздевающейся — или одевающейся? запомятовал — женщины и отвратительнее мужчины. Тебе нравится гостиница? Конечно, такая же бетонно-стеклянная коробка, как остальные. А все-таки на острове, и город так дивно виден. А из номеров на другой стороне коридора можно увидеть настоящую мечеть. Татарскую. Бар в Ташкенте помнишь?

Торговали в ташкентском баре при гостинице на рубли, но русских, в смысле советских, в этот храм западного разврата, открытый до двух часов ночи, не пускали. Точнее, пускали, и даже многих, но исключительно по знакомству. Музыка играла примерно такая же, как на сочинском пароходике, из напитков подавался виноградный сок, теплая водка и теплый же коктейль «Праздничный» — вязкая, липкая, поразительной убойной силы смесь коньяка, шампанского и кофейного ликера. Тюбетейка, вышитая золотом по малиновому бархату, то и дело сползала с головы пожилого узбека, покуда ее обладатель доказывал Клэр, что советский народ не

хочет ни атомной войны, ни обычной, и пускай она, Клэр, по возвращении в свою Америку всем расскажет, что мы не хотим войны, ни обычной, ни ядерной, что мы в прошлую войну потеряли двадцать миллионов человек, а если вы, американцы, знаете, что мы не хотим войны, и сами уверяете, что ее не хотите, зачем же вы понастроили по всему свету военных баз, зачем вы бомбите беззащитный Северный Вьетнам? По завершении своей жаркой речи он стал приставать к Клэр, за что едва не схлопотал по морде от Марка.

— Хватит с меня этих баров.

— Да? А я как раз собирался отвести тебя на двенадцатый этаж, у меня завалилась десятка в нормальных деньгах. Знаешь, для тебя это — пародия, а для меня — как бы шикарная жизнь. Ладно, не дуйся, я пошутил. Как там Хэлен — все хромает?

— Боюсь я ее, Марк. Она нам не может подстроить какую-нибудь пакость?

— Снявши голову, по волосам не плачут. Да и что она может? Я, кстати, рад, что ты с ней познакомилась. Показательный она тип. Ты не задумывалась над тем, какая главная черта всех коммунистов, фашистов и прочей радикальной швали? Им заранее известна истина. В высшей инстанции. И людей они разделяют на тех, коим эта истина тоже явлена, и тех, кого следует, по непониманию ее, истребить. Во всяком случае, заткнуть рот.

— Наверное. Ты меня правда любишь, Марк?

— Больше жизни.

— Все так говорят. А потом все возвращается на круги своя. Не станешь же ты из-за меня отменять свою хваленую свадьбу.

— Кто знает. Видишь, как много всего нагромоздилось. Что бы ты сделала на моем месте, а?

— Ну зачем ты спрашиваешь, милый. Я обнять тебя могу, поцеловать могу — крепко, вот так, — а велеть ничего не могу, и подсказать не могу, и прав-то никаких у меня на тебя нету...

— Пошли отсюда, Клэр.

— Куда?

Дождь превратился в ливень. Ветер с Невы сплошными струями колотился в оконные стекла. Идти было в самом деле некуда. Но не оставаться же в номере, не блуждать же несытым взглядом по голым салатным стенам, переводить покрасневшие от недосыпания глаза с кровати на тумбочку, с настольной лампы на глухую дверь, с халата, брошенного на пол, на пустую бутылку.

— Хотя бы в буфет. Я тоже не герой романа — жутко проголодался. К тому же здесь сказочный кофе, — оживился он, — эспрессо. Не соблазняет?

«Они вошли в пустое кафе и сели в углу, лицом к большому окну. Парень заказал две чашки двойного кофе и два стакана шампанского, только пить они не стали. А еды поначалу не взяли, но потом парень вернулся к прилавку и набрал бутербродов полную тарелку. И опять почти ничего они не тронули, а хорошие были бутерброды. Говорили по-русски, только очень тихо. Нет-нет, ничего особенного я не заметила. Просто разговаривали, за руки держались, к середине девушка ужасно разволновалась, но они совсем недолго просидели, минут двадцать. За ними еще одна девушка зашла, беременная. Ну, может, полчаса сидели, я не помню. Кофточка на этой, на первой, была красивая — черная такая, вроде и бархатная, но с блеском — синтетика, наверно».

— Я, между прочим, догадался, что тебя погнало в такой спешке из твоего пригорода. Не гляди так недоверчиво. Я парень проникательный. Феликс?

— Позвонил, — кивнула она. — Я не хотела тебе говорить... нет, все равно бы сказала; конечно. Так тяжело было, Марк. Я ведь поездку в Россию берегла на самый-самый крайний случай, у меня теперь ничего в запасе не осталось...

— Легче стало?

— Не мучай ты меня. Хорошо, хорошо, не сержусь, успокойся. В общем, стал он мне объяснять про свою болезнь...

— Какая, к чертовой матери, болезнь! — вдруг вскипел Марк. — Все

эти творческие личности... им симулировать шизофрению — раз плюнуть. Как Андрея в свое время от армии освободили, я не рассказывал? Показал он психиатру десяток своих стихотворений, чуть не сразу ему в зубы белый билет сунули. Ладно, прости, валяй дальше.

В крошечных чашках с отбитыми ручками горьким паром исходил стынущий кофе, двое югославов за соседним столиком, шумно допив свою водку, отправились на поиски приключений. А ветер за окном успокаивался. Слабел дождь. Светлели асфальтовые облака. Каким синим бывает после долгой непогоды первый клочок неба, проступающий между тучами!

— Зачем ему было симулировать? Конечно, он болел, только не шизофренией, а обыкновенным нервным расстройством... Знаешь, люди между делом иногда говорят удивительно откровенные вещи, сначала пропускаешь мимо ушей, а потом вдруг эти слова всплывают в памяти — значит, отпечатались... — говорила она почти спокойно, играя снятым с пальца кольцом с маленьким алмазом. Первый луч солнца, пробивший тучи, зажег в камне густо-багровый свет. — Вот так он и говорил однажды, что ничего не может быть тоскливее сбывшейся мечты.

— Какая у него была мечта? Написать еще сто двадцать картин?

— Нормальной жизни он хотел. Тихой, благопристойной, счастливой — словом, вроде той, что у меня сейчас с Биллом. — Она на мгновение осеклась. — А я купилась, как школьница, поверила, что ему и впрямь это нужно...

Через год после исчезновения Феликса, когда Клэр, наревевшись на своей керамической фабрике, уже вернулась в Нью-Йорк и совсем было собралась выходить за героического Билла, в одной не заслуживающей особого доверия газетенке появилась любопытная статья. Речь шла о двух с чем-то десятках молодых американцев, каким-то боком связанных и с «Красными бригадами», и с «Черными пантерами», воевавших на стороне партизан в одной банановой республике. Партизаны были троцкистского толка, все норовили провозгласить какую-то «Освобожденную зону», куда же стреляли правых и виноватых и петляли по джунглям, убегая не только от правительственных войск, но и от местного населения. На скверной расплывчатой фотографии кое-кто признал среди партизан пропавшего авангардиста. Запахло сенсацией. В печать просочились и сведения о связях Феликса с террористами еще в Амстердаме, словом, Клэр отправилась к автору статьи, который, ни за что не ручаясь, взялся, однако, переслать ее письмо. Свадьбу под благовидным предлогом отложили. Через три месяца пришел коротенький ответ, нацарапанный протекающей шариковой ручкой на разорванном пакете. «Прости мне амстердамскую комедию, — писал Феликс, — вероятно, я до сих пор люблю тебя, но мне показалось, что так расстаться будет легче для нас обоих. Тебе еще жить да жить, а я человек конченный. И дело, конечно, не в наших отношениях, просто меня замучила пустота в сердце и в душе, может быть, я действительно нездоров. От нынешней своей жизни мне тоже придется рано или поздно бежать, но время еще не настало, да и бежать некуда — джунгли вокруг. Я ношу болотную форму в мерзких разводах, принял присягу, поклявшись отдать всю кровь до последней капли за свободу угнетенных во всем мире. Наш команданте, самоуверенный дурак с гнилыми зубами, уверяет, что, когда мы придем к власти, в стране больше не станет ни голодных детей, ни трусливых интеллигентов. Между прочим, он кончил Калифорнийский технологический и свободно изъясняется по-английски. Надо полагать, что меня в этой новой стране не будет тоже».

— Вот и все, подумала я и отвечать ему не стала. А три недели тому назад он зашел, пока Билл был на работе. Полчаса просидел. Говорили мы мало, и Максим вокруг бегал, да и Феликс всегда был молчаливый. А потом обратно позвал. Я чуть с ума не сошла. И тут вспомнила про отцовскую путевку, помчалась в консульство, за день до отлета визу получила — и вот, как видишь...

— Не прошло?

— Теперь прошло. Совсем.

— Почему ты сразу после письма не отправилась к нему?

— Не переоценивай меня, Марк. Что мне было делить с этими бандитами? Да он меня и не приглашал. Я взамен взяла да и вышла

замуж. Ну что ты так смотришь? Я обыкновенная женщина, я жить хочу, я смерти боюсь. Ты думаешь, мне не снятся страшные сны?

— Все-таки я не смогу без тебя, — невпопад сказал Марк.

— Давай не будем об этом! — взмолилась она. — Ради Христа не будем, пожалуйста меня, мне не легче твоего...

— Скоро наши вернутся с экскурсии, — тупо промолвил он.

— Ну и пусть, а мы от них сбежим. Слушай, там за дверью какая-то молодая женщина на нас смотрит.

Обернувшись к стеклянным дверям, он вздрогнул.

— Наталья?

Она. В дешевеньком, хорошо Марку знакомом розовом плаще, по-дурневшая, с заметно обозначившимся животом. Подошла молча, на неволький поцелуй в щеку только пожала плечами.

— Как тебя в гостиницу пустили — здесь же сплошные иностранцы! И кого ты ждала?

— Тебя.

— А откуда ты узнала, что я здесь?

— Иван утром звонил. Сказал маршрут твоей группы, фирму. Я набралась смелости, позвонила в Контору. Полчаса у твоих дверей проторчала, потом меня дежурная сюда отправила. Кто это с тобой?

— Любимая женщина, — сказал Марк серьезно.

— А-а. Что ж, страшно за тебя рада. Правда.

— И только-то? — К нему на мгновение вернулось легкое настроение. — Дай-ка я вас познакомлю. Можем все вместе посидеть. Время у тебя есть?

Времени у Натальи не было вовсе, дома беспокоился Алик, порывавшийся пойти вместо нее, но поговорить им надо обязательно, срочно, и не в гостинице, а на воздухе, и если его любимой женщине можно доверять — что ж, она не помешает, а может, и полезной окажется.

На скамейке в глухом ленинградском дворе-колодце с первых слов выяснилось то, чего следовало ожидать и что все-таки казалось Марку невозможным.

«Мы сидели в самаркандском валютном баре, — соображал он невесть зачем, — играли «Уральскую рябинушку», и Гордон все удивлялся, откуда там американские сигареты, если в местной «Березке» их нет...»

Он рассчитал верно. Именно в тот час, когда он растолковывал мистеру Файфу, а заодно и чете Митчеллов устройство зубоорачебной системы в СССР, в Друскининкай прибыл на электричке из Вильнюса молодой лейтенант, незадолго до того прилетевший из Москвы. Сквозь густой, пахучий сосновый бор он бодрым спортивным шагом дошел от вокзала до города, отметил командировку в районном отделении КГБ, определился в гостиницу, отобедал в ресторане «Неман» и не преминул перед сном пропустить стаканчик фирменной горькой настойки. Наутро, захватив медлительного сержанта-литовца, он отправился на машине в деревню Лишкява, в кармане имея подписанный прокурором ордер на арест Баевского Андрея Евгеньевича, 1946 года рождения. Означенный Баевский был небооружен, сопротивления при аресте не оказал и вообще вел себя хладнокровно — в отличие от хозяйки, которая, видимо не зная, что имеет дело с государственным преступником, плакала, убивалась и кричала, что «Андреюс» и мухи не обидит. К чести сотрудников госбезопасности, они позволили арестованному доесть свою картошку с грибами, стывшую на кухонном столе. В будке все это время заливался истерическим лаем дворовый пес. В тот же день Баевский был самолетом препровожден в Москву и после краткого допроса определен в одиночную камеру Лефортовской тюрьмы. Позже выяснилось, что, едва завидев двоих незнакомцев в штатском, он успел сунуть хозяйке заранее написанный текст телеграммы для Ивана.

— Ну вот, — сказал Марк убитым голосом, — пришла беда — отворяй ворота.

— Так оставлять нельзя, — сказала Наталья.

— А что вы можете сделать? — вмешалась Клэр.

— Мы с Аликом составили письмо в защиту Андрея. Набрали одиннадцать подписей и уже отослали Брежневу и Генеральному прокурору. Но от него не будет никакого толку, если не узнают за границей. Вот я

и пришла. Твои американцы, Марк, как раз через два дня улетают. Твоей подписи не требуется.

— А сама ты хорошо подумала? В твоём-то положении — и лезть в такие истории?

— За меня, пожалуйста, не беспокойся. Клэр, может быть, вы возьмете на себя это поручение? Андрей — брат Марка, замечательный поэт... Мы постараемся месяца через два переправить и стихи его для издания... правда, не знаю пока, как...

— Конечно, — торопливо сказала Клэр, — конечно. Через три-четыре дня его уже напечатают, у меня и журналисты знакомые есть. Меня совсем не обыскивали в Шереметьеве, так что ничего страшного. — Она взяла у Натальи простой сероватый конверт и положила его в сумочку, одиноко валявшуюся на влажной скамейке. — Правда, Марк?

Глава седьмая

С одиннадцатым ударом часов на скрипучий помост возвратилась чуть охрипшая певица, и к ней подбежал полноватый товарищ в рубашке с расстегнутым воротом, желая за свою трешку насладиться знаменитой «Хотят ли русские войны», на слова известного нашего придворного вольнодумца. Под эту патетическую песню и вышел Марк с чековой книжкой в руке из задней комнаты ресторана «Садко», где он расплачивался за прощальный ужин.

Встретили его с воодушевлением. Вечер вообще удался, веселье было, что называется, ключом, забылись все обиды, а ведь не далее как вчера, укатив со своей подругой на такси в Петродворец, Марк не заказал автобуса, и вся группа добрых два часа промаялась в гостиничном холле. Хэлен вскоре принялась орать, что «есть предел всякому терпению», а дантист с женою почему-то накинулись на Руфь, уверяя, что Уайтфилды «вконец распустили этого ленивого мальчишку». Но теперь обиды забылись, пьяная Люси полезла к Марку откровенничать, кстат и некстат вставляя в свою ломаную русскую речь фразы вроде «а что мне было делать?». Когда же он вернулся от метрдотеля, рюмки у всех оказались предусмотрительно наполненными, и Гордон, ссылаясь на уроки Гиви, провозгласил длинный тост в честь «нашего хозяина, благодаря которому...». В полутьме антресолей, где кипело празднество, официант по оклику Дианы подошел к Марку и принялся подливать ему шампанского — почему-то через руку, как наливают шутам и палачам, но, разумеется, безо всякой задней мысли.

— Охламон, — сказал Марк, — так налить я и сам бы мог. Водочки хочешь?

— Лучше коньячку.

Выпили за всех официантов, обслуживавших группу в Союзе, осушили по бокалу за местных переводчиков в лице Иры, смущавшейся на краю стола. Митчеллы, Уайтфилды и Клэр сидели ближе других к Марку.

— Вот и прощаться пора, — сказал он самым жизнерадостным голосом, на какой был способен.

— Мы с удовольствием взяли бы тебя с собой, Марк, — сказала Диана.

Шутка как шутка, не хуже любой другой. Марку доводилось ее слышать в разных вариантах раз пятьдесят. Сейчас кто-нибудь игриво предложит ему разместиться в чемодане.

— Мы не могли бы запихать его в какой-нибудь чемодан? — осведомилась Руфь.

...а теперь примутся всерьез приглашать в гости...

— Слушай, а отчего бы нам не прислать тебе официальное приглашение? — спросил Гордон. — Дети наши тебя не съедят, спальня для гостей есть на втором этаже...

...а теперь хвалить советское шампанское...

— Нет-нет, увольте, — поморщился Берт. — Шампанское тут слишком сладкое, да и замораживать его как следует не умеют.

Налили еще обруганного напитка, выпили, помолчали.

— Шутки шутками, — начал Гордон, — а хотел я тебе, Марк, напоследок задать один серьезный вопрос. Ты мое отношение ко всей этой

коммунистической белиберде знаешь и даже, боюсь, целиком его разделишь, так?

Марк кивнул.

— А вопрос у меня чисто личный. Можешь даже не отвечать, если он тебя слишком заденет. Дело в том, что больше всего меня в этой стране поразил ты сам. Да-да, не удивляйся. Ты, в сущности, совершенно свой парень, я тебя живо представляю утомленным таким нью-йоркцем на двадцати трудовых консультантских тысячах в год, трясущимся с работы в нашем вонючем метро. Ты, конечно, целиком русский, чего уж там, понимай — слегка с приветом, но у нас в Америке и не таких обламывало, а не обломало бы — ну что ж, тоже бы выжил, уж не знаю как, в профессорах, что ли. Согласен?

— Не знаю, — усмехнулся Марк, — не пробовал.

— Ладно. А с другой-то стороны, представь себе, что в этой группе нас пятерых бы не было. Или мы б не сумели сойтись с тобой вот так, приватно, и слушали бы только твой, извини, агрессивный бред на экскурсиях. В общем, как ты при твоих убеждениях свободного человека ухитряешься работать на эту власть?

Он застеснялся, даже чуть покраснел. Но Марк слушал его бесстрастно, отвечал голосом ровным.

— Об этом можно говорить бесконечно, — сказал он. — Мне проще всего было бы отбрехаться, напомнив вам, что у нас всего один работодатель — государство. Ты резонно возразишь, что я мог бы выбрать работу, не связанную с надувательством. А я на том же уровне объясню тебе, что я этого не желаю, потому что нынешняя моя работа — динамичная, увлекательная и денежная. — Он пнул ногой в сверток из валютного магазина под стол. — Вступая в сделку с дьяволом, я парадоксальным образом самоутверждаюсь в качестве свободного человека. Понятно?

— Не очень, — вздохнул Гордон.

— Я могу и проще, с другого боку. Для туриста-середнячка я так и остаюсь туповатым проводником официальной идеологии. Но послушай, Гордон, тебя никогда не похищали? Нет? И заложником ты не бывал? Не смейся. Ибо мы тут все — заложники. За какую-то неведомую врожденную вину сидим под стражей, знаем, что случилось с другими заложниками, и потому молчим. Разумеется, молчать — это одно, а сотрудничать с похитителями — другое, — продолжал он, несколько путая понятия «заложник» и «похищенный», а может быть, не видя большой разницы, — но где-то там у вас открыли особый невроз, даже термин придумали для состояния, когда у похищенного развивается чувство солидарности с похитителями...

— Стокгольмский синдром, — подсказала Руфь.

— Да. И не почему-то оно возникает, а из самого примитивного страха. Страх. Психология человека, живущего под дулом автомата, — штука весьма любопытная, поверьте знатоку.

— Так уж и автомата, — недоверчиво сказал Гордон.

— Пистолета, если вам больше нравится, — оборотительно улыбнулся Марк. — Осмелюсь напомнить, что в нашей замечательной стране нет практически ни одной семьи, где кого-нибудь не посадили или не расстреляли во время того, что вы называете чистками, а мы никак не называем. Так перепуганы, что само понятие стало табу, и нет для него в современной русской речи точного слова. Позволю уточнить, что советские лагеря и тюрьмы — не ваши, что интеллигент после политического срока обречен на гражданскую смерть. И вот вам итог: в своих московских экскурсиях я вовсе не кривил душой. Я и сейчас, как Уинстон Смит в конце романа, могу произнести монолог об исторической необходимости коммунизма. И тоже не буду притворяться. Разве уж совсем в глубине души... Но глубина души, милые мои, это по нынешним временам бо-ольшая роскошь. Вот у Гиви, скажем, таковой счастливо не имеется. Между прочим, — он улыбнулся, — меня Костя учил всей этой схеме. Он объяснял мне свою главную беду — неумение ни забыть, ни подчиниться. Но это был, говорил, врожденный порок какой-то. Ведь большинство людей выживает под дулом автомата — и какое большинство!

— У нас тоже большинство — конформисты, — проворчала Руфь.

— Разве я спорю? У всех, решительно у всех на свете— свои проблемы. Вот у меня, например, позавчера арестовали любимого брата.

— За что? — ахнула Руфь.

— За его роман. Вам, господа, повезло. В наше либеральное время политические аресты производятся только для острстки, не больше нескольких сотен в год — и вот вы, можно сказать, почти лично присутствуете... Не говорите об этом Хэлен, даже в Штатах, ладно?

— Хотел бы я знать, — обронил помрачневший Гордон, — под каким соусом могли бы мы еще раз встретиться с этой старой жабой. Марк, мы не можем ему помочь?

— Какая уж там помощь! — Марк вздохнул. — Отправляйтесь во свояси, расскажите друзьям обо всех прелестях России, только не вздумайте драматизировать, рассказывайте все честно. Голодных нет, раздетых нет, недовольных нет, через десять — двадцать лет у всех, кто останется на свободе, будут бесплатные квартиры со всеми удобствами...

И этот вечер шел на убыль. Кое-кто уже вертелся на своих резных деревянных стульях, комкая ресторанные салфетки. Оркестр внизу собирался играть в последний раз.

— Клэр, — шепнул Марк, — а как же дальше?

— Посидим еще немного, потом пойдем гулять — ты же мне до сих пор не показал белых ночей, так туманно было все эти дни.

— Нет, вообще дальше.

— Ты же сильный, Марк, придумай что-нибудь.

— Я не сильный, девочка моя. Я всегда был слабый, а теперь и остатки силы потерял, я совсем как тот остриженный Самсон.

— Мы что-нибудь придумаем, — твердила она, — мы обязательно что-нибудь придумаем... — И он понимал, что говорится это только в утешение, но так хотелось поверить.

— Ты не смогла бы поселиться здесь, — полуутвердительно сказал он.

— Нет, я бы не выдержала. Да и работы для меня нет. Но ты бы легко прижился у нас.

— Сомневаюсь, — он покачал головой, — да и не выпустят меня. Но можно, ты знаешь, сбежать из моей пресловутой командировки в Сирию. Если пороха хватит, в чем тоже сомневаюсь. А можно на иностранке жениться — хоть на тебе. В таком случае лет пять промурыжат. А повезет — могут и года через три отпустить. Мать-то мне разрешения в жизни не даст.

Нет, довольно этих отчаянных разговоров. Что толку головою об стенку биться, когда все и так яснее ясного?

— Я не смогу так сразу все переломать, — голос ее звучал беспомощно, — не смогу, но я приеду еще, я обязательно приеду, даже если ты женишься, ну и что, мы же в реальном мире живем, я приеду, у меня и заработки есть свои, не Билловы...

— Да и я не смогу. — Он встал. — Или смогу? Черт его знает.

Музыка оборвалась. Осушались последние рюмки. Хэлен прятала в сумочку бутерброд с икрой, а мистер Грин умоляюще взглянул на Марка и, получив в ответ кивок, стянул со стола фирменную солонку с надписью «Контора» и такую же перечницу. Оторвав сонного водителя от чтения «Графа Монте-Кристо», компания погрузилась в автобус, а Марк и Клэр остались у ресторанный подъезда.

— Холодно, — пожаловалась она, — и темно. Я думала, в белые ночи гораздо светлее.

— Надо было в июне приезжать. — Он тоже поежился. — И все-таки ты посмотри, какое таинственное все, даже сейчас.

В светящейся тьме Невского проспекта фосфоресцировали белые колонны и белые рубашки на редких прохожих, неслышно шумели липы своей ртутно-черной листвою.

— Поразительный город. — Свернув с проспекта, они направились вдоль Мойки. — Почему ты живешь в мерзкой Москве, а не здесь?

— Привычка. И квартирный вопрос, и работы здесь куда меньше. Столица-то бывшая. Мы вообще консервативнее вас — родившись в Москве, почти никто не уезжает. Хотя один мой рязанский знакомый, — он

вдруг припомнил разговор в пирожковой, — утверждал, что в Ленинграде снабжение лучше. Вот, между прочим, дом, где жил и умер Пушкин.

В кустах отцветшей белой сирени над сиротливой скамейкой светилось одно из окон — каморка сторожа, наверняка приятеля брату Андрею. Они снова очутились на набережной, миновали арку Главного штаба. По Дворцовой площади сновали хмельные туристы, слышалась финская речь. Как их не понять — рукой подать до дома, красивый город, дешевая выпивка, доступные женщины, обладающие в виде бесплатного приложения загадочной славянской душой. У самой колонны кто-то наигрывал на гитаре, а на колонне громоздились друг на друга кирасы, кольчуги и щлемы, на самом верху ангел сжимал в руке чугунный крест, военную славу трубили две летящие женщины на фронтоне Главного штаба, и мчался за ними еще один крылатый, на шестерке буйных коней.

— Странные вещи творятся с русскими городами, — сказал Марк. — Ты же знаешь, Пушкин был влюблен в Петербург, а потом, с легкой руки Гоголя и Достоевского, перешел он в разряд городов неуютных, давящих, фантастических. Ездили в Москву насладиться теплотой и гостеприимством. А теперь все мои друзья говорят, что в Ленинграде им дышится куда свободнее.

— Не так уж и странно, милый. Вы от Москвы почти ничего не оставили.

— Не мы, а они, — уточнил Марк.

— И потом, здесь у меня то же чувство, что было в Помпеях. Жизнь ушла, остались символы исчезнувшего государства. И прустно от этого, и... тепло как-то...

— Правда.

Надо бы вернуться в гостиницу, а сил нет. Нет сил пережить еще одну осторожную ночь, шорох шагов в коридоре, алый огонек сигареты, нежность и тоску. Ночь светла, свободно течет Нева, безразличная к тому, что ее заковали в гранит, и чайки кричат о своем... Ночи еще светлы, еще проплывают в померкшем, смертно чистом воздухе петербургские призраки — не здесь ли проходили они с Натальей, и тоже стояла последняя ночь холодного мая. В рассеянном сизоватом освещении река играет бензиновыми бликами, бьет волнами в осклизлые, обросшие мохнатыми водорослями ступени, грузная чайка чистит клюв на спине бронзового льва с сердито-обиженной мордой.

«Еще грохочут поздние трамваи, и мост дрожит под тяжестью стальной. Я выпрямляюсь в рост, не узнавая ни города под белой пеленой, ни тополя, ни облака. Давно ли тянулся ввысь желтоколонный лес и горсточкой слезоточивой соли больные звезды сыпались с небес? И снова сердце к будущему глухо — пульсирует прошедшему в ответ, и до утра воркует смерть-старуха, и льет земля зеленоватый свет...»

— Что с ним теперь будет, Марк?

— Ничего хорошего. Надо молиться, чтобы его в психбольницу не посадили. Лагерь все-таки лучше.

— Неужели его оправдать не могут? Это же шутка, его роман!

— У коммунистов плохо с чувством юмора, дорогая. Его могло бы спасти слезное покаяние, статья вроде той, что ты читала, только от первого лица. Но не пойдет он на такое. Отец, может, будет его уговаривать... а может, и нет... Кстати, раз уж ты расхрабрилась взять письмо от Натальи, сунь в тот же конверт его собственное заявление для прессы. Он его мне прислал на всякий случай.

— Не повредит это ему?

— Может быть. Но откуда у меня право за него решать?

Ночь прошла самую темно-серую точку, и небо над Васильевским островом начало чуть заметно розоветь. Первый скворец запел в листве, и другой ему отозвался.

— Ты бы лучше обо мне подумала, — сказал Марк деланно сердитым голосом. — Выпей, — он достал из сумки бутылку, заткнутую хлебным мякишем, — выпей. Ну, что ты плачешь?

— Я... я не плачу. Так получается. Страшно.

В расходящийся пролет моста медленно ползла темная громада корабля. Из-за разведенных мостов в гостиницу уже было не попасть. А над городом снова густел туман, и когда Клэр с Марком, промерив

шагами весь Невский проспект, добрались до Московского вокзала, опять посеял противный холодный дождь. В зале ожидания даже подоконники были забиты сонным народом, путешествующим кто по своей, а кто по казенной надобности. Но на втором этаже оказалось чуть просторнее и буфет был открыт.

— Вот тебе, дорогая, и подлинная экзотика. — Марк отхлебнул из картонного стаканчика свой едва теплый, припахивающий цикорием кофе. — Знаешь, сколько я в юности перевидал таких вокзалов.

— Руфь бы сказала, что и в Нью-Йорке спят на скамейках.

— Да. Слушай, хочу спросить тебя...

— Понравилось ли мне в России?

— Нет, попроще. Что тебя поразило больше всего по приезде в Москву? В самый первый день?

— Об этом книгу можно написать, милый. Наверное, бедность меня больше всего потрясла. Ты пойми меня правильно, в Южной Италии есть совсем нищие деревни, да и Ирландия — не Пятая авеню. Но я же читала много, фильмы смотрела, на выставку в Монреаль ездила. Космонавты, заводы, новостройки. И вдруг видишь, как люди плохо одеты. Какие одутловатые женщины, обшарпанные дома, убогие витрины. И солдаты — я их в первый день в Москве увидела больше, чем за всю свою жизнь.

— Совсем ничего не приглянулось?

— Не знаю. Я в такой ужас пришла, все это начало рассеиваться только в Закавказье. И чем дальше — тем больше. Там тоже не Америка, но все-таки жизнь какая-то есть. Хоть лозунги и те же. Ты их всегда так смешно переводишь?

— Стараюсь. Чем больше я их переведу, тем полнее у моих клиентов будет представление о советской власти. Ты знаешь, ведь это, помимо всего прочего, еще и крайне глупая власть.

За окнами вокзала играла заря, дождь утих, а что-то все удерживало их в душном зале ожидания, где не было ни каменных ангелов, ни бронзовых львов, ни оштукатуренных кариатид, ни всей несказанной прелести белых ночей, — одни усталые человеческие тела, разбросанные как попало на цементном полу и на фанерных скамейках, да плотные, черные, пахнущие потом очереди у билетных касс.

— Скоро сведут мосты. Ты чемодан успела сложить?

— Когда?

— Значит, пора. К вечеру уже оба будем дома.

Они вошли в вертящиеся двери гостиницы, куда тонкой струйкой вливался поток таких же любителей белых ночей, а через два часа под пение птиц и кошачьи шаги дежурной по этажу застрекотал походный будильник. Марк остановил его — и больше не стало времени смеяться, плакать, обмениваться клятвами и поцелуями.

— Что тебе подарить?

— Уволь. — Он замотал головой. — Вполне достаточно натасканного вчера ко мне в номер остальными. Уволь.

— Это смешно, милый. Я навезла зажигалок, шариковых ручек, значков, джинсы новые захватила — твой, кажется, размер. Мне говорили, их тут можно выгодно...

— Брось ты свои американские штучки. Я, может, по вашим понятиям и беден, но горд. Вези все обратно. Вот таблетка успокаивающего мне бы не повредила. — Он облизал пересохшие губы. — Слушай, у вас в штате есть смертная казнь?

— Отменили, — рассеянно сказала Клэр. В чемодан поочередно летели: лилово-серое платье, в котором она была тогда у моря, черный свитер с дыркой от сигареты на груди — память о Тбилиси, драконы, переложенные какими-то полотенцами и блузками. Мелькали вещи, сыпались в чемодан, и номер постепенно приобретал свой исконный нежилой вид. Только букет астр продолжал топорщиться на столе. — Погоди, отчего ты спрашиваешь?

— Солнце восходит. — Марк сощурился. — Я так люблю утреннюю зарю где-нибудь в средней России, на берегу реки, когда туманно, и пахнет мокрой листвой, и обидно, что не знаешь названий всех этих птах, которые распевают в ивах, я же человек городской. И казнят на рассвете.

Будят засветло, выводят в холодный двор... Или уже нет? Двадцатый век, все упростилось. «Тьму в полдень» помнишь?

— Как не помнить!

Кое-как собранный чемодан уже переполнился, и Клэр лихорадочно соображала, как же запихать в него плащ и косметику.

— Над первыми страницами я очень веселился. Кестлер, душка, полагал, что в сталинских тюрьмах врагам народа дают чай с лимоном. И держат их в одиночных камерах.

— Все-таки возьми джинсы, считай, что это мой взнос на Андрея. Куда, по-твоему, лучше спрятать письмо? В чемодан?

— Ох, не знаю! Может быть, лучше в сумочку — я давно заметил, у тебя подкладка оторвана. Туда и запихай.

— Хорошо.

Она с усилием захлопнула чемодан и отдала Марку пластиковый мешок со «взносом».

— Присядем перед дорогой?

Последний их поцелуй наедине вышел долгий, отчаянный, но и он кончился, пора было звонить в ресторан насчет завтрака, спускаться на первый этаж со списком номеров для носильщиков, забирать вчерашний пакет с подношением, лежавший у профессора. По дороге Марк наткнулся в коридоре на мисс Уоррен с мордой, опустошенной чем-то весьма смахивающим на мировую скорбь. Она грузно опиралась на новую палку, а в правой руке сжимала конверт советской внутренней почты. Этот-то пятикопеечный конверт, разукрашенный алыми знаменами, танками и золотыми звездами, и заставил Марка наконец с поразительной ясностью понять, на кого была бы как на родную сестру похожа несчастная Хэлен, если б снять с нее вискозную кофту с огромными цветами и бабочками, синие кримпленовые штаны, рыжие туфли на американской пробковой подметке да очки в оправе, усыпанной стеклянными бриллиантами, а взамен облечь в московшвеевский штапель, скороходовские босоножки на резиновом ходу и кольцо с карамельным искусственным рубином нацепить на палец — да еще заставить раза в полтора потолстеть.

Разумеется, на Марию Федотовну, бывшую соседку.

Однако развивать эту занятную мысль, то есть представлять себе, чем бы занималась американка, если бы родилась в тридцатом году в Череповце, не было времени.

Семь утра. Казнат на рассвете, и рейсы в Америку обычно отправляются ранним утром. Как быстро кончилось это путешествие. Раздать паспорта, перемолвиться одним-двумя словами с каждым. Нельзя быть свиньей, все-таки люди отдыхать приехали.

Глава восьмая

— Письмо? — Таможенник вытащил из сумочки Клэр порядком помявшийся сероватый конверт.

— Частное письмо, — сказала она по-русски. — Случайно завалилось за подкладку. Давно собиралась зашить, все забываю.

— Письма, девушка, следует отправлять по почте. Напишите адрес на вашем конверте и бросьте его вон туда. — Он показал на синий ящик перед входом в таможенный зал.

— По почте долго. И марок у меня нет.

— Видите ли, девушка... — Таможенник попался словоохотливый. Лицо этого грузного лысеющего парня казалось помертвевшему Марку знакомым, но рыться в памяти не было сил. — Перевозка писем через границу составляет нарушение государственной почтовой монополии. Да и что такое письмо? С точки зрения нас, таможенников? Всякое письмо есть рукопись. Или предмет, предназначенный для передачи третьим лицам. Надо было в декларацию его внести или, во всяком случае, показать, не дожидаясь, пока я сам его найду.

— Я забыла, — беспомощно сказала Клэр.

Таможенник вылез из-за стойки и на несколько секунд скрылся за дверью с надписью «Посторонним вход воспрещен».

— Значит, так, — бодро сказал он по возвращении, — вскрыем, ознакомимся с содержанием, а там посмотрим.

За соседней стойкой Коганы разыскали, наконец, квитанцию об уплате пошлины за полученный от брата самовар, чуть подалее старичон Грин сумел убедить таможенницу, что ташкентский коврик с лебедями он хочет увезти в Америку как сувенир, образец народного среднеазиатского искусства, что и в мыслях у него нет как-то обидеть увозом этого коврика советскую власть. Взглянув на Клэр, словно на царапающуюся кошку, таможенник пожал плечами и снова исчез за той же дверью, а вернулся в сопровождении чина постарше.

— Ну, госпожа Вогел, что прикажете с вами делать? — осведомился тот. — Вы же не хотите неприятностей?

Неведомых неприятностей (ссылка в Якутию? расстрел на месте?) Клэр, разумеется, не хотела, но и сдаваться так легко не собиралась.

— Там впечатления о моей поездке, — морщилась она, — это для мамы и мужа... Ни на одной таможене мира не вскрывали моих писем.

— А почему мы должны вам верить, госпожа Вогел? На любой, как вы соблаговолили выразиться, таможене мира есть свои четкие правила. Что вы упрямитесь? Не съедим мы ваше письмо. Просмотрим и тут же вернем. Где ваш переводчик?

— Я переводчик, — подскочил Марк с угодливым подобием улыбки на устах, — мадам Фогель во время поездки ни в чем предосудительном замечена не была, уверяю вас...

Толпившиеся за Клэр старшунки из группы Веры Зайцевой поглядывали, не понимая ни слова, с любопытством, а иные и с нетерпением. И то сказать, из-за этой глупейшей заминки с таможеней они рисковали не успеть закупить в «Березке» икры и водки, предметов, без которых возвращаться из России просто невозможно. Уже прошедшие таможеню Берт и Руфь, посвященные в тайну серого конверта, заметно беспокоились. Наконец чин постарше, раздраженный внезапным заступничеством Марка, заявил ему, что «может, конечно, ваша мадам и хорошая, а вот мы ее сейчас задержим для личного досмотра, и рейс ваш задержится, а кто будет пятьсот рублей штрафа платить — это забота не наша, сами знаете».

Предаваться раздумьям на эту неприятную тему Марку, однако, не пришлось. Как из-под земли явился еще один таможенник, чуть постарше первого, но помоложе второго, постоял, послушал, посмотрел на Клэр немигающими серыми глазами.

— Зачем же самолет задерживать, Петр Афанасьевич? — сказал он пожилому. — Вы разве не читали телефонограмму?

С этими загадочными словами он взял со стойки конверт, не торопясь вскрыл, достал оттуда один листок машинописный и один — исписанный бисерным почерком Андрея. Просмотрел, сунул вместе с пустым конвертом в нагрудный карман кителя.

— Пропускной ее, Володя! — скомандовал он.

— А письмо?

— Как обычно.

Володя, не улыбаясь, оттиснул на декларации Клэр жирный лиловый штамп и сделал ей знак проходить.

— Сволочи вы все, — с полуслова она перешла почти на крик, — сволочи, свиньи фашистские, так бы и перестреляла вас всех, гады, гады! Таможенник, забравший письмо, мгновенно обернулся.

— Ну-ка не смейте хулиганить, мадам Вогел, — сказал он спокойно. — Тут вам не Америка. Не Америка еще, слава Богу. Не знаю уж, кто вы такая и зачем к нам пожаловали, но валите-ка отсюда подобру-поздорову, катись, покида целая, немецкое отродье, скажи спасибо, что отпускаем с миром. И хозяевам своим, кто там тебе платит, передай — ни черта у них не выйдет! Сто лет простои́м. Тысячу. А вас и агентов ваших... словом, проваливай.

«Бедная девочка», — успел подумать Марк. Вокруг ревушей в голос Клэр собралась Митчеллы и Уайтфилды — целовать, наперебой утешать... А машина расставания двигалась своим чередом, пора было направляться к паспортному контролю.

Да, работа есть работа. Кое-кто из группы уже жался поближе к турникету паспортного контроля, где в будочке восседал неулыбчивый, наголо бритый молодой солдат — не близорукий, но паспорта тем не менее подно-

сящий к самым глазам, троекратно сверяя фотографию в документе с личностью его обладателя.

— До свидания, мистер Коган. До свидания, Сара.

— До свидания, Марк, спасибо тебе за все.

— До свидания, Марк, ты очень понравился Моисею.

Турникет щелкнул раз, другой.

— Я ничего не узнавала здесь, Марк. И сестры не повидала, и даже не знаю, жива ли она. И язык, оказывается, почти забыла. Все так изменилось.

— Да, Люси.

— Ты не держи на меня зла. Нервы разгулялись, не сердись. За чемодан тебе спасибо.

— Ничего. До свидания, Люси.

Какой огромной кажется форменная фуражка на крестьянской голове пограничника. Интересно, как он открывает турникет. Наверное, в будочке имеется педаль. Или кнопка.

— Ты не представляешь, Марк, до какой степени я в восторге от вашей «скорой помощи»! Быстро, эффективно, и ни цента вдобавок! Кислород мне всегда помогал. И какие дивные кислородные подушки! Мы три штуки купили, настоящий прорезиненный брезент, не какой-то пластик поганый. И вот тебе от нас лично маленький подарок в благодарность за хлопоты.

Третий за полгода бумажник свиной кожи, чешский, купленный в «Березке» за пять долларов. Что ж, спасибо.

— До свидания, мистер Файф. До свидания, миссис Файф.

Диана долго целовалась с Марком, Гордон тряс ему руку, сочувственно заглядывая в глаза.

— И Брейгеля, и Шагала вышло сразу по приезде, не сомневайся, я же тебе рассказывал про тот магазин. Дешевле грибов. А вообще спасибо тебе. Ты здорово поработал. И не унывай, о'кей? Мы будем думать о тебе.

— И молиться за тебя.

— До свидания, Гордон. До свидания, Диана.

Щелчок турникета, еще щелчок.

— Я вам давал свой адрес, мистер Марк. — Старичок Грин корявым почерком переписывал адрес гида. — Но вы не обижайтесь, если долго не буду отвечать, — я путешествую все время, через полгода в Китай надеюсь поехать, а русские фотографии вышлю скоро, у меня своя лаборатория дома, в подвале. И не думайте, что я слепой и глухой, я чувствую, что вас ждут перемены, не самые счастливые, и, наверно, деньги понадобятся. — Он сунул Марку в карман какую-то скомканную бумажку и подмигнул — не слишком правда, весело. — А пока до свидания, за армянские камни спасибо, за солонку, за все...

Щелчок.

— Что ж, — вздохнул профессор, — поездка наша была, не в последнюю очередь благодаря тебе, просто замечательная, всего насмотрелись, а вот расставание выходит грустное.

— Честное слово, Марк, мы к тебе по-настоящему привязались. Может быть, мы с Бертом сможем тебе приглашение...

Марк покачал головой.

— Ну, может быть, мы еще приедем...

— Вряд ли, — сказал профессор, — вряд ли, Руфь.

— Сыты по горло прелестями коммунизма? — не удержался Марк.

— Это не настоящий коммунизм, — Берт помедлил, — но спорить уже некогда.

— Костя — мой полномочный представитель в Америке, с ним доспорите. Расскажите ему и про Якова с Владиком, и про Андрея.

— Завтра же, только придем в себя с дороги. И пластинки передадим. Спасибо тебе.

— Не за что. До свидания, Берт. До свидания, Руфь.

Щелчок, щелчок.

Господи, ну отчего эта идиотка все еще тут! Покосившись на оцепенелую Клэр, мисс Хэлен Уоррен склонилась к самому уху Марка.

— Я ценю все, что ты сделал для нас и для меня лично, — раздался ее безумный жаркий шепот, — но как ты еще инфантилен, Марк, как много в тебе чужого, не нашего! Идеологическая ответственность... буржуазный либерал... реакционная феминистка... что у тебя с ними общего? Но я выведу тебя на верную дорогу, я помогу тебе.

— Я взрослый человек, Хэлен.

— А зачем ты подарки от них берешь? — взвилась она. — Зачем ты поддаешься их лживой, ужасной пропаганде? Зачем ты?.. — Тут она прикусила язык, почувствовав нехорошее во взгляде Марка. — Повторяю, я хочу тебе помочь.

— Как вы можете мне помочь?

— Ты еще увидишь, еще убедишься. Лично я не сдавала денег на этот кошмарный материалистический коллективный подарок, я денег не печатаю, а зарабатываю их собственным изнурительным трудом, в обстановке классового террора. Но я не против сувениров. Вот приготовила, бергла до последней минуты... — С самого дна виңиловой сумки, битком набитой брошюрами и плакатами, самоотверженная американская коммунистка извлекла увесистый сверток в простой оберточной бумаге.

— Это делает один парень из нашей ячейки... художник, но и скульптор тоже... продаем по пять долларов плюс налог, но мне, конечно, скидка... в каждом городе дарила по одному такому...

Марк, не глядя, сунул сверток в сумку, не сумел уклониться от сочного поцелуя, пришедшегося в самые губы, и застыл на месте.

Щелчок.

Сразу за турникетом все одиннадцать человек, мгновенно забыв про своего незадачливого гида, куда-то свернули и исчезли, а пограничнику не было никакого дела до прощания этой пары, но из таможенного зала уже тянулись американцы из группы Зайцевой, и Марку померещился вдалеке ее начальственный голос. Не было времени как следует попрощаться — правда, его никогда не бывает.

— Нельзя было на них так орать, да? Я просто не выдержала, у меня так случается, совсем себя не помню. Что же теперь будет, Марк? Меня сюда не пустят, да? Но как же так, это же несправедливо, несправедливо, несправедливо, прости меня, ради Христа!

— Я сам виноват. Втравил тебя в идиотскую историю. Мог ведь Гордону письмо отдать... или в чемодан спрятать... дурак...

— Неужели мы не увидимся больше? Я не смогу, я умру, если не будет никакой надежды...

— У тебя по крайней мере есть свобода, — сказал Марк. — Не упрекаю тебя — утешаю.

— Не нужна мне эта свобода. И нет ее у меня. Опомнись, милый, раскрой глаза, глупость какая, свобода — это быть рядом с тем, кого любишь, быть с ним и не плакать ночами в подушку... У кого она есть, у кого, любимый?

— Только не плачь, девочка. Жизнь — долгая штука. Кто знает, где и как приведет Бог свидеться. И ступай скорее, ступай. Перед смертью не надышишься.

— Не могу.

— Ступай. Пока мы живы, пока молоды — всегда будет надежда. Ступай, а то на нас уже глазают. Прощай.

— Скажи мне «до свидания», как всем. — Она улыбнулась сквозь слезы. — Чем я хуже какой-нибудь Люси?

— Я всегда говорю любимым «прощай».

— А я все-таки — до свидания. Никогда не забуду тебя... Не знаю, что случится, но — никогда...

Долгий поцелуй на глазах у бесстрастного пограничника, полудюжины американских старушек да мадам Зайцевой, молчаливо переминающейся поодаль. Рука в руке. Последнее тепло дыхания. Пограничник прячет куда-то зеленый листочек визы.

Щелчок турникета.

Обернулась, постояла, нелепо взмахнула рукой. Ушла, вот и все.

Нет, не все — по ту сторону КПП засуетился вернувшийся мистер Грин, пытаясь по-английски втолковать солдату, что обронил в таможенном зале сувенир, значок с профилем Ленина, и хочет «на одну секунду»

обратно, попробовать разыскать. Прощай, мистер Грин, иди к своему самолету. Никто тебя обратно не пустит, да и значка твоего давно уже нет, друзья-туристы подобрали. Он украдкой развернул комочек бумаги, полученный от старичка, — это оказалась сторублевая банкнота, видно, остаток выручки за «Поляроид». Спасибо, мистер Грин. Марк быстрым шагом направился к выходу. Горло у него совсем пересохло, сердце дрожало, как загнанный заяц.

Хорошо бы застрелиться теперь.

Хорошо бы застрелиться, а требуется жить, «надо жить», как говорила Клэр, когда отчаяние одолевало их обоих. Вернуться в гостиницу, вернуться в Москву, отчитаться за поездку, нанять адвоката для Андрея, встретиться с отцом, навестить Владимира Михайловича, собрать передачу в тюрьму, уйти от Светки к чертовой матери или не уйти — смириться, переломать себя, как доводилось не раз и не два. Притаиться, сжаться, а пока дасть событиям идти своим чередом — не время еще совсем сходиться с ума, Марк Евгеньевич.

Да и пистолета, по совести сказать, нет и не предвидится.

Глупая Клэр сунула ему сегодня утром свой нательный серебряный крест. Где это меняются крестами — а, Мышкин с Рогожиным. Но обмена не было — сроду Марк не носил креста, поскольку пижонство. Да и веры не имелось — ни с горчичное зерно, ни с маковую росинку. У нее теперь нет креста. Грех. Наверное. Выгоняют же из партии за потерю членского билета. Теперь Марк будет носить. В память, между прочим, о любовнице. Тоже грех, даже вроде считается смертный. Вздор. Никогда не стеснялся, уж эту-то свободу отдавать — и вовсе идиотизм.

Солнечно за окнами аэропорта, безлюдна таможня. В горле комок, руки трясутся. Глупость, глупость. Пять лет тому назад приятельница-практикантка, проводив из Шереметьева ничем не примечательную группу, вдруг разрыдалась прямо в городском автобусе по дороге в Москву, ревели, утираясь детским платком с зайцами и лисичками. «Как подло, — рыдала, — улетила на свободу, и не увидимся больше никогда, а я, Марк, чем я-то их хуже?» Таня ее звали, и в Контору она после института не вернулась, прозябает где-то в учительницах, кажется. Многие, да, многие покидают достославное сие заведение, остаются разве что люди с железными нервами или вовсе без нервов. Верочка, между прочим, пялилась на их прощание. Донесет? Нет, конечно. Некоторое изъяснение теплых чувств при расставании с туристами никогда не возбранялось. Это же так по-человечески, настолько в духе гуманизма. Куда отправиться теперь, и почему он до сих пор торчит в углу таможенного зала со своей сумкой через плечо и подношением от Хэлен в руке?

— Эй, Морковка! — раздалось невдалеке.

Он вздрогнул. Кто здесь мог знать его старую школьную кличку?

— Морковка! Да обернись ты, наконец!

Это был тот самый таможенник Володя.

— Чего такой смурной, елки-моталки? Старых друзей в упор не видишь, да? Подходи, у меня еще минут десять свободных.

— Быстров? — Марк, наконец, признал своего одноклассника. — Позволь... так ты в Питере?..

— Отца перевели. С повышением. — Быстров широко улыбнулся, блеснув добрым десятком золотых коронок.

Марк тоже с напряжением улыбнулся. Вот и знакомый таможенник в Ленинграде, только поздно.

— Жаль, не сразу тебя узнал.

— Да и я тебя не сразу! Ты стоишь, я присматриваюсь, приглядываюсь — кто такой мрачный в углу — ба, соображаю, да Марик же, Морковка! Вот ты, значит, какой теперь. — Он критически оглядел собеседника. — Что ж, одобряю, колёса на тебе самый смак, за версту вижу — итальянские, трезера нормальные, шёртец тоже фирмовый. Что за сверточек? Маленький сувенир, понимаю. Ну, что такой кислый?

— Не выпался, — сказал Марк первое, что пришло в голову.

— Ясно. И я сегодня в ночную смену, выложился вконец. Закурим? — Он протянул Марку початую пачку «Данхилла». — Знаешь, бери всю, у меня блок. Группу проводил?

— Как видишь.

— Слушай, а с чего ты взялся защищать эту сучку?

— Скандала не хотел.

— А-а. Ну, ты у нас всегда был добренький, как Лев Толстой. — Он засмеялся удачной шутке. — Но учти, Сережа был недоволен.

— Кто такой этот Сережа? — по возможности равнодушно спросил Марк. — И что за телефонограмму он поминал?

— Все тебе расскажи. — Быстров снова засмеялся. — Уполномоченный, кто ж еще. А насчет телефонограммы я и сам не знаю. Я человек маленький, мне велят пропускать — пропускаю, велят досматривать — досматриваю. Но по совести сказать, — доверительно наклонился он, — даже меня взбесила эта твоя Вогель. Приезжают расфуфыренные, жрут наш хлеб, а потом, понимаешь, язык распускают. Ты слышал, что она тут орала на весь аэропорт?

— Интересная у тебя работенка, Володя. — сказал Марк. — И часто такое случается?

— Бывает, — отвечал Володя, — за два года всего насмотришься.

— Странная, странная история, Вовка. И что она везла в этом конверте — ума не приложу. Что с ней будет теперь?

— Ничего не будет, только визы пускай больше не просит. А что везла — черт ее знает. Судя по Сережиной морде, мы с ним можем смело рассчитывать на благодарность в приказе, а может, и на премию. За пресечение попытки провоза антисоветского материала. А эта сучка вдобавок еще и гордая.

— Все они гордые.

— Ты кому говоришь, Морковка? У иного на прилете найдешь какой-нибудь несчастный «ГУЛАГ» на английском или Библию лишнюю, так он чуть не на брюхе перед тобой ползает, умоляет акта не составлять. Я, мол, искренне заблуждался, я не виноват, меня попросили... И колются, Марик, со страшной силой, всех закладывают. Ладно, заболтались мы с тобой. Ты как — женат, дети есть?

— Никого у меня нет.

— Бережешь холостяцкую свободу? А зря, поверь опыту. Я вот, к примеру, женат — сказка, сыну три года. В мае в кооператив въехали, на Петроградской стороне. Сорок семь метров, не хрен собачий. Да еще кухня девять с половиной — дворец! Гарнитур финский достали. Стенка с медной фурнитурой, диван раскладной, два кресла мягких, столик журнальный, стол обеденный, шесть стульев, фанеровка под орех. Умеют, сволочи. Мы рижский сначала хотели, так ну просто никакого сравнения, лучше уж лишнюю тысячу переплатить, но чтоб была настоящая вещь, точно? Я через час на дачу. Махнем? Доставлю на «Жигуленке» с ветерком, день солнечный, а у меня там бар. А?

— В следующий раз, Вовка, — сказал Марк. — Я к вечеру должен быть в Москве. Послезавтра встречаю новую группу. Но у меня в Питер командировки чуть не каждый месяц. Зайду.

— Обязательно, — восклицал Быстров, — заходи, позванивай, скучаю по всем школьным корешам. Видишься с кем-нибудь? Нет? Жалко. Ну, вот тебе мои телефоны — и гудбай. Сигареты не забудь.

Точно такую же пачку «Данхилла», первую в своей жизни, выменял он двенадцать лет тому назад у подростка Быстрова на стопочку благотворительных талончиков, выданных родительским комитетом.

Глупо.

Он неторопливо вышел из здания аэропорта и стал у летного поля, всей грудью навалившись на чугунные прутья ограды. Под прозрачным северным солнцем огромный «Боинг» с тяжелым воем выруливал на взлетную полосу, чтобы взять курс на Амстердам, пункт пересадки. Почти незаметно оторвавшись от земли, он стремительно набрал высоту, стал реветь значительно глуше и через несколько минут превратился в бесформенную точку, а вскоре исчезла и она. Отвернувшись от ограды, Марк вдруг пошатнулся и со всего размаху грохнулся оземь. Очки его разбились при падении, и он так и не различил, на чем поскользнулся, — то ли это была мертвая птица, то ли просто кусок грязной промасленной ветоши.

(Окончание следует.)

Цвет и орнамент

Лезвия

О лезвия красные лезвия крыш
и стебли рассвета готовые к жатве
мой город меж небом и морем зажатый
я знаю как ты беззаконье творишь
О лезвия красные лезвия крыш
косцы! и сосцы этих труб кровосточных
— за каждый их вопль ты заплатишь построчно
посмертно подвалы невы отворишь

мой город я знаю о чем ты молчишь
в колодцы глядясь как глядят в перископы
с звездю во лбу маршируют циклопы
и — лезвия красные лезвия крыш
и — в снег упадающих стеблей синкопы
и — лук одиссея в доме пенелопы
(кто знает всю крепость его тетивы?) —
сгибается русло мычащей невы

Пробел

Осень. Ясен, ветвится исход по обугленным сучьям.
В исповедальный октябрь расстаят с исподним —
исподволь, медленно, ленно, но денно и ночью —
дуб, рябина и клен, вяз, осина и ясень. Наскучит
парусину брюхатить отечному ветру, исполним

переоснастку: останутся цвет и орнамент
на волокнистом мушином экране сетчатки,
там же, где небо — себя самое превышая,
в двух полушарий двуствольный двуспальный парламент
мыслью войдя, — становится Небом Единым
и на земном оставляет свои отпечатки.

Мы ж опечатками их почитаем. Как четки,
перебирая фрагменты в конце корректуры,
мним, что автора имя расскажет нам больше
пробела.

А минеральные звезд минареты, а челки
милых? А чакры вулканов? А кольца Сатурна?

А сатурналии черных тамтамов? В миноре
всё это — будто бы — было однажды воспето,
став анонимным беззвучьем, беспримесным светом.
Свет же — синоним пробела.

Теряя уборы,
нас рябина и вяз с изначальным связуют простором.

* * *

В исподних сумерках в сямскую постель
и я с безумною ложился
и коготками, снятыми с петель,
за нежный воздух зацепился.

Что в нежном возгласе спасенья не сыскать,
уже мерещилось в испуге...
Я научился пластырь надрывать
над сукровицею супруги

и ватный пестовать губами алфавит —
а он, как пагода, слоился,
когда миндальным деревом левит
над сном со скальпелем склонился.

И в сытном ситечке, где неба окоем
и ситцевое заточенье,
глазного яблока расширенное ОМ —
такое беглое прочтенье —

во всеуслышанье она произнесла...
Ресничка дрогнула, и я очнулся с болью,
сознав, что вижу продолженье сна
с располовиненной любовью.

* * *

На оконном моем на отвесном холсте, на стекле
поднебесном
выгравировал декабрь инициалы свои:
кристаллические цветы, птицы, водоросли — мгlistый
керамический космос. Запах сухой иглы.
Иней, пыльца и снег, сквозняк законный;
дрожь удивленья по занавеске — как предчувствие Рождества.
Зубная паста лунного света... Такая знакомая
геральдика зимней стужи, степень родства,
с которой деревья знают, когда их кружит,
как семисвещники в рукаве копеечный сумрак.
Вторжение бытия в метафизический ужас
небытия, осязаемый, как скольженье суток,
только кожей. Моей и твоей. Так мы слиты
в этом струнном квартете; твоё контральто
с хрипотцой спросонья — как вспышка магния!
Сталагмиты
домов. Лыдистая магма стекла, смальта,
уже непроницаемая для взгляда,
пока разговаривали с тобой.
Я задвигаю шторы. До завтра,
мой холст загрунтованный, надвигающийся, как прибой
далекого моря.



Книга последних слов

ФРАГМЕНТЫ

ПРОКЛЯТАЯ ТРУДОВАЯ ВАХТА

Баранов, находясь в нетрезвом состоянии, проник в рабочее время на территорию хлопчатобумажного комбината и пришел в цех, где работала его знакомая. Там Баранов стал приставать к ней и оскорблять нецензурной бранью. Мастер цеха Шевелев потребовал, чтобы Баранов ушел и не мешал работать. Однако Баранов уйти из цеха отказался. Когда Шевелев и помощник мастера стали его выгворять из цеха, Баранов оказал им сопротивление, выражался нецензурными словами и ударил Шевелева рукой по лицу. Баранова доставили в караульное помещение, там он тоже буйствовал, оскорблял работников охраны нецензурной бранью, разбил тумбочку.

Последнее слово подсудимого Баранова

Граждане судьи!

Как вы знаете, следствие по моему делу велось почти полгода, и у меня было время для обдумывания своих поступков, а также для разговора с собственной совестью с глазу на глаз, потому что следователь Харборов считал меня особо опасным преступником, каковым никогда я не являлся, о чем написано в характеристике с места работы и из общества защиты животных при штабе охраны общественного порядка, и велел держать меня в одиночном заключении.

Само собою, я вчиню ему иск за потерю мною психического здоровья и не успокоюсь, пока его не призовут к ответу. В тюрьму меня привезли здоровым человеком, а сейчас перед вами фактический инвалид. Обладаю куриной слепотой. Частично потерял своевременное пищеотделение в виде кала. Каждую буквально ночь посещаю антисоветскими сновидениями в неприличном состоянии. Как-то: мочусь в избирательную урну с блоком коммунистов и беспартийных; стучу кулаком по мавзолею с просьбой открыть и принять у меня для опохмелки пустую посуду в количестве 30 бутылок из-под французского коньяка, которого сроду не пил; наношу устные оскорбления портретам членов политбюро, которое на самом деле обожаю. Залажу на броневик у Финляндского вокзала с произнесением речи перед путиловцами, внесшими крупный вклад в дело об освобождении трудящихся от власти капитала. Но это — еще цветочки, а не сновидения.

Бывает, снится мне, как выкапываю я из-под земли секретаря парткома хлопчатобумажного комбината, рублю его на мелкие кусочки на манер дождевого червя, кладу в банку консервную «Завтрак туриста» и прусь на рыбалку. А плотвичка, ершики и даже ничтожные пескаррики не клюют на секретаря парткома и не клюют. Нету сна отвратительней для советских рыбаков, чем этот.

О прочих снах говорить не буду. Они представляют из себя смесь жалкой клеветы на нашу родную советскую власть с немислимым калейдоскопом различных половых извращений, вплоть до гнусного сожительства с комнатным растением фикус, чего до заключения меня горе-следователем Харборовым в одиночную камеру никогда не было ни во сне, ни наяву. Смотрите

характеристику из секции тяжелой атлетики Дворца культуры имени Ленина.

Разберемся, перед тем как перейти к самому делу, почему я был выдворен из общей камеры, где вел агитацию за моральный облик советского человека на предварительном следствии.

Сразу после ареста Харборов принялся шить мне статью за антисоветскую агитацию и пропаганду, что никак не вяжется с моей личностью. Он заставлял меня, используя методы, заклеенные нашей партией на XIX и XX съездах, признаться в том, что я под предлогом свидания в пьяном виде со своей временно внебрачной женой Тонечкой призывал работниц ткацкого цеха не стоять на трудовых вахтах по призыву бесхозяйственного руководства комбината. Я, как и положено настоящему гражданину, отбиваюсь от такой чуши руками и ногами, ну и выливаю случайно в лицо Харборова чернила и попадаю ногой в живот.

После чего перевожусь в одиночную камеру якобы для спасения моей жизни от оголтелых уголовников, возненавидевших мою личность за любовь к родине, к борьбе за мир, за ненависть к хищениям социалистической собственности и эксплуатации человека человеком в так называемом свободном мире. Якобы один заключенный за две пачки сигарет и лишнюю миску баланды в день предупредил о намеченном убийстве меня — патриота своей страны. Я был заключен, как какой-нибудь Чернышевский, в каземат, где схватил радикулит и астмовую бронхиальность.

Не было с моей стороны агитации против трудовых вахт в честь различных мероприятий и памятных дат типа дня рождения Ленина или годовщины присоединения к нашей родине Литвы, Латвии и Эстонии. Не было.

Просто лопнуло у меня терпение человеческое. С Антониной Шуваловой мы знакомы два месяца. За это время в результате бесед и прикидок различного характера приняли решение начать совместную половую жизнь с целью анализа дальнейших возможностей долговременного брака. Сами понимаете, что в наше время большинство людей женятся вслепую, так сказать, или, образно говоря, ката в мешке покупают, а там еще и шило находится, которого, как известно, не утаишь.

Мы же с Тоней решили приглядеться, примериться семь раз, а уж один — отрезать, но зато до золотой свадьбы без разводов и раздела имущества. С работы, говорю, сниму тебя: будешь детей воспитывать, чтобы они, подлецы, с двенадцати лет портвейнов не жрали в парадных и ридикюли у женщин не выдергивали на улице прямо из рук. Лучше уж с самого начала не бросать детей на произвол уголовников, которыми кишмя кишит и город и двор. Особенно приглядывать за ними надо во время так называемого полового созревания, которого у наших отцов и дедов, по ихним рассказам, вовсе не было, и не бесились они до изнасилования кого попало в парках культуры и отдыха.

Тоня согласна. Тем более у нее подозрение на чухотку от работы в цехе, кажется, на чесально-трепальном автомате. Пыль набилась в легкие и бронхи.

Назначаем решающее свидание. Я квартиры не имею. Поэтому нанимаю ее у инвалида войны Царапова Ильи на одну ночь, включая свет и прочие коммунальные услуги в совмещенном санузле. 10 рубчиков, как в гостинице номер «люкс» с телевизором. В его показаниях говорится и про это и про то, как я был взволнован первой фактически брачной ночью, вернее, ее ожиданием.

Бутылку поставил водки и бутылку шампанского. Закуску сообразил видную. Племянник мой в столовой обкома посудомоем работает для стажера в институт пищевой промышленности. Он мне достал селедки, тушенки банку, компот «Персики без косточек», колбасного сыра 200 грамм и мармелад развесной марки «Все выше, и выше, и выше». Нормальная по нынешним временам закуска.

Хризантему приобрел, как учили по радиокурсу хороших манер и новых обычаев. Гвоздик добавил пару и хвойных веток для полноты букета. Сколько дерут с нас на базаре тунеядцы кавказской нации за цветы, мы здесь говорить не будем. Я сделал заявление по этому поводу на следствии Харборову, но он его расценил как антисоветское и сказал, что не подошьет к делу.

Затем мы выпили с инвалидом Цараповым грамм по сто за его помощь в сервировке стола и поджарке картошки на барсучьем сале. Харборов за

это сало пытался разоблачить меня как браконьера, но я в своей гневной отповеди доказал, что сало купил на базаре, где другого сала нету, потому что колхозники придерживают убой свиней до седьмого ноября, вздувая цены на праздничное мясо.

Затем свидетель Царапов неохотно удалился, сказав, что возвратится не позднее семи утра, так как должен занять очередь в пункт приема посуды, чтобы к вечеру ее сдать ввиду отдаленности пенсии.

Жду Тонечку со всей душой и желанием начать совместную жизнь с самым главным, как написано в книжке профессора Цукерштейна «Учимся советскому браку»... Телевизор включил, раз за него заплачено. Жду.

Час проходит в волнении. Мало ли что бывает! Могли и раздеть по дороге, и ридикюль выхватить. Автобусы, бывает, по часу не ходят, потому что водители-скоты «козла» забивают под интерес, для чего вытаскивают с помощью палки и клея монеты из касс самообслуживания. Я сам участвовал в рейде газеты «Путь к коммунизму» на автобазу, о чем в деле есть показаны зав. отделом писем газеты товарища Цениной.

В общем, мало ли что бывает, думаю. Два часа проходит. Нет Тони.

Звоню сначала в милицию. Есть, говорят, у нас Шувалова. За проституцию арестована неоднократно на вокзале. Бегу в отделение. Убью сейчас, думаю, прямо в дежурной части. Строила из себя Валентину Терешкову, стерва. Хризантему, говорит, купи, дорогой Баранов, белую, в виде эмблемы моей невинности... Убью!

Граждане судьи! Разрешите устроить перерыв судебного заседания на пять минут для отправки ввиду недержания мочи из-за отбития моих почек следователем Харборовым после попытки ударить его стулом по голове... Спасибо за душевное внимание...

Граждане судьи! Во время этого короткого перерыва я многое осознал. Не следовало мне психовать и бежать в милицию, так как там находилась не Тоня, а иная женщина, хотя у нас в стране нету социальных причин для платной проституции и еще некоторых родинок капитализма типа однополого чувства.

Возвращаюсь домой, верней, в наемную комнату инвалида. Там дым. Картошка сгорела на плитке с барсучьим салом. Дым столбом. Окна открыл и звоню из коммуналки в пожарку, что тут не пожар в случае тревоги, а картошка подгорела.

Звоню следом в общежитие комбината. Дежурный посылает меня в ответ на просьбу заглянуть в комнату 218...— сами понимаете, куда посылают дежурные,— и добавляет, чтобы я сам заглянул... не хочу тут заниматься уточнением.

На комбинат в цех не звоню, потому что Тоня в утро выходит и в пять кончает. Сам бегу в общежитие. Хоть дежурный не подал на меня жалобу, но я тут честно признаюсь, что потряс я его крепко за то, что посылал куда не следует, и советовал заглянуть туда же, если не дальше...

Стучу в Тонину комнату. Молчок. Неужели, думаю, с наладчиком Кусько опять закрутила платонический роман? Но в комнате явно есть парочка. Дыхание ихнее слышу. Выбиваю дверь плечом. Срываю одеяло с Тониной койки. Там Ленка находится со своим хахалем-таксистом. Мне, говорит, Тоня разрешила встретиться. Она на вахте трудовой в честь достижения полюса Северного атомоходом «Ленин».

Что я от всех этих дел почувствовал— сами понимаете. Себя не помню. Бегу на комбинат. Вахта меня не пускает, хотя я сам комбинатский человек и нахожусь как компрессорщик на доске почета; копия фото приложена к делу. Вахта с оружием у нас, потому что перед Седьмым ноября, Первым мая, выборами, женским днем и Конституцией значительно увеличивается хищение продукции комбината типа ситца, батиста и готовых изделий.

Я и вынужден был проникнуть на территорию через ограду, сорвав частично колючую проволоку длиной в три метра... Гудит, как улей, родной завод. Поговорка такая имеется... Вбегаю в цех. Пожалуйста— ходит моя Тонечка в комбинезончике синеньком, который снять должна была пять часов тому назад после дневной смены и быть со мной в сближении, ходит Тонечка у своих проклятых станков. Такое у меня зло на них было тогда! Подхожу.

— Что же,— вежливо говорю,— получается, Тоня?.. Хризантема в воде разлагается... Водка с шампанским разогрелись как на пляже... Картошка

пропала с барсучьим салом, которое от чахотки помогает... Время за комнату вхолостую движется, а ты тут у станков расхаживаешь, словно при рабстве капитализма, и уйти не можешь по нашей уважительной причине?

— Не могу,— отвечает Тоня,— не отпустил мастер. В честь прибития «Ленина» на Северный полюс должны мы отработать для рапорту партийному съезду целую смену. Процентом выполнения плана не хватает всему комбинату.

После этих слов, врать не буду, начался во мне бурный конфликт между личным и общественным, и в тот раз победило из-за нервного состояния личное. Сознаюсь и беру обратно свой отказ в том, что громко кричал фразы типа:

«Плевать я хотел на все трудовые вахты вместе взятые! Нет у Конституции нашей брежневской ни словечка насчет этих платных вахт! Труд не умеете, сволочи, организовать, а потом на наших шеях выезжаете для премий кварталных! Хватит с нас субботников! Скоро в честь дня рождения бабы директора комбината на вахту начнете нас ставить! Свидание с дамой— тоже трудовая вахта от всего сердца...»

Все это я высказал мастеру цеха Шевелеву — существу зверю типа надсмотрщика на царской каторге. Он записал мои слова в блокнот. «Пошел,— говорит,— вон отсюда, дрянь гуная».

— Тоня,— обращаюсь,— идем. Снимаю тебя с работы. Прокормлю. Сейчас не война. За уход с работы не посадят, а уйти ты имеешь полное право. Они с профкомом не согласовывают своих прохиндейских вахт и нарушают все трудовые законы страны.

Я, конечно, под хмельком был и не понимал, как это трудовая вахта, которых всегда будет бесконечное множество, важнее самой первой ночи кандидатов в мужа и жену. Не понимал...

Тоня склоняется начала на мои аргументы. И не циническими они были, как тут напрягался прокурор, а человеческими.

И не надо было мастеру Шевелеву хватать меня за рукав и обзывать такими словами, которыми в «Крокодиле» обзывают последних империалистов и поджигателей новой войны. На очной ставке он ведь принес свои извинения.

— Прости,— говорит,— Костя. На посту я был. За невыполнение плана, сам знаешь, тринадцатая зарплата накрылась бы и талон на мясо не дали бы к празднику...

На очной ставке простил я ему, а тогда возмутился и поставил Шевелева на свое место одним резким движением. Он позвал помощника, и им удалось связать меня за руки. При этом я успел оттолкнуть лицо Шевелева связанными руками, так как оно находилось в неприятной близости от меня, обдавая сивушным перегаром.

Тоне Шевелев приказал с явной угрозой оставаться на рабочем месте, иначе ее осудят за саботаж производства и не переведут из шестикоечной комнаты в трехкоечную.

Она и осталась. Я сразу же понял, что такая кандидатка в жены женою моею не будет. Не было счастья, да несчастье помогло. Остальное вам известно. Тумбочку я разбил случайно ногой, потому что руки у меня были связаны, и я не буйствовал вовсе, а возмущался системой трудовых вахт.

Если в Конституции записано, что мы имеем право на труд, то это не значит, что труд, когда захочет, имеет право на нас. Вы наведете ревизию на комбинате и увидите, сколько раз в году дирекция и партком заставляют работать ткачих сверхурочно под соусом разных дней рожденья, присоединений Прибалтики и Украины, годовщин каких угодно, начиная со столетия Максима Горького и кончая юбилеем выпуска первого советского метра ситца свободными от рабства капитала ткачихами. А приплытие «Ленина» на Северный полюс — вообще смешно.

Прошу суд назначить экспертизу моему здоровью, так как потерял большую его часть от рукоприкладства следователя Харборова и психика моя нарушена обвинениями в антисоветских настроениях. Прошу не подвергать ответственности инвалида войны Царапова за якобы спекуляцию жилплощадью в корыстных целях, используя временные трудности государства в жилищном строительстве.

Руководить надо лучше и на других принципах, чем горлопанство с трудовыми вахтами, и не пускать денёжки наши кровные на ветер черт знает где. И не борьбой за мир надо заморачивать нам головы на митингах, и в

войну хватит играть нашим генералам и политикам, как в детстве. Не маленькие уже.

Еще раз повторяю, что я против трудовых вахт. Жизнь рабочего человека и так — сплошная трудовая вахта до самой пенсии, если, конечно, он раньше не выйдет в расход от подгонялок и плохой производительности труда.

Прилагаю через своего защитника, от которого толку как от козла молока, денежную претензию к парткому комбината в размере 36 рублей за оставленную в комнате Царапова начатую бутылку водки и не начатую бутылку шампанского, включая хризантему с гвоздикой в стакане и закуску, а также нереализованную жилплощадь за одну ночь...

За разбитую попытку начать брачную жизнь счета не предъявляю, так как на деньги эту травму перевести нельзя. Есть у нас кое-что подороже денег и трудовых вахт. У меня без вахт производительность труда годовая 110—125 процентов. Справка об этом приложена к делу. Прошу коллектив цеха взять меня на поруки и обязуюсь начать работать в счет 1981 года. Славного года XXVI съезда нашей партии, который станет, как правильно заметил прокурор, очередной исторической вехой в жизни нашего прогрессивного народа, уверенно шагающего в ногу с партией вперед к светлому будущему, за что прошу сделать мне снисхождение. В крайнем случае желаю выйти из тюрьмы на исправительный труд в своем цеху, где от меня будет больше пользы, чем на склейвании коробок для конфет «Привет из космоса». Прошу также не набавлять лишний срок за откровенность рабочего человека, о чем меня предупреждал защитник...

Мы придем к победе коммунистического труда!

КУКАРАЧА

Офицер лагерной охраны МВД, инструктор физической подготовки и спорта Савельев, узнав от жены, что она изменила ему с Тихоновым, вооружился охотничьим топориком, вечером спрятался у калитки Тихонова, и, когда тот возвращался домой, бросил ему в глаза песок и дважды ударил топориком по голове, причинив тяжкие телесные повреждения.

Последнее слово подсудимого Савельева

Гражданин председатель трибунала и члены его.

Настоящий процесс надо мною, надо полагать, послужит хорошим примером для всех тех, которые, говоря в рифму, захотели поиздеваться над офицером. Я создал в трудных условиях Севера нашу супружескую пару во имя распространения советских людей, но после второго года брака, в полном смысле этого слова, ни одного человека в виде детей у нас в семье не получилось. Это — раз. Тут мы с вами имеем крепкий корешок дальнейшего нанесения тяжких телесных повреждений... слов тут найти не могу... Тихонову.

Второй корешок — в плотоядной ревности моей законной жены Савельевой, воспитанной мною с первой брачной ночи в духе коммунистической правдивости и в страхе перед враньем. А ей было что врать. Но дело не в этом.

Откуда бралась ревность? Я работаю, верней, работал в женском лагере строгого режима. С категориями лиц молодого и среднего возраста. Мною была дана с самого начала устная подписка нач. полит. управления о добровольном отказе от вступления с заключенными, особенно с антисоветчицами, в близко-интимную связь. Я сразу принял волевое решение не класть, как некоторые, ни на кого свой партийный глаз и отметить грубые ухаживания контингента.

Надо сказать, что наряду с тренировкой личного состава охраны лагеря по боксу, борьбе, самбо, дзюдо и прыжкам в высоту я совмещал службу надзора. Потому что в последнее время упал уровень дисциплины среди бойцов охраны и офицеров. Не буду скрывать. Вызвано это тем, что Тихонов, являющийся политруководителем всего подразделения, начал применять угрозы к надзорному составу выслать в Афганистан для прохождения службы, если не прекратится утечка из лагеря информации о нарушениях соцзаконности, ужесточении режима и злоупотреблениях зав. продуктовым складом, то есть моей законной жены Савельевой.

Вот какой клубок мотивов мы наблюдаем в моем деле, хотя следователь Бурьгин, мстя за то, что ему был на Первое мая выдан моею супругой заплесневелый кусок сыра и селедка без спермы, точнее — молюки, не учел всех моментов преступления и его подготовки с моральной стороны.

Он рассуждал в стиле культа личности:

— Насыпал песка в глаза замполиту? Насыпал. Теперь он в очках ходить будет. Топором врезал ему три раза по черепу? Врезал. Теперь его с замполитов погонят. Потому что и без топора дурак был на редкость тупой. Лучше бы ты убил его. Я бы тебе сейчас смягчающую ревность заделал в статью, а так — подписывай тяжкие телесные с особым цинизмом.

Могу поклясться партией, что это — доподлинные слова Бурьгина, который, говорят, еще в комсомольском возрасте пытал Зиновьева и Каменева с еврейскими врачами.

Нелегко работать в женском лагере строгого режима, граждане члены грибунала. Днем тренируешь амбалов из Казахстана, чтобы в случае бунта могли дать физический отпор заключенным, говоря в рифму, чувственно в них влюбленным. Я имею в виду случай группового изнасилования бойца охраны первого года службы Зейнмухамедова десятью воровками-рецидивистками из города Харькова. Если б он знал дзюдо и умел в высоту прыгать на метр сорок хотя бы, то изнасилования не произошло бы с временным отнятием боевого оружия и выводом из строя на две недели госпитали. А нападения на бойцов и надзирателей стали учащаться, так как в период усиления солнечных пятен многим заключенным, говоря в рифму, хочется... мужского тепла, ласки и так далее.

Вот я и проводил в зоне показательные занятия с бойцами, надзором из молодых и уголовницами, не вышедшими на работу, с интересной внешностью. Антисоветчицы, как правило, в изнасилованиях не участвовали, не желая нарушать права человека, хотя нас они за людей не считают, но лишь за фашистов и попок с вертухаями.

Уголовницы разыгрывали нападение на амбалов из Казахстана, а я тут же давал инструктаж, как подпрыгивать в первый момент, а во второй — в скулу сапогом с одновременным вывертом кости из сустава руки.

Ну, навозишься там, обучая приемам борьбы с бандитками в лежащем положении, придешь, бывало, домой весь в помаде и нос в пудре, а супруга Савельева бросает в тебя чашки и тарелки от ревности. Разве это дело? Одно время в порядке активной мести перестала носить продукты со склада. Я вынужден был питаться в столовой. Теперь известно, что продукты в то самое время получал Тихонов, раскинувший свои амурные сети.

Я понимаю, что у Савельевой были основания думать обо мне как о порнографии, потому что случаев добровольного сожительства вольных с заключенными в подходящие для этого моменты сколько угодно. Природа, граждане члены трибунала, свое возьмет и, говоря в рифму, кое до чего доведет.

Но я лично волевыми усилиями подавлял антислужебные желания с подрывом собственной нервной системы.

Вот вы бы сами зашли в барак к уголовницам, куда женский надзор без пайка и молока за вредность заходить боится. Зайдите, на праздник особенно. Там ведь и артистки за спекуляцию, и фарцовщицы московские, и проститутки со всех концов страны. Танцуют, как во французском фильме. Ноги перед носом твоим задирают и поют «Кукарачу» на мотив нашего государственного гимна... Тут надо волю иметь и в ответ на предложение потанцевать и, говоря в рифму, хоть в щечку поцеловать, могучий служебный кулак показать. Свет надо выключить. Изметелить надо и в карцер посадить...

Нервы до того дошли, что спим мы с Савельевой, а я во сне кричу:

— Кудейкина, одеть трусы и лифчик! Трое суток карцера... Фридман, ноги у тебя красивые, а душа гнилая. Прекратить лесбийское сношение!

«Кукарачу» пел во сне неоднократно. Но главное дело было в отсутствии у нас детей, несмотря на усиленное питание ворованными со склада продуктами дефицита. Скрывать не хочу. Тем более Савельева пошла в район на повышение.

Сидим мы однажды вечером, телик смотрим. Передачи скучные до мути под ложечкой. Неужели для надзорсостава нельзя через спутник каждый день показывать хотя бы «Вокруг света»?.. Приходится слушать «Голос Америки».

Вот и выслушала Савельева, что в Америке уже целые ясли детей рождены в пустой посуде, точнее, в пробирке.

— Подавай,— говорит,— заявление в область. Деньги у нас есть. Девать некуда. Ревизия прошла. Ничего за взятку не нашла, в рифму говоря.. Пусть нас в Америку пустят в туристическую по разрядке международного положения.

Дура душой, а слова знала красивые. Тем и привлекла некогда.

Я отвечаю, что за такую просьбу — поехать в Америку детей в пробирке рожать — и меня и ее в психушку заткнут, как диссидентов закоренелых, из партии погонят, из склада пошарят, как жить будем?

Но эта упрямая корова уперлась в стойло и мычит:

— Хочу в Америку... Хочу в Америку...

Пришлось применить бокс и самбо, так как в ход с ее стороны пошли бронзовые карнизы и копилка в виде головы Карла Маркса — отнятое у антисоветчиц провокационное рукоделие. Ну, когда Маркс разлетелся в черепки, я не выдержал и отправил Савельеву в технический нокаут типа Мохаммеда Али. До утра притихла. Боялись сотрясения мозга, но все же встала. Пошла продукты выдавать.

У меня же был отгул. Я читал книгу Леонида Ильича, где сказано, что партии врать не надо, даже если за правду тебя ожидает смертная казнь с последующей реабилитацией.

Я выпил спирта стакан. Заел красной икрой. Принял решение открыть душу Тихонову. Кому еще на Севере откроешь душу? В деревне папаном исповедоваться бабка к попу водила, а тут один Тихонов сидит в кабинете и антисоветчицам мозги промывает с предложениями вступить с ним в половую связь.

Я ему рассказал про наше бесплодие и что Савельева подбивала меня поехать в Америку, рожать детей вдали от родины в пустой пробирке.

— Самолет не подбивала случайно захватывать с оружием отряда?

— Чего не было,— говорю,— того не было, наговаривать на жену лишнее коммунисту не положено. За правду,— заявляю в рифму,— нас, коммунистов, немало в истории уничтожено.

Целый час меня Тихонов мучил. Пришлось сказать, что «голоса» от скуки и неимения детей слушаем, ума-разума набираемся в смысле вокруг света. Но на удочку пропаганды — ни-ни.

Проходит неделя. Савельева больше в Америку не просится. Вечерами череп Карла Маркса из черепков склеивает. Я говорю однажды:

— Что же ты лицо его бессмертное переко Sobочила?

— Неважно,— говорит,— его все равно ни с кем не спутаешь. Все члены политбюро — безбородые.

Посмеялся я такому ее юмору, а она продолжает:

— Вот нос сейчас на место вделаю и признаюсь тебе во всем. Ты партии признаешься, а я тебе откроюсь.

Чую недоброе. Жду, решая, какой силовой прием применить после признания.

Оказывается, дело было такого рода. Приходит к ней на склад Тихонов после беседы со мною. Приходит и говорит, что рассказал я ему про пустые пробирки и желание купить путевку в Америку на наворованные в складу деньги от продуктов.

— Хорошее это,— говорит,— желание — иметь детей любым способом. Я,— говорит,— снесся с Москвой, и мне дадено указание разобраться своими силами на месте без выезда за границу. Вы оба — невыездные по службе в частях МВД и знакомству с секретами режима. Так что, Савельева, если у тебя с мужем нет детей, то партия вам в моем лице окажет необходимую помощь... Прямо сейчас и не отходя от кассы...

Ну, моя дура тамбовская развесила свои северные уши и повела его в отдел крупы и муки...

— Сегодня,— говорит,— Савельев, ты в ночь идешь, а Тихонов к нам зайвится. Скрывать ничего не хочу, потому что мы в загсе были и, в рифму говоря, шампанское пили... Говорить правду клялись перед гербом.

Савельев долго думать не привык. Значит, ты, Тихонов, партийные тайны выдаешь нашим проходимкам и ревнивым кошкам?.. Хорошо.

Пребывания его в своем доме во время ночного дежурства я допустить не мог. А бы бы допустили?.. Бурьгин на следствии мстительно говорил, что я мог помощи у Москвы запросить. Но я ответил, что, пока придет эта помощь, Тихонов уже всю настойку выжрет и склад к рукам приберет. На Са-

вельеву из-за склада и сам Бурьгин зуб точил, но она мне была верна в случае с ним.

Остальное вы знаете... Песок я Тихонову бросил в глаза, чтобы бесстыжесть из них выбить, а топор использовал, так как не желал марасть о такую пакость советских пуль и штыков. За это прошу снисхождения...

Прошу суд оказать давление на обком с целью исключения из партии Тихонова после его вступления в строй или в инвалидность. Он не достоин быть коммунистом за моральное разложение моей семьи и невыполнение обещаний по внебрачному осеменению, данных Савельевой в крупяно-мучном отделе склада.

Прошу также догнать и перегнать Америку в области деторождения в пустых пробирках на нашем крайнем Севере.

Не могу также не обратить внимания на то, что заключенные у нас, по сути дела, лишаются таких прав, которые даже животные имеют в зоопарках и в цирках. Я на своей шкуре испытал, что значит три месяца попариться в тюрьме без жены на жестких нарах. А люди ведь и по двадцать лет сидят. Тут надо что-то придумать гуманное, а я, в рифму говоря, готов тянуть свой срок в это утро осеннее, утро туманное в любой должности и в любом месте, потому что я — жертва защиты семейной чести.

ЕВРЕЙСКИЙ АНЕКДОТ

Гудиашвили с напарником, чья личность была не установлена, напали на гражданина Замятина, оскорбили его с особым цинизмом и причинили ряд тяжелых телесных повреждений, после которых пострадавший остался инвалидом первой группы...

Последнее слово подсудимого Гудиашвили

Граждане судьи и кацо-прокурор, судить надо сегодня не меня, а случай, хотя я готов отбыть за него положенный срок в лагере особого режима.

Это же не преступление произошло, а еврейский анекдот...

Но начну с самого начала. Я уже четвертый год торгую на Центральном рынке различными свежими цветами. Меня командировала в Москву парт-организация колхоза имени Сталина. Сожительствовал я с гражданкой Птицыной, оказавшейся впоследствии аферисткой. Я выплатил ей аванс за фиктивный брак одну тысячу рублей, но она перед самым загсом сбежала в Ереван с продавцом свежих овощей Давтяном. Откуда телеграфно показала мне язык в знак оскорбления грузинского народа.

Без прописки я не имел возможности дать взятку за поступление на юридический факультет МГУ. Попал в заколдованный круг. Этим воспользовался работник КГБ Дулов после обнаружения в одном букете гвоздик антисоветских листовок. Как они туда попали, я не знаю до сих пор. Но мне грозило удаление из Москвы, и я дал подписку сотрудничать с органами в деле искоренения диссидентов из нашей цветущей Родины.

Сначала я давал информацию о настроениях торговцев цветами, фруктами и овощами. Настроения были хорошими, так как советская власть дала возможность колхозам Грузии реализовывать хризантемы, розы и гвоздики алые перед государственными праздниками по бесконтрольным ценам.

Москвичи, конечно, нас ненавидят, но цветы покупают, потому что без цветов жизнь становится серой, как шинель милиционера.

Поскольку хорошие настроения органам не нужны, меня решили перебросить на оперативную работу. Пообещали после выполнения задания прописать в общежитиях строителей и устроить в МГУ без экзаменов.

Дулов разъярился, что я и еще одно лицо мужского пола, так и оставшееся неизвестным, должны отбить охоту у некоего Друскина уезжать в государство Израиль и подбивать на это граждан еврейской национальности.

Кроме того, Друскин передавал иностранцам клевету о преследовании евреев в СССР за изучение языка предков и хождение в синагогу, а в обмен за клевету получал запрещенные у нас книги различных врагов народа типа Пастернака и Солженицына.

Дулов сказал, что Друскин одет во все заграничное, но на голове носит маленькую тубетейку, как узбек, который рядом со мною торговал дынями и арбузами в зимнее время.

Меня познакомили с напарником, назвавшимся кличкой «Туманный вечер».

Согласно инструкции мы поджидали Друскина у дома номер 53 по Ленинскому проспекту, где сионист встречался с группой других злейших сионистов под прикрытием дня 8 марта.

Мы с «Туманным вечером» промокли и замерзли, после чего приняли решение распить в подворотне бутылку коньяка «Пять слез Сталина».

Пили мы без закуски, но под мандарины моей родственницы Бачулия. Время шло, а Друскин где-то пропал. Мы распили вторую бутылку, и зло нас взяло такое, что мы готовы были просто уничтожить нашу цель.

Увидев молодого человека без шапки, но с еврейским носом, мы хором обозвали его жидовской мордой, свалили ударом бутылки по голове на мостовую и начали избивать ногами, произнося антисоветские лозунги. Нас особенно возмутило, что Друскин орет благим матом и зовет на помощь советских граждан, которых сам же намерен покинуть навек.

Ударом носка ботинка в переносицу «Туманный вечер» заставил замолчать предателя, после чего скрылся, а я был задержан подоспевшими милиционерами, так как не мог сбежать из-за обморожения ног и рук в нетрезвом виде...

В отделении и оказалось, что избитый — никакой не Друскин, а сын генерала-дипломата Замятина. Признаю в связи с этим, что допустил особый цинизм, обзывая его жидовской мордой.

Я начал протестовать, доказывая, что произошел еврейский анекдот при выполнении секретного задания органов, но был избит зверским образом. При этом у меня из кармана исчезли колхозные деньги за розы и хризантемы в сумме 847 рубчиков, японские часы и шотландский шарф с изображением обнаженных сторонниц ядерного разоружения.

Тем временем «скорая помощь» привела пострадавшего в чувство. Одет он был во все заграничное, как и говорил капитан КГБ Дулов, и имел горбатый нос. Кто же мог знать, что отец его важная шишка, а мать армянка?

Спать, помню, померещилась мне на его голове тубетейка... Но что теперь толковать?..

У меня есть просьба, граждане судьи и кацо-прокурор, найти по словесному портрету «Туманный вечер», и тогда вы поверите, что я находился при исполнении оперативных обязанностей. И, следовательно, судить меня надо не за тяжкие телесные, а за халатность...

Ведь капитан КГБ Дулов не может не знать о местопребывании моего напарника. И, если, зная это, молчит, значит, я имею право думать, что органы предали меня и не выполнили своих обещаний.

По грузинской традиции это считается подлостью. После освобождения я с капитаном Дуловым не то что шашлык рядом есть не стану, а плюну в его физиономию и скажу:

— Ты — не кацо, капитан. Ты хуже самого жалкого армянина и нарушаешь дружбу народов. Сталин сделал бы из тебя люля-кебаб и цыпленка-табака.

Я требую вернуть мне шотландский шарф, освободить, прописать в Москве и устроить на юридический факультет МГУ, где я научусь бороться с сионизмом и антисоветчиной легальными методами и с соблюдением ленинской законности.

В противном случае я подниму вопрос через ООН о разрешении воссоединиться с двоюродной тетей, уехавшей в государство Израиль вместе с мужем Кацманом Абрамом Евсеевичем. Потому что за свою любовь к Родине я получаю восемь лет строгого режима, как требует кацо-прокурор, и в сердце моем живет незаживающая обида.

Где справедливость?..

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ

Предварительным следствием установлено, что Рычков Зинка Степанович зверски изнасиловал лектора обкома партии Завязлову при исполнении ею служебных обязанностей, после чего нелегально перешел священную государственную границу СССР. При вторичном переходе был задержан, но оказал сопротивление сержанту сверхсрочной службы Гоглицзе и нанес ему тяжкое телесное повреждение. Гогли-

где после прохождения курса лечения был демобилизован по инвалидности. Впоследствии вместе с ефрейтором срочной службы Мырзовым перешел госграницу. В настоящее время живут в США. Заочно приговорены к смертной казни.

Последнее слово подсудимого Рычкова

Граждане судьи, в обвинениях ваших что ни слово, то — ложь. Так мы ничего не выясним для народа и истории советской власти.

Начнем с того, что следователи Гузняка и Шалашовский пытались пришить мне статью за педерастию, против чего протестую всей душой. Если родители назвали меня Зинкой, то это еще ничего не значит. Назван я так не в честь педерастии, а в честь Зиновьева и Каменева. Родителей моих принудил к этому зверь коллективизации председатель колхоза Ваулов, впоследствии расстрелянный за перегибы головокращения от успехов. Я же остался Зинкой.

Затем, не надо лгать насчет изнасилования при исполнении служебных обязанностей лектора обкома Завязловой. Дело у нас вышло в перерыве с целью перекура под столом почетного президиума во главе с Политбюро ЦК КПСС.

С Завязловой Клавкой я учился еще в школе, где она была неудачно в меня влюблена, потому что являлась стукачкой-сексоткой райкома комсомола.

Я со стукачами сроду не жил, граждане судьи. Не раз пыталась она разлучить меня с тремя предыдущими женами и обженить на себе. Чего только не предлагала взамен! Во-первых, давала место мясника в гастрономе «Спутник», что приносит несколько тыщ в месяц благодаря обвешиванию и пересортице.

Во-вторых, бензоколонка. В-третьих, комиссионка. В-четвертых, скупка золота у населения. И, наконец, грозились обучить делать очки и зубные протезы. Но были еще многие предложения вплоть до работы сборщиком пищевых отходов в столовой обкома партии, где за год-полтора можно «жигуля» купить или дачку построить...

Вот как меня охмуряли.

А тут вдруг приезжает к нам с лекцией Клавка Завязлова. Лекция называется «Коренные противоречия в сельском хозяйстве США». Ну, мы за наш век приучены ко всяким «догоним и перегоним», «сияющим вершинам, которые не за горами», к «поступательному напору истории», «неизбежной смерти капитализма» и к прочей муре-завиральщине.

На лекцию насильно загонял колхозников участковый, который затем на повышение в Москву пошел.

— Не пойдете если,— говорит,— хрена с два машину получите картошку вывозить.

Как тут не пойти?.. Поддал с дружками и пошел.

А Клавка с трибуны так и просверливает меня глазами своими сексотскими и грудь с края трибуны свешивает, понося грязными словами американских фермеров-кулаков и правительство США.

Фермеры эти, доказывает, служат орудием американского империализма в деле обкармливания рабочего класса и интеллигенции продуктами питания с целью отвлечения их от мировой классовой борьбы. Кроме того, США пользуются временным недоеданием социалистического лагеря и развивающихся стран, которые тратят огромные деньги на защиту священных границ от наступления миллионеров и Пентагона на завоевания революции.

— Ихняя цель,— говорит Клавка бесстыжая,— наполнить наши желудки хлебом и мясом, чтобы на сытое брюхо забыли мы призыв товарища Ленина строить коммунизм на планете и за ее пределами.

То ли от самогонки, то ли от табачного дыма ни черта не понимаю лекцию.

А Клавка вдруг заявляет, что у нас есть секретные данные о том, что Рейген в плане крестового похода на коммунизм дал указание платить фермерам огромные деньги за уменьшение посевных площадей. Это, говорит Клавка, есть главное противоречие между колхозами и единоличными хозяйствами. Мы всячески вкладываем капиталы в развитие целины, чтобы прокормить строителей коммунизма, а Рейген, наоборот, призывает фермеров ни черта не сеять хлеб, чтобы задушить коммунизм голодом...

Встаю с места и возражаю:

— Как же так? С одной стороны, США хочет набить нам брюхо хлебом и мясом, которые мы у них покупаем, а с другой — Рейген пытается задушить нас голодом? Концы с концами не сходятся, товарищ Завязлова...

— Диалектику надо понимать, Зинка Степаныч. По диалектике все концы с концами сходятся. Вы вот возмущаетесь очередями в городе за продуктами. А партия учит, что очереди в стране существуют для того, чтобы в будущем их не было. Милицию и КГБ мы укрепляем по указанию товарища Андропова с целью отмирания карательных органов при коммунизме, когда уже совсем некого будет карать.

Засмеялся я такой лжи и продолжаю не верить, что правительство США платит деньги крестьянам за отказ сеять хлеб.

Сам я не раз прогуливал с похмелья и посевные и уборочные кампании, и деньги мне за это не платили. Но ведь меня призывали сеять, сеять, сеять. Мне наше правительство все уши прожужжало насчет всенародной битвы за хлеб.

— Где же,— спрашиваю,— логика?..

Тут Клавка перерыв объявляет законный. Народ продышаться повалил из клуба и частушки попеть с бабенками.

А Клавка наливает мне воды из красного служебного графина.

— Выпей,— предлагает,— Зинка.

— Кому,— отвечаю,— Зинка, а кому Степаныч.

Но воду пью, оказавшуюся, к моему удивлению, портвейном № 13. Клавка объясняет, что без портвешка лекций читать больше не может, так как большое напряжение нервов и ума требуется в разговоре с несознательным русским народом.

— Скажи,— прошу,— Клавка, всю правду. Неужели фермерам там платят доллары, только чтоб ни черта они не сеяли рожь с пшеничкой и не создавали переизбытка зерна в стране?

Клавка шепчет:

— Сюда иди... за мной, Степаныч... На все вопросы партия даст тебе сейчас могучий ответ... не бойся, дурачок...

Одним словом, двигает меня Клавка под стол президиума, где и обольщает недозволенными методами с применением обещаний назначить сторожем межсовхозной базы, где за полгода можно «жигуля» купить и домишко отгрохать...

Отвечаю, сопротивляясь насилию, что честный я человек, но правду лишь знать желаю страстно: платят фермерам за недород или не платят? А если платят, то как же понять колхозную нашу систему, где и премии за урожай дают, и героев труда вручают с орденами и путевками в развратные санатории, и посадить грозят за развал сельского хозяйства, а хлеб у нас что-то не родится и не родится? У США его покупаем.

Пока вопросы я излагал, Клавка успела снять с меня рабочие штаны и армейские кальсоны с завязками. Я был вынужден покорно вступить в связь с лектором обкома во время перерыва.

Она же начала немного погодя громко скрипеть зубами, кусаться, рычать, взвизгивать и царапать мою спину маникюром. Как тут было не потерять бдительность? Потерял. Я в этом деле заводной, о чем имеются положительные характеристики трех предыдущих жен, данные адвокату Генриетте Шварц.

Во время потери мною бдительности лектор Завязлова подняла истерический крик с хрипом, как это бывает с жадными до мужика дамочками.

На эти звуки прибежал участковый с парторгом и активом. Завязлова, поняв, что погорела, притворилась изнасилованной жертвой колхозно-полового маньяка.

Я был грубо снят с нее и отнесен в голом виде за руки и за ноги в отделение милиции, где меня зверски избили, требуя признания. Завязлова же применила шантаж с целью перевербовки в своего мужа.

Я гордо отказался, так как сам был фактически изнасилован и оболган.

В ту же ночь совершил побег, усыпив дежурного рассказыванием русских народных сказок.

Конечно, я понимал, что покоя мне не дадут карательные органы вплоть до коммунизма, когда они якобы сами собой отомрут. Путь у меня был один: разрушить ложь Завязловой по всем статьям.

Срочную службу проходил я на священной границе СССР с Турцией. Досконально знал систему патрулирования и перепады напряжения бдительности у личного состава погранслужбы.

В праздники у нас бежать или нарушить границу трудновато, хотя можно. Потому что халтура имеется даже в таком деле, как охрана границ СССР. То под балдой ходишь-бродишь с овчаркой. То дрыхнешь под кустиками с открытыми пристальными глазами. То онанизмом задумчиво занимаешься из-за неимения женского пола на заставе, кроме казенных офицерских жenuшек. До того дошли мы с дружкой Гоглидзе однажды, что хотели на Седьмое ноября в бардак турецкий сбегать и купить там девушек за десять ворованных на кухне банок тушенки.

Но Гоглидзе вовремя сказал, что турки свинины не едят и выйдет заминка.

Очковтирательство имеется также на границе. Командир заставы приказывает, бывало, огонь открывать вверх короткими очередями и собак дразнить, чтоб шибче лаяли. Потом отчет пишет о попытке группы идеологических контрабандистов пронести через священную границу антисоветскую литературу различных отщепенцев-невозвращенцев. Группа, мол, была отогнана нецелесообразным огнем. Захвачена книжная продукция в количестве 3000 страниц, включая портреты Солженицына...

Нас, понятное дело, на фоне знамени части фотографируют и письма пишут родителям с благодарностью за своевременное рождение бдительных и бесстрашных парнишек. Тушенкой свиной премируют, которую мы и отправляли в родимые места, где о мясе в магазинах забывать стали.

Короче говоря, человек я отчаянно-бесстрашный. Бегу на юг, одолжив у каждой из бывших жен по триста рубчиков под обещание возвратиться для новой семейной жизни.

Пробираюсь безлунной, мрачной ночью в район дислокации родной заставы.

Ветер. Дождь мелкий с тоской серой. В такую ночь бешеного диверсанта за большие деньги из Пентагона не выманишь. Не пойдет, хоть ты ему за вредность путевок в дом отдыха киноартисток предлагай...

Лежу в знакомой ложбинке. Английские слова про себя повторяю. Учили мы их с Гоглидзе, когда бежать хотели в Техас, где, говорят, большие деньги нефтяникам платят.

Сутки пролежал. Сухарики жевал с витаминами. Наконец Гоглидзе показался с кобелем Валетом. Завизжала собака, унюхав сухарики. Жрать ей хотелось круглые сутки, потому что Гоглидзе часть мяса из пайка собачьего на шашлык пускал.

Ласково подзываю дружка и собаку. Расцеловались на радостях. Тут я еще раз отвергаю категорически попытку прокурора пришить мне обвинения в гомосексуальных связях с Гоглидзе. Лобызаются же чуть ли не ежедневно члены Политбюро друг с другом на аэродроме? Лобызаются. Что же вы им не шьете педерастию?

Так и так, говорю, Валико, дорогой кацо, сбегать мне необходимо туда-обратно на полгода. Ко дню пограничника вернусь, даст Бог. Виски принесу тебе и машинку такую хитрую из Нью-Йорка, которая девушку заменить может в суровом дозоре. И прочую порнографию не забуду. Выручай.

Думать начал Валико. Долго думал. Потом говорит:

— Иди, Зинка, кацо, но принеси мне две машинки напряжением 220 вольт. Одна у меня здесь лежать будет, а другая в казарме. Кроме того, достань мне в ЦРУ десять портретов Сталина. Пошлю на родину. Там они идут сейчас по 100 рублей штука.

— Пятьдесят, — говорю, — портретов принесу, и слово мое — твердое. Ты знаешь.

Отметаю также попытку прокурора пришить мне попытку возрождения культа личности в погранвойсках.

Распили с Валико портвешку с одеколоном «В полет» из дозорной зачачки. Собаке дали чучок с сухариком, чтобы не дергалась. И пошел я прямо на американскую военную базу. Расположение ее было мне известно, так как прорабатывали мы взятие этой базы в случае освобождения Турции от власти капиталистов в новой мировой войне.

Встретили меня американцы прилично. Прибарахлили. Виски дали. Заплатили за мой визит в публичный дом. Причем не ругали, что плата была

двойная за перерасход времени и энергии девушки. Там с этим делом построже, чем у нас в районе. Вон — в сортире клубная лампочка круглые сутки горит, хотя сортир пустует ввиду нехватки продуктов питания в стране и начала продовольственной программы.

Прошу политического убежища у правительства США. Причину спрашивают. Общее, поясню, у меня недовольство коммунизмом в первой стадии, а в последней пускай дураки живут и партийная сволочь. Против колхозов протестую и полностью согласен жить не по лжи.

Хотел военные тайны выдать про священную границу на замке, но генерал сказал, что не надо ему ничего такого, потому что они сами все давно знают, а когда надо перейти границу, спокойно ее переходят. Я, конечно, жалобу просил передать в ООН от советских пограничников, которые служат в бесчеловечных условиях и годами с женским полом разлучены. Нажать просил также на турок, чтобы они не только антисоветчину подбрасывали нам книжную, но и сексуальные приборы с фотокарточками. Провел, в общем, общественную работу.

Затем переправили меня в США, где знакомый Шаповалов, которому я границу помог перейти лет шесть назад в период разрядки, автомехаником работал. Гарант он прислал.

Но от работы постоянной я отказался. Цели у меня такой не было, еще раз подчеркиваю, навечно покинуть родимую Рязанщину. Я только хотел лично проверить состояние дел в сельском хозяйстве США.

Месяцев за семь заработал столько, что на остальные полгода хватило от пуза и на жратву, и на виски, и на девчонок. Даже кар старый купил. Всю страну проехал на этом джипе. В казино один разок все доллары проиграл, но в Голливуде отмазался. Знакомый добрый, Саша Гринштейн, который завклубом у нас в деревне одно время работал и письма мне слал на родину, враз пристроил меня на съемки.

То есть я и не знал, что меня снимают, а просто баловался с двумя девушками сразу и потом в еще большей компании. Весело было, как в клубешнике на Первое мая.

— Да здравствует, — орал по пьянке, — международная солидарность трудящихся...

Потом Сашка показал мне этот фильм удивительный и денег дал целую кучу. «Рязанский медведь кое-что умеет...» — называлась картина, но я взял с Сашки слово не показывать ее в нашем клубе после продажи советским, потому что не желаю представлять перед земляком нагишом и с выпученными глазами. Про меня и так в районе слухок пошел, что я женилкой горшки цветочные с одного раза разбиваю... Зачем мне лишняя дурная слава?..

Английский язык мой приличным стал вполне, но с рязанским vacanzaем. Так что, когда попал я на ферму в Айове, то запросто болтал с Джимом Вайтом насчет картошки дров поджарить, колбасных обрезков и яичном порошке. Доярком у него поработал. На соломокопнителе погонял и на комбайне. Попахал слегка. Лошадей драил. И прочей работенкой не брезговал. Показал, на что способен русский крестьянин, когда парторги ему мозги не засерают планами-перепланами и трудовыми вахтами в честь свободы Анжели Дэвис.

Но при получении первой полочки говорю:

— Я столько не заработал, Джим. Не могу глотничать. На Рязани нам такую капусту за полгода не платят, а ты мне за неделю отвалил. Бери деньги обратно.

Ну, Джим шибко обиделся, и чуть-чуть драчка у нас не состоялась, но тут Сенди подросла и разъяснила мне и Джиму, что я социально дикий человек и обижаться не на меня надо, а на красную сволочь, которая доводит людей до потери достоинства и неумения за него бороться.

После этого я деньги взял, а Сенди пообещал участвовать в забастовке за прибавку зарплаты. На это Джим почему-то не обиделся.

Могу сказать, что цель свою я выполнил успешно. Полностью разобрался в проблемах переизбытка зерна в США и убедился, что правительство действительно приплачивает фермерам, лишь бы они не перевыполняли план хлебозаготовок.

Чуть с ума от всего узнанного не сошел. Дернул в одиночестве кружку «Белой лошади» и зарыдал во все горло. Страдальческая печаль остро прон-

зила, граждане судьи, мою крестьянскую душу, любящую народ и родную Рязанщину.

Рыдаю, вою просто-таки от глубокой обиды. До чего же вы, паскуды, спрашиваю, довели землю русскую, что рожать она хлеб почти перестала?.. Что вы с крестьянским трудом, паразиты партийные, сделали?.. Как же вы все машины с моторами в ненасытную генеральскую утробу гоните, а не на поля?.. Как жить вам не стыдно от факта выплаты американскому фермеру премий за недород хлеба? Вы бы с самолета поглядели на поля и луга Вермонтщины, куда с Рязани переселили вы замечательного писателя, сволочи. На лугах же этих коровам протолкнуться негде — столько их пасется разом и дойных и мясных. А башней силосных в Вермонте и в Айове моей побольше, чем ваших вонючих ракет в Европе...

Как вы мне жить дальше прикажете? Чтоб вы подавились своими лозунгами, проститутки зловонные... Да если б русский мужик так подоочно, как вы, относился к земле родной, то давно он от презрения к вашему разврату перебежал бы все священные-рассвященные границы нашей похабной страны и всю мировую целину двадцать раз освоил. И порядок, плачу, там был бы, мать вашу так, сволочи...

Одним словом, убиваюсь от всего увиденного в США и пережитого. В истерике бьюсь.

Неотложку-эмедженси вызвали даже. Джим говорит:

— Ты — фермер великий. Оставайся, я тебе земли выделю. Сам хозяином будешь. И девки наши от тебя без ума.

Тогда взял я в руки свое крестьянское сердце, сдавил его вот так... и отвечаю, что к легкой жизни не стремлюсь, но лишь к уважению души. Буду там, где сейчас трудно. Потом, Бог даст, изведется с лица земли моей красная пакость, и мы тоже заживем по-человечески. С партии и правительства «капусту» будем драть за недород, слив молока в кюветы, прокисание сыра и уменьшение размера кукурузных початков,.. чтоб мне все политбюро в гробу увидеть в молочно-восковой спелости...

Болели за меня на ферме. Даже сенатора вызвали уговаривать не возвращаться, ибо сгноят меня там и погубят ни за грош единственную мою жизнь со всеми крестьянскими способностями.

Но я ответственно заявил сенатору, что возвращаюсь, несмотря ни на что. Десять лет отсижу и — освобожусь на родине, а может, советской власти еще раньше коряга придет. Тогда и амнистия будет. Вся у меня надежка на амнистию.

Ну, а остальное просто было. Слово держа, которое Валико дал, поехал в Нью-Йорк. Сходил на 42-ю улицу. Купил там по случаю парочку электронных дамских хозяйств и запчасти к ним, потому что в СССР с запчастями весьма худо обстоит дело. Веселых открыточек прикупил для пограничников, чтобы не скучать им в дозорах. Жвачки также взял пузырящейся. Ее мы иногда у турков на боеприпасы выменивали, ворованные на маневрах военного округа.

Джим провожал меня в аэропорту имени Кеннеди, которого он почему-то не уважал, но по-христиански жалел. Пообещал приостановить поставки пшеницы советчикам, если они со мной жестоко поступят и не будут передавать передачи из Айовы.

Хорошее у меня прощание было с американцами славными. Хорошее. О разных приключениях, случившихся со мной при путешествии по США, я тут умолчу, потому что надо нам быть ближе к делу.

Могу только сказать, что подрался с дураком одним — членом американской компартии. Сам, гад такой, богат, как начальник ОБХСС, а мечтает о советской власти в Америке. Я ему говорю:

— Ты видел, дорогой Роберт, чтобы собака, скажем, гадила в свою миску с жирной похлебкой?

А он мне в нос портрет Сталина тычет нагло и вопит:

— Вот мне какой хозяин нужен, а не мещанская миска с похлебкой. Не одним хлебом жив человек!..

Ну, думаю, хитрый и мозговитый народ — грузины. И до штатов добрались со своими портретами. Похоже, что и цветы к рукам прибрали в Нью-Йорке — больно дороги гвоздики. Подумав так, двигаю Роберту в глаз — делаю клоуна. Кровь мне тогда в голову ударила.

— Падаль, — ору, — красно-говенная, из нас там полвека с лишним кро-вища хлещет со слезами и соплями, один хозяин отвратительней другого при-ходит, воровай на воровое сидит и взяточником погоняет, а ты тут с жира бесишься!

Роберт оборотку в скулу мою проводит апперкотом. Американцы в баре ставки ставят. Денег-то девать некуда. Чекисты еще не отняли. Покачнулся я, вид делаю, что в уме перекособочен. Еще пару ударов пропустил от коммуниста. Затем еще разок бью в другой глаз — второго делаю клоуна.

— Это, — говорю, — тебе за Родину мою многострадальную от дел социализма... А это... в носопырочку... за Сталина... Прошу — в брюхо... за развал сельского хозяйства в стране... Еще разок в носопырку... за медицину бесплатную, что Высоцкого спасти не могла и еще, наверно, пригробила немножечко...

Ну, Роберт — с копыт. Мне половину выигрыша вломили. Больше, чем Кобзон за гастроль получил. Потом в полиции отбалакивался. Начальник сказал, что хоть он лично фашизм уважает, но в Америке — демократия, и он не позволит из американцев клоунов делать даже за коммунистические взгляды.

Чуть не судили, но Джим пригрозил Роберту, что наведет порядок в его городке с переделкой деловых удач в экономический кризис, и Роберт порвал билет партийный.

— Спасибо, — говорит, — Джинка. Ты меня кое в чем убедил. О'кэй. Но нам не хватает хорошего хозяина. Нам без хозяина трудно.

Объяснил я напоследок, что дубина он стоеросовая, потому что в России несчастной только и мечтает каждый крестьянин да и работяги с начальниками, чтобы дозволили им похозяйствовать по-человечески, без разнарядок от вонючих обкомов и главков.

В общем, лечу обратно в Турцию. В США это просто. Отдал в консульство рыло три на четыре, визу получил — и валяй в небо на «Боинге». Никто ничего не выпрашивает у тебя. Характеристик не требует. Инструкций, как вести себя в Турции, не дает...

Прилетел в Стамбул. В отеле в черный цвет волосню покрасил. Усы прикрепил, чтобы на турка быть похожим. «Опель» взял напрокат. Еду себе потихонечку к горе Арарат поближе. Дурак, думаю, был Ленин. Половину такой исторической горы армянской отдал басурманам...

«Опель» притырил в одной деревушке. Поближе к границе подобрался. В подозрную трубу гляжу на нашу священную границу. День прошел — не выходит Гоглидзе в наряд и не выходит. Может, тоже свалил в Париж к дальним родственникам?..

Лежу себе в масклате притыренном, виски похлебываю, и охота мне на Родину, в Рязань, возвратиться, и страх берет. Засудят они тебя, Зинка. Дадут за изнасилование Клавки Завязловой с двойным нарушением границы лет пятнадцать — и прощай, молодость, с перспективой четвертой женитьбы на бабе с умом и душой. Вертай, Зинка, обратно в Айову. Нет, отвечаю себе, честь обязывает меня возвратиться и выступление сделать в клубе с трибуны о правде замечательной крестьянской жизни в Америке и борьбе фермеров с высокой урожайностью. Обязан. А потом — будь, что будет. Где наша не пропадала?..

Еще денек — и повернул бы обратно в Айову. Попадать в руки новобранцев-салаг было мне нежелательно. Эти за внеочередной отпуск так тебя разделяют еще до предварительного следствия, что смертная казнь избавлением покажется. И собаки искусают с голодухи.

Но тут вышел наконец Гоглидзе. Я ему условленно просигналил фонариком. Он напарника спать уложил побыстрее, а я к полосе пополз с подарками на хребтине.

Обнялись, понятное дело. Обмочил я по старой традиции патриотической струю столб пограничный с гербом колосистым. Гоглидзе сразу машинку с 42-й улицы рассматривать бросился. Жаль, говорит, что на батареях она не работает. Облегчило бы это нашу службу с напарником, а то мы тут с ним от скуки педерастами заделались. Из Мордовии парень.

Виски хлебнули со старым дружкой. Колбаской из магазина еврейского на Брайтоне закусили. Рассказал я Гоглидзе всю правду об Америке. Он и забился в корчах от зависти и ненависти к родной советской власти.

Все хорошо было бы, но поверяющий неожиданно появился. Собака учуяла его за три версты, потому что относилась к нему как к врагу своему злейшему. Бить приказывал псов, чтоб злей были с родом человеческим при задержании.

Я, как верный друг и товарищ, мгновенно решаю все брать на себя. Гоглидзе маневр понял. Стреляет вверх. Я кидаюсь на него, собака — на остаток колбасы полтавской и сандвич с гамбургером. Боремся, рычим, царапаемся... Напарник проснулся, подоспел, и я с ними двоими начал бутузиться. Пальбу подняли ребята, но Гоглидзе успел-таки притырить машинки половые в пограничный тайничок, где хранили мы гашиш контрабандистский и прочие подарки нарушителей границы, включая антисоветскую литературу.

Ведь если, граждане судьи, даже министры у нас воруют и под расстрел идут, если дочка брежневская под крылышком своего генсека бриллианты у народа хапала, то чего же пограничникам быть в стороне от жизни? Мы тоже по-своему химичили и химичить будем, пока, согласно решениям Маркса — Ленина, не уничтожат границы между государствами при коммунизме.

Ну, Гоглидзе попросил ребра ему заодно поломать как следует для демобилизации. Я, естественно, переломал, но невзначай печенку задел слегка. Он и упал бездыханно, за что, говорят, получил орден Красной Звезды. Но от следователя я узнал, что сразу после выздоровления друг мой Гоглидзе перешел границу вместе с напарником из Мордовии и получили они убежище в США.

Вину за это тоже беру на себя, потому что успел я рассказать Гоглидзе, как свободно гомосеки живут, например, в Сан-Франциско. Живут себе, дружат, и никого это не касается. Журналы издают. Общества имеют. На демонстрации против войны выходят и, бывает, всей семьей идут воевать за свободу и демократию. Признаю вину за такую агитацию.

Все я вам рассказал тут как на духу. Приговора вашего не признаю — хоть режьте вы меня. Завязлову требую судить за изнасилование меня под столом почетного президиума во главе с политбюро. И делаю сейчас всенародное заявление: если меня не расстреляют, все равно сбегу на Рязанщину и выступлю в родном клубе с докладом о поездке в США. Граф Монте-Кристо сбежал из замка, а я и подавно сбегу. Будьте уверены, земляки. Правда путешествует без виз.

Сэнк ю вери матч, как говорится, ю велком к нашим тюремным тарелкам...

ПОХИТИТЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ

Попов совместно с несовершеннолетними Бондаревым (16 лет) и Синицыным (15 лет) вечером угнали со двора автомашину «Волга», принадлежащую гр-ну К. Несколько часов они катались на машине, а потом, по предложению Бондарева, похитили из автомобиля радиоприемник и инструменты, а машину сожгли.

Последнее слово подсудимого Попова

Граждане судьи, я не собираюсь выгораживать себя в том смысле, что не являлся главарем нашей компании. Раз я старше моих однодельцев, значит, на мне особая вина, и я готов понести за нее наказание.

Мои однодельцы пускали тут нюни, били себя в грудь кулаками и, в общем, всячески вымаливали снисхождение. Я бы тоже был бы рад получить на пару лет меньше, но желаю сказать в последнем слове то, о чем умалчивал на следствии. Все равно следователь не внес бы моих мнений в протоколы допросов. Ему главное было так дело повернуть, что вот, дескать, попались в руки прожженному совратителю бедных овецк очередные жертвы, и он использовал на полную катушку ихнюю невинность. Вот и все.

Нет, граждане судьи, не все это, к сожалению. Я не услышал ни от прокурора, ни от защитника полного понимания нашего преступления. То есть все тут распинались насчет движения нашей страны к коммунизму и о самоотверженном труде всего народа. Делал сообщение прокурор о моральном облике комсомольцев, к которым я не имел никакого отношения и пачкал комсомольский билет пьянками, драками, пока не докатился до уголовного преступления...

Даже интересно было наблюдать с этой скамьи, как настырно обходили все вы разговор о дознании насчет того, как мы докатились до посягательства на личную собственность гражданина Кротова и в каком были при этом настроении...

Я вижу на сегодняшнем заседании в первом ряду сотрудника газеты «Комсомольская правда» гражданина Грибачева. Во время следствия он приходил в тюрьму и беседовал со мной. Вернее, не беседовал, а делал внушение, как мне следует мотивировать свое преступное поведение.

Он внушал мне следующее. Ты, Попов, должен понять, что мы живем в эпоху идеологической войны с империализмом. Ты пал на поле этого жестокого боя, не выдержав вражеской подрывной пропаганды. Это на войне бывает. И мы считаем тебя не врагом, а жертвой. Ты у нас не один такой морально ослабленный разными джинсами, «голосами», роками, жвачкой, кассетниками, алкоголем и наркотиками. Одни битлы нанесли нам в борьбе с империализмом такой урон, что мы до сих пор не можем найти противоядие против ихней заразы. Хотя Джона Леннона убил, наконец, сознательный юноша, не выдержавший аморальных песенок молодых миллионерчиков, которые отвлекают простых молодых людей доброй воли от классовых боев прогрессивного человечества с жадными монополиями США и Общего рынка. А раз ты, Попов, жертва на поле боя, то мы тебе поможем встать на ноги и превратить мурло мелкого низкопоклонника Запада и воришки в комсомольское выразительное лицо помощника партии. Я, говорит гражданин Грибачев, статью о твоём деле тиснул, потому что в редакции много накопилось жалоб на акты вандализма со стороны нашей молодежи, ослабленной идеологической диверсией разных похабных «голосов» и особенно радиостанции «Свобода». Подобные тебе комсомольцы, которым жениться давно пора, околачиваются на танцах или проигрывают получку в карты, надеясь разбогатеть в игре и поехать в Сочи с девицей легкого поведения. Такие, как ты, только из-за желанин пропустить еще рюмку водки, проламывают череп прохожему и, не найдя у него в кармане ни копейки, идут убивать и грабить следующего. Я писал месяц назад о деле убийцы Лобова. Он чистосердечно поделился с читателями «Комсомолки», что решающее воздействие на его поведение оказали передачи «Голоса Америки» о быте, развлечениях и социальных возможностях молодежи Запада. Позавидовал Лобов тем, кто за недельный заработок может купить себе без очереди стереосистему «Сони», и зверски убил артиста цирка, когда тот привез из загранкомандировки несчастный магнитофон. И Лобова не расстреляли, а дали возможность честным трудом загладить свою вину перед коллективом цирка и остальной Родиной. Вот и ты, Попов, вскрой по-комсомольски причины своего преступления с поворотом в сторону выведения родинки капитализма и развратного времяпровождения. Смело вскрой, а я все это опишу, и суд учтет, что ты являешься очередной жертвой безжалостной американской пропаганды. Ведь самобрази: разве пошел бы ты на преступление такого рода, если бы не слушал тайком от советских людей вражеского радио? Никогда не пошел бы. Поверь старому журналисту. Я сотни преступников повидал из молодежи. Все они так или иначе попали под влияние уровня западной жизни и вынесли ему свой приговор после ареста и осознания вины. Подпиши свои откровенные вскрытия для моей статьи и считай, что года на три получишь меньше.

Прочитал я статейку этого Грибачева. А он такой там бодяги натискал, что я отказался ее подписывать. Потому что я радио заграничное вообще никогда не слушаю ввиду отсутствия радиоприемника и еще потому, что умные люди в камере посоветовали подалеже держаться от всяких статей прохиндеев из газет. Они себе, сказали, выколачивают свои бабки, то есть денежки, поворачивая наши дела в сторону обвинения Запада, и всем это очень удобно. Нет, мол, у нас в стране с семнадцатого года никаких причин для преступления молодежи — и до свидания.

...Перехожу к прямой причине преступления. Кротов живет в нашем же доме. Работает директором бани. Какой вроде бы калым можно иметь с грязных граждан и стирки белья нательного?

На какие, спрашивается, денежки отхапал себе Кротов дачу с целым парком и с теплицами? Он ведь нанимал нас весной за пару бутылок огород вскапывать, забор красить и так далее.

Может, кто по радио узнает, как живут буржуазные деятели, а я своими глазами познакомился с жизнью советского буржуа. Разве не видят люди

во дворе, что Кротов раз в два года машины меняет и все «Волги»?.. Разве не видят, как гуляет он с компанией до утра? Бутылки-то он нам поручает сдавать за то, что машину ему моем. В самой машине я лично нашел однажды восемь рублей на полу. И не хватился их Кротов...

Ну, это не мое дело — вскрывать тут источники доходов Кротова. Скажу только, что ненавидеть я его стал так сильно, как отец мой во время войны Гитлера ненавидел и как газетчик хитрый Грибачев призывает нас ненавидеть империалистов.

Почему я ишачу токарем пятого разряда, ишачу, а получки еле-еле хватает на пачку сигарет, матери на жратву и в кино пару раз сходить? Если пару бутылок разопьешь с корешами, то уже одалживать приходится до следующей получки. С получки раздашь все долги и лапу сосешь. Ходишь, как оглоед, по двору, бычки сшибаешь или к мебельному идешь подхалтурить пятерку на подхвате. Кое-кто у нас воровал, но попался. Я же воровать не желал, чтобы мать не расстраивать, и вообще на свободе симпатичней, чем в тюрьме, даже если денег нет на кино и приглашение девушки в закусочную «Романтики».

Вот Грибачев говорил мне в тюрьме во время своей лживой проповеди, что я жениться не желаю, а околачиваюсь на танцульках. Правильно. Как мне жениться с моей зарплатой в сто десять рублей минус вычеты? То есть мы не подошли бы, конечно, с голоду с Таней или Аней и детей нарожали бы, но ведь не в совместной жизни дело, граждане судьи, а в том, чтобы ее начать. А как же ее начнешь, если денег у тебя нет ни черта на представительство? Ведь если в наше время Олю или Полю не поволокешь с первого раза хотя бы в шашлычную, то второй раз она с тобой даже в мавзолей Ленина не выйдет, не то что в парк на свидание. Значит, все дамское общество разобрано по рукам мясниками из гастрономов, женскими парикмахерами, таксистами, ворьем разным из металлоремонта, автослесарями, официантами и фарцовщиками. У них — бабки, то есть деньги, а значит, и никаких трудностей с Кисами или Ларисами.

Фарцевать я тоже отказывался. Не по мне барахлом торговать вшивым. Я — человек рабочий в принципе и не вор...

Но в тот раз все так сложилось, что должен я был «Волгу» эту проклятую угнать. Вот какие привели к этому обстоятельства. Познакомился я в метро на проспекте Ленина с батоном одним, то есть с девушкой. Тамара. Лицо заметное. Говорит неглупо и не заикается, как иногородняя телка. Сапожки. Дубло болгарское. Сумка джинсовая. Чувствуется, что понимает человек, что к чему в наше романтическое время. В людях тоже неплохо на первый взгляд разбирается. На одежду мою внимания не обратила. То есть если меня представит хипповым парнем, то я, что называется, хожу в стиле. Пальтунчик с просветом в локтях, воротник пошел в бахрому, пуговицы на соплях болтаются. Брючки засалены. Свитерок трещит, как жестянка. Чего его стирать? Мыла на такой жалко. Полуботинки... Не стоит их описывать. Личность, то есть внешность, у каждого, как у Кротова после недельного запоя. Опухли, и подошвы вроде зубных протезов причавкивают на ходу. Меня и туристы не раз за хиппи принимали. Снимки делали. Руку жали. Сигареты предлагали и жвачку. Но я подачки презираю, поскольку я — человек рабочий...

Но если бы Тамара сообразила тогда, что не хиппи я, а просто молодежная шаромыга без перспектив на сладкую жизнь, то, конечно, отшила бы меня в метро с полуслова. А так, в сочетании с красивым, как видите, лицом, я обычно производил впечатление на телок, то есть на девушек.

Один раз дочь маршала закадрил на неделе испанского кино, где мы билеты бодали, то есть продавали. Влюбилась с ходу. Бросается на меня, как Матросов на пулемет. На день рождения пригласила. Прихожу. Плевать мне, думаю, на ваши костюмчики и галстучки. Одежду в конце концов украть можно, а красоту ни за какие деньги не купишь... Нелегко, граждане судьи, быть с таким настроением на дне рождения у маршальской дочки. Надрался я, чтобы не испытывать неловких чувств. Подводит меня Эльвира к папане.

— Здравия желаю, — говорю, как положено бывшему ефрейтору.

В майке был папаня американской и в брючках маршальских. Посмотрел на меня, поднес полстакана водки, ошибаюсь, коньяку и вдруг приказывает:

— Чтоб я тебя, прохиндей, до третьей мировой войны в глаза не видал! Кррругом аарш!!

Слинял я весело, но с похмелья очень унывал. Затем поступил подло. Отомстил Эльвире за папаню. Грязно отомстил. Легче мне, однако, не стало.

Честно говоря, я и другим телкам, то есть девушкам, мстил за ту историю. Беру свое и бросаю их. Делаю вид, что недоступен я для них, как граф Монте-Кристо. Сам же нервничаю просто жутко. Мать не знает, что делать со мной. Извелась вся. Костюм хотела шить мне. Бабки, то есть деньги, взяла в кассе взаимопомощи. Но я пошел отрез покупать, не нашел ничего приличного и, разумеется, все деньги пропил. Плевать, думаю, раз батоны, то есть девушки, липнут ко мне, как мухи, несмотря на занюханность шмутья. Буду пользоваться тем, что есть.

Чем, соображаю тогда в метро, привлечь мне для пущего понту Тамару? Голыми руками такую Элизабету Тейлор не возьмешь. Тут на греческом профиле не проедешь и на размахе плеч куша не сорвешь.

План родился мгновенно.

— Если бы,— говорю,— «Волга» моя не была на техосмотре, то и не встретились бы мы с вами вовек. На земле,— говорю,— такие существа не встречаются. Слава подземному царству метро имени Ленина.

Язык у меня всегда был подвешен, словно хобот у слона. Всю основную работу за меня делал.

Вижу, что после слов о «Волге» затрепетала Тамара. Тут уж ничего не оставалось делать...

В субботу Кротов надрался как обычно. Гараж я открыл спокойно, хотя с замком повозился. Машина была не заперта. Соединил напрямую провода зажигания. Выехал. Гараж закрыл. Тамара ждала меня на проспекте Маркса. Двадцатку я одолжил у приятеля. Он врач. Вместе учились. Прокатил Тамару по центру.

— Поедем,— говорю,— ужинать в «Поплавок». Ужин скромный будет. Я на бегах проигрался. А денег за статью еще не получил...

— Ах, так вы журналист?

Молчу с большим значением.

— Вы выездной?

— Бывало,— говорю,— выезжал, но теперь отозвали в связи с недостатком специалистов по молодежной теме.

— А где вы были, Алексей? Это так интересно... это ведь такая необычная жизнь.

— В Америке,— говорю,— был.

Тут же заворачиваю за угол... Торможу...

— Но там,— продолжаю,— таких, как ты, не встретишь, хотя есть чуви-хи что надо. Врать не хочу.

Поцелуи, слова, приемник включил на всю мощь: на «ты» переходим.

Приятно, граждане судьи, побыть хоть немного в шкуре преуспевающего выездного. Все забыто. Вру на парусах все, что в голову взбредет.

— Не женюсь,— говорю,— по причине отсутствия представительной подруги. Жажду, чтобы она внешне была парижаночка, а внутренне наш советский, милый человечек, на которого положиться можно в сложной журналистской житухе...

Тамара уже сама меня целует прямо на ходу, давая понять, что она не подведет. И действительно, думаю, с такой ланью не стыдно показаться на приеме в любом посольстве и в редакции «Нью-Йорк таймса». Хороша лапочка... В «Поплавке» сидим.

— Не пей,— говорит,— лапа, за рулем.

— У меня,— отвечаю,— номер особый. Мою тачку не останавливают. В нашей работе уметь надо пить за рулем. Выьем давай, лапуля, за двух дружков моих. Плохо им сейчас там. Очень плохо. Если читаешь газеты, должна знать, о ком идет речь. Плохо им. Плохо...

Я нагло намекал тогда на арест наших двух шпионов в Штатах, которые с поличным попались.

— Ни о чем не расспрашивай,— говорю.— Горько мне. Наливай. Шашлык еще закажи.

— И с тобой это могло случиться, лапа? — спрашивает моя дама.

— Могло,— говорю.

Тут она танцевать меня тянет танго, давая понять телодвижениями, что насчет ожидания и передач в тюрьму я могу не беспокоиться.

— Бедная лапа,— шепчет ласково, уверенная, что любит меня до гроба.— Бедная лапа...

А я и на самом деле бедная лапа, хотя и по другим причинам. Жить, бывает, неохота, когда выходишь ты из моря беспардонной лжи и ясно тебе, что не выездной ты везунчик судьбы, а темнила нервный и зачуханный рабочий класс. И что в любую минуту могут тебя взять за заднее сиденье на глазах милой лапочки и турнуть в «раковую шейку». Тачка же твоя возвратится в руки законного владельца Кротова, и никто у него не спросит, на какие деньги куплена машина человеком с зарплатой 140 рублей в месяц. Ты же должен двадцатку приятелю и с полочки опять будешь лапу сосать.

И такое зло меня вдруг забрало и на лапочку эту, которая готова в ресторане под тебя лечь за одно только обстоятельство твоей жизни, а именно — выездной журналист с машиной, и на себя самого, что и водка мне не мила стала, и шашлык карский, и предстоящее удовольствие где-нибудь на десятом километре в молодом ельничке.

Отвез я домой Тамару.

— Статью,— говорю,— кончать надо о моральном разложении молодежи на одном заводе. И вообще я расстроен провалом моих друзей в проклятой Америке, век бы мне ее в глаза не видеть...

— Звони, лапа, я уже без тебя не могу...

— Позвоню,— отвечаю.— Прости...

Только в тот раз подъезжаю к гаражу, смотрю, подходят ко мне Бондарев и Синецын. Час ночи был. Они сами, чего не отрицали на следствии, хотели угнать машину у Кротова. Ну, мы не стали заводить ее в гараж. Поехали кататься и допивать.

Я за рулем в армии всегда пьяный ездил. Привык. Одеколону пузырек шлепнешь и ждешь своего генерала у штаба целый день.

По Москве просто так гоняли всю ночь. Бензин к концу подошел, а ключа у нас от бензобака не было. Заехали на остатках на какую-то стройку недалеко от дома. Я хотел уйти, но Бондарев предложил замести следы, машины ведь очень часто уводят на запчасти и вообще, а поэтому надо вынуть приемник импортный, а тачку сжечь к чертям. Эта мразь Кротов еще одну купит и страховку получит.

Честно говоря, я уже был пьян и ненавидел себя за ложь, запутанность и неудачную жизнь. Я ведь тоже мог быть врачом и «бабки» приятелям одалживать. Всех я ненавидел. Хорошо, что Тамары под рукой не оказалось. Перепало бы и ей, как маршальской дочке Эльвире...

Взломали багажник. Взяли набор импортных инструментов. Приемник вынули. Спикеры сняли. Расплачусь, думаю, с долгами и пойду в медицинский институт, а потом в гинекологию и там уж подыщу себе верную подругу жизни, чтобы не за положение меня обожала, а от души вплоть до нашей бедности...

Бензобак вскрыли. Я бензинчику засосал. Налили в банку. Капот и кузов опрыснули. Камень грязной обмотали. Смочили. Отошли подальше. Подожгли тряпку. Кидал камень Синецын. Очень ему этого хотелось. Страшно весело стало, когда «Волга» вспыхнула... И ни капли не жалко...

Если бы не идиотина Бондарев, нас ни за что не нашли бы. Деньги за стереосистему мы поделили примерно поровну, так как я все же старший товарищ и недаром первыми иду по делу.

На судебных заседаниях целых два дня много было сказано насчет нашего вандализма. Как это не совестно было нам угнать машину, ограбить ее и, кроме всего прочего, облить и поджечь. Мало того, мы еще плясали, словно варвары-язычники, как сказал прокурор, в отсветах зловеще-преступного пламени...

Да. Плясали. Нам со школы вдалбливают в головы, что в стране у нас все посвящают свои жизни борьбе за коммунизм и что главная цель человека — внести вклад в общество. У нас, мол, не то, что на гнилом Западе, где каждый только и думает с утра до вечера о наживе и сверхприбыли. Где люди ошалели в погоне за твердой валютой, потеряли облик человеческий и грызут друг друга глотки.

Может, и грызут. Я там не был. Спрашивается: почему только до сих пор не перегрызли, как у нас в гражданскую и в коллективизацию?..

Я хочу сказать о другом, даже если за мои слова получу лишнего.

Не замечал я в нашей советской жизни такого факта, что каждый почти человек живет не для себя, а для общества и с пеной на губах, как утверждает высокооплачиваемая проститутка Грибачев, строит коммунизм. Но я вижу, как со стройки коммунизма каждый волокет к себе в конуру все, что под руку попадет.

На Западе хоть откровенно и открыто зарабатывают бешеные бабки и обдумывают, как их заработать. У нас же под всякими ширмочками и разговорчиками развелось столько профессионального вора, что редко встретишь человека, который хоть что-нибудь не схимчил бы на службе. Который хоть как-нибудь не наваривал к получке несколько червонцев, а иногда и сотен, вроде Кротова. Спросите у него: какой навар может быть в бане? Может, он грязь нашу собирает в отстойники и владельцам огородов продает на удобрения? А те пучок лука гонят на рынке по рублю.

Я бы тоже мог волочь с завода и инструмент и дефицитные материалы, но я, подчеркиваю, человек рабочий и красть ничего не хочу.

И меня зло берет смотреть на развратную жизнь некоторых слоев общества, ярким представителем которых является Кротов. Я себя обманутым чувствую и полной социальной скотиной. Я себя униженным чувствую, когда смотрю по телику одно, а в жизни вижу другое. Я на заводе план на 150 процентов выполняю, между прочим. Загляните еще раз в характеристику.

Но что я вижу глазами рабочего молодого человека? Я вижу, что чем самоотверженней становится наш труд, тем жизнь дорожает, жрать нечего и в мозгах населения накапливается великое отупение.

Но я также замечая, что Кротовы, наоборот, обогащаются каким-то образом и что не видать в последнее время в газетках статей о разоблачениях вора в торговой сети, в сфере обслуживания, о взяточниках всех рангов и советских буржуах. Почему? Не на них ли, не на ворье ли этом, держится все государство, а мы работаем на его вооружение, на откармливание маршалов и генералов и содержание продажной милиции? Почему вы судите нас, мелких пакостников, а о преступлениях депутатки Верховного Совета Насридиновой или грузинского секретаря Мжаванадзе не говорите ни слова? Что, на них законы, что ли, другие созданы и находятся в секрете от народа? Может, суды их особые судят и отбывают они наказание в особых тюрьмах улучшенного типа?..

Не улыбайтесь, граждане судьи, и не щерьтесь ехидно, гражданин прокурор. Когда-нибудь вам придется ответить на вопросы, подобные моим, но только сидеть вы будете на моем месте. И мы вам сделаем снисхождение. Потому что мы уже сейчас знаем лучше, чем вы, что судить надо не случайных преступников, вроде нас, а всю проворовавшуюся систему, в которой, как рыбы в воде, ошиваются кротовы, а я — рабочий человек — не могу зарабатывать деньги на то, чтобы без ущерба для питания и одежды сводить девушку в ресторан и показать себя способным на создание своей жене содержательной жизни... И я нисколько не раскаиваюсь в том, что плясал, как варвар, в зловещих отблесках огня подожженной нами «Волги» директора бани Кротова.

Спасибо за внимание.

ЖАК КУСТО В КОНЬЯКЕ

...Фалин, используя служебное положение, похищал с заводобазы «Азербайджанвино» коньяк и перепродавал его частным лицам по демпинговым ценам...

Последнее слово подсудимого Фалина

Граждане судьи, предварительное тюремное заключение, то есть тюремная жизнь, тюремные прогулки, тюремный досуг, тюремная пища и так называемые оправки пошли мне, как личности с широким кругозором и интересом к прогрессу XX века, исключительно на пользу. Большое спасибо органам внутренних дел, где отчасти командует зять покойного товарища Брежнева, за отлично разработанный режим дня и суровую, скромную атмосферу камеры, в которой лучше, чем в гостинице «Москва», оглядываешь пройден-

ный путь и ужасаешься его полной разбитости, а также царству непроезжих колдобин.

Перебрал я там по косточкам как свои отрицательные поступки, так и положительные нюансы легкомысленного поведения. Навел, как говорится, цыганский баланс существования. Подбил бабки. Щелкнул бухгалтерскими счетами, которые презирал всю жизнь в силу размаха душевных и физических сил.

Жесточайшим образом осудил сам себя за принципиально бессердечное отношение к временным усладам сердца — Галине Ж., Элле А., Тамаре Б. и к некоторым другим, чьи фамилии не стоят того, чтобы вносить их навек в бессмертные протоколы нашего с вами интимного судебного заседания.

Но, пользуясь случаем, желаю воспеть имена Ирины Н., Ольги Ш., Натальи С., Людмилы Б. за их героическое внимание к тщательно изолированному от сношений с внешним миром одинокому подследственному мужчине.

Это о них, граждане судьи, великий поэт, неравнодушно относившийся к работе советских пожарников, искренне воскликнул:

Коня на скаку останавлият,
В горящие избы войдут...

Нетрудно вообразить, сколько сил, средств и унижения женственности понадобилось моим вернейшим подругам для того, чтобы во время резкого ухудшения снабжения населения нашей родины необходимым продовольствием суметь наладить мне передачи так называемой рецидивистами «бациллы», то есть масла, сала, ветчины, корейки, колбасы, чеснока и клюквы в сахаре, которая нынче не часто перепадает супругам секретарей даже обкомов партии.

А теперь могу с чистым сердцем заявить: да, да и еще трижды да — виновен в хищении у «Азербайджанвина» количества коньяка в особо опасных для государства и партии размерах.

Да, проводил я хищение в течение трех безнаказанных лет с применением технических средств, наглым цинизмом и организацией подсобного персонала, как-то: сборщиков пустой посуды, разносчиков, продавцов, закупорщиков пробок, поддельвателей коллекционных этикеток и так далее. Все это так.

Но спросили ли вы, что именно подтолкнуло меня поначалу к монтажу подземной трубы, ведущей от главного вместилища заводобазы к приемному пункту за охраняемым забором, находящемуся в подведомственной лично мне пожарной водокачке? Не спросили.

Может быть, вы спросили о том, что опять-таки придало мне сил для прокладки в одиночку (в одиночку, граждане судьи!) подземной траншеи? Тоже не спросили. Но ведь я трижды засыпан был грунтом, залит случайно задетой обушкой канализацией; чудом, можно сказать, спасся, заработал смещение радикулитных позвонков и в полном смысле слова носом землю рыл.

Технических средств я не крал, должен заметить, но на свои личные сбережения приобрел у неизвестного лица из НИИСРЕДМАШа мотопомпу. Нержавеющие же трубы достал за взятку у другого неизвестного лица с мусульманским акцентом нужного диаметра. Без взятки же не видать мне было, как своих ушей, ни листового дюралюминия, ни титановых бачков с космического предприятия, ни распределителей от спутников Земли, ни пластмассовых флянцев и много другого, вызванного плохим снабжением населения запчастями для приусадебных участков.

А разве не совершил я по-своему героического акта, когда во взятом напрокат у военного спасателя атомных подводных лодок, чью фамилию напрочь не помню, сверхсекретном костюме-скафандре с полупроводниковым намордником и в лаптах с мини-моторчиками на пятках три часа нырял в гигантское вместилище коньяка, но приспособил все-таки трубопровод для своих преступных, но во многом благородных целей?.. А?..

Век свободы не видать, граждане судьи, но никакому Жан-Жаку Кусто не снилась такая подводно-коньячная эпопея, то есть одиссея. Это ему не Эгейское, так сказать, Красное море. Работать приходилось на ощупь в крошечной тьме крепостью сорок с лишним градусов, натываясь на дубовые чурки, ускоренно вбирающие в себя сивушные масла и сокращающие выход пятилетнего коньяка на четыре года. Тут мы далеко обставили знаменитую

своими коньяками Францию и установили мировой рекорд установления коньякостарости...

Конечно, для работы я использовал по совместительству свою рабочую вахту начальника пожарной охраны заводобазы. Но вся работа была выполнена мною с замечательными сверхстахановскими показателями, благодаря личной заинтересованности в деле. Вот где ключ повышения эффективности.

Я, можно сказать, без шума на весь Советский Союз установил трудовые рекорды по прокладке подземных коммуникаций, монтажу конструкций и работе во вредной для жизни окружающей среде. К тому же, как и все у нас, с горечью об этом заявляю, секретный намордник оказался с недоделками, и я испытывал чувство глубокого похмелья почти трое суток. От протечки скафандра тело мое впитало в себя коньячные пары так, что впоследствии, держа брандспойт, тряслись без былой твердости руки, а в глазах появилось частично-стойкое окосение зрачков. Но это — дело прошлое. Я, как и весь наш народ, прощаю родному среднему и тяжелому машиностроению брак в работе и дальнейшие недоделки...

Я почему так подробно на всем этом остановился? На следствии мне было отказано во внесении в дело подробностей. Некультурно отказано.

«Похищал?» «Похищал». «Организовывал?» «Так точно, гражданин следователь...» «Развращал торговую сеть?» «Не развращал, но смущал». «Вот и пошел к чертовой бабушке в карцер за просьбу о подробностях и клевету на советскую власть!.. Вот и все...»

Нет, не все. Раз дали мне последнее слово, то спасибо нашему передовому правосудию. Я его сейчас использую на всю катушку и халабалу, как говорят рецидивисты.

Так что же в конце концов толкнуло меня на преступление и диверсию против борьбы товарища Алиева с воровством в «Азербайджанвине» и других республиканских организациях? Жажда наживы? Нет. Конфисковано было у меня всего 877 рублей деньгами, семь ондатровых шапок (я их уважаю), мопед «Ява», диван, обитый крокодиловой кожей, вывезенной Настей Ф. с Кубы в период жестокого преследования этих ящеров Фиделем К., да патефон рождения 1940 года. Прошу его возвратить, так как подарен он был папе и маме на день моего рождения, а радиолы я не уважаю. Как сказал поэт, «пластинка должна быть хрипящей»...

Итак, не жажда наживы, поскольку мог я иметь и дачу в Крыму, и дом под Москвой, и пару машин плюс миллион, зарытый на кладбище, как у Рустама Ибрагимбекова, бывшего директора «Азербайджанвина».

В отличие от него мною руководила гражданская жалость и мужественное сострадание к народу — строителю светлого будущего.

Поначалу прибегает ко мне соседка. Лица на ней нет формально и фактически.

— Выручай,— говорит,— Петя. Иван Игнатьевич в приступе жабы, весь город на такси объездила, сто двадцать рубчиков прогоняла, валидола с нитроглицерином найти не могу. Ни в одной аптеке нет. В больницах тоже пропал, словно мясорубки. В Афганистан и в Польшу, говорят, весь отослали. И коньяка нету в магазинах... Выручай... За деньгами не постою...

Я резонно отвечаю, что коньяка в доме не держу, а уважаю чистый спирт, который, к сожалению, вылакал с Зоей В. и с Зиной У.

Анна Ивановна — на колени.

— Принеси с базы, сосуды расширить Игнатьичу моему дорогому и единственному. Десять лет отбарабанил ни за что, неужели ж подышать теперь ему от недостачи в стране валидола?..

— Это будет,— заявляю сурово,— воровство, а я, как неподкупный, назначен заведовать пожарной.

Тут соседка в квартире меня к себе тащит, а на кровати супруг ее содрогается, лицо посинело, губы белые, глаза под люстру завел...

Для меня здоровье человека всегда дороже социалистической собственности. Бегу на базу. По дороге думаю: вот Брежнев-сволота, вагон за ним таскается, врачами набитый, коньяк в боковом кармане французский рядом с кнопкой ядерной войны держит, а простой советский человек погибает от болезни роста аптечного снабжения...

Прибегаю. Объявляю вечернюю пожарную тревогу. Пожарники мои разбежались по гидрантам, а я набираю в карманы непромокаемого плаща с литр коньяка в дегустаторской, благодарю караул за отличную подготовку

к пожару и бегу к больному... Поспел вовремя. Еще пяток минут — и врезал бы дуба сосед. Уже ногами дрыгать начал и советскую власть проклинать. Влили мы ему в рот грамм пятьдесят. Ожил на глазах. А остальное мы под закусочку соседкину пригубили...

С этого все и началось. Жил я тогда с Валей С., а в промежутках между ней — с Тамарой Щ. Валюшка в аптеке работала, аптекаршей была; То-муля же в буфете вокзальном химичила. Они и склонили меня к хищению коньяка, для чего каждая, независимо друг от друга, склеила мне из толстого полиэтилена, которым ракеты накрывают, на Европу нацеленные, две нателные канистры емкостью два литра каждая. А тут еще коньяк существенно подорожал, хотя в продаже его давно не было. Весь он партией распивался на банкетах и на валюту шел в капстраны. Вот и пошло постепенно.

Жизнь моя изменилась к лучшему. В деньгах не испытываю недостатка. Имею пристальное внимание со стороны директоров вагонов-ресторанов, буфетов, магазинов, официанток и так далее.

Признаю за собой великий грех по части любовной романтики и каюсь, что не мог сладить с безумным влечением к мимолетным романам с противоположным дамским полом.

Сосед мой выживший начал между тем распределять коньяк среди сердечников-инвалидов войны и вообще страдающих одышкой пенсионеров, чем резко сократил между ними смертность. Брали мы с них за это копейки, как за валидол. Не звери же мы, а люди новой формации.

Между тем, граждане судьи, пошли в народе отравления бормотухой и сивушной водкой, что вызвало в моей душе возмущение, так как я видел, что за воровство происходит в «Азербайджанвине» и как оно рекой льется в глотки разного воря и начальства. А тут еще слух пошел, что Брежнев перед смертью план имеет увеличить количество новорожденных и соответственно уменьшить число лишних людей пенсионеров.

— Зачем,— сказал он,— стране лишние бесполезные рты? Пусть лучше активно помирают, чем пассивно забивают «козла» и плят глаза на фигурное катание по телевизору. Мы и так обогнали Запад по детской смертности...

Для этого и создал Брежнев искусственную недостачу сердечных средств в аптеках. И заиграли у нас духовые оркестры на улицах. Хоть уши с утра затыкай. Невозможно в выходной вдохновиться на хорошее отношение к даме сердца. Тоска на душе от марша Шопена. На кладбищах очереди выросли несусветные. Кавказцы на цветы цены вздули так, что одного рабочие раздели и на морозе два часа продержали до обморожения всех конечностей. Даже на гробы предварительная запись пошла. Случай был такой. Записался человек на гроб в пять часов утра для тещи помершей, а у него перед самым носом гробы кончились. Он и скончался на месте от глубокого огорчения. А о том, что на поминки хватать не стало не то что портвейна, но и одеколона,— говорить не приходится.

Тогда-то я и принял решение резко увеличить хищение коньяка для помощи людям и провел с этой целью трубопровод с заводобазы в помещении водоканчки.

Не мог я равнодушно наблюдать за происходящим в городе и его окрестностях. Благодаря вливанию коньяка в сосуды смертность пенсионеров сразу пошла на убыль с существенным прогрессом.

Понятное дело — горком всполошился. План у него по смертям стариков невыполнен. УКГБ взялось за дело. Поняли органы, что «левый» коньяк течет с заводобазы в недопустимых пределах. Устроили чекисты по приказу своего Андропова экстренную строгую ревизию.

Оцепили все предприятие с бронетранспортерами. Никого двое суток не выпускают из проходной. Разумеется, директор Ибрагимбеков погорел с документацией и недостачей в пересортице. Насчет этого жульс с заводобазы вам лучше известно. Миллионами и брильянтами, на кладбищах закопанными, они у вас от расстрела откупятся, если вообще через год на свободу не выйдут. Мне до них дела нет, но из-за таких сволочей и я лично погорел со своим трубопроводом.

Спасая шкуру, Ибрагимбеков и главный инженер Гуссейнов для сокрытия недостачи задумали поджечь заводобазу, будучи окружены войсками КГБ. Вызывают меня, говорят:

— Вот пятьдесят тысяч рубчиков. Подожги в течение часа контору и перекинь умело бушующее пламя на подвалы, цистерны и прочие вместилища.

По окончании пожара получишь еще столько же и в Баку поедешь к нашим Зулейкам осетрину на вертеле жрать...

Но плохо эти господа знали Петра Константиныча, пропащего, но благородного человека. Плохо. Не догадывались о пребывании в моей душе идеала.

— Я,— говорю,— создан природой и назначен трестом для тушения пожаров, но не для поджигания рейхстагов, как Георгий Димитров, и душу не продам даже за миллион новыми.

Разве не достойный ответ?..

Как же поступают тогда эти прохиндеи? Ночью я был неожиданно связан людьми с кавказским, еврейским, украинским и русским акцентами, но в масках для дальнейшего уничтожения меня в огне преступного пожара. Я был брошен в склад вторичного сырья с заткнутым ртом и перебитой переносицей.

Трагически слышу, как за стеной начали спаивать всех ночных моих пожарников. Идет подготовка к якобы стихийному бедствию. Затем изо рта у меня вытащили газету «Правда», а воткнули брезентовую рукавицу. Вернее, все произошло наоборот. Так как после опознания моего обгорелого трупа во рту не нашли бы «Правды». Сгорела бы она... Затем были разбиты три бутылки коньяка «Баку», и меня облили им с головы до ног, чтобы вскорее поджечь. Но, хотя и мечтал я порой, философствуя с подругами, о красивой смерти в огне пожара, спас меня Господь, спас...

Бандиты пошли поджигать здание конторы, расположенное над складом коллекционного коньяка. Я же веревками на руках нащупал битую посуду с рваными краями и перерезал (как в кино) пуги. Перерезал и бегу тайком к телефону. Вызываю друга своего из горкоманды по неотложному сигналу, потому что огонь забушевал уже над конторой.

Жора и прилетел на пяти машинах с непохмелившейся командой, пока еще коньяк не весь сгорел. Как на крыльях прилетел. Если бы мавзолей загорелся, не было бы такого экстренного явления команды...

Бушует пожар, но я, как призрак мщения, возглавил борьбу с огнем, забыв о собственной уголовной наказуемости. Спасая заводбазу от неминуемого взрыва, я спустил весь коньяк из главного вместилища через личный трубопровод в водокачку, где открыл все краны. Естественно, коньяк залил низинку и канавы, куда и устремились законным образом жители Черемушек с бидонами и банками. Не обошлось и без безобразий типа драк и разгула с песнями и танцами. УКГБ сразу все поняло. Известно, что ключ от водокачки находился у меня. Вот и все подробности дела.

Дошли тут до нас слухи о смерти товарища Брежнева, вызванной будто бы тем, что его вечером в Кремле напоили, а утром не дали ни грамма коньяка опохмелиться. Это ему за пенсионеров вышла такая кончина. А председателя КГБ Андропова я прошу возглавить крестовый поход против жуликов-миллионеров, таких, как Ибрагимбеков и другие.

Надеюсь, что вы зачтете мне мой героический отказ от поджога вверенного объекта и самоотверженность при тушении такового.

На ожоги и выбитый при заталкивании в рот брезентовой рукавицы левый передний зуб я уже не жалуюсь и великодушно отказываюсь от компенсации.

И вообще я не вор, а сострадательный романтик, втянутый в крупную аферу алчными подругами жизни и гнусно преданный многими из них на предварительном следствии.

А насчет демпинговых цен на ворованный коньяк, то я не собирался консультировать с государством вроде какого-нибудь японца Мицубиси с Америкой, как оскорбил меня следователь Лычкин.

Просто я совесть имел воровать, но не спекулировать.

СУДЬБА ПАРТИЗАНКИ

Мысливцева осуждена по ч. 1 ст. 158 УК к штрафу в сумме 250 руб. Она, будучи пенсионеркой и получая пенсию в сумме 25 руб. в месяц, признана виновной в изготовлении браги для самогона: у нее были обнаружены аппарат для самогонварения и 20 л браги.

Последнее слово подсудимой Мысливцевой

Граждане судьи! Лариса Ивановна, то есть я, впервые за свои 52 года трагической жизни сидит на скамье подсудимых. До этого сживала только исключительно в гестапо, где подвергалась различным пыткам, будучи несовершеннолетней партизанкой. До сих пор в городе нашем имеется музей партизанской славы, и там помещен за стеклом кусок стены, на котором я кровью своей, текшей с губ, написала: «Гитлер — говнюк. Русский солдат отомстит за Лариску».

И русский солдат отомстил за всех измученных в пытках и погибших партизан. Отомстил он и за многих мирных жителей.

Но советская власть, не побоюсь тут таких слов, жестоко отнеслась к круглой сироте Ларисе Ивановне. После победы я была насильно помещена в детдом для дефективных подростков, хотя дефективного во мне не было ничего, кроме дрожания рук и бесстрашия перед хамскими мордами воспитателей.

Не совру, когда скажу, что были все они хуже гестаповцев, половинили на кухне нашу несовершеннолетнюю пищу, недодавали сахару и масла, называли беспредельщиной и скотиной. Я подверглась изнасилованию директором детдома Мыкиным, который сейчас пенсию получает в десять раз больше моей и со свиным рылом торчит в райкомовской кормушке, сволочь... Кровь закипает, когда вспоминает Лариса Ивановна отрочество детдомовское, обиды души, голодуху и прочие унижения.

Персонал детдома занимался самогоноварением с целью сбыта и обогащения. Так как находились мы в глухой местности, где Берия решил строить атомную бомбу. Заключение на стройке получали бериевский паек за вредность и риск для жизни в радиации. Вот наши воспитатели и выменивали самогонку на шоколад, сигареты, колбасу, консервы и многое другое. Заключение действительно кормили на убой. Долго они не выдерживали и врезали дуба от болезней крови и обморожения под землей.

Вот с тех пор и пошла я по самогонной части. Потому что воспитатели так прямо и учили нас: закон — тайга, прокурор — медведь. Жить в стране Советов надо уметь...

Науку я получила первоклассную по части самогоноварения и изготовления настоек с наливками. Равных мне в этом деле нету в Советском Союзе и за границей. Шофер наш в чехословацком посольстве, когда в отпуск приезжал, так прямо и заявлял:

— Руку, Лариса Ивановна, даю на отсечение, что чехи со своею хвалебной сливовицей в подметки не годятся вашей «вишневочке» и «рябиновке».

Но об этом — впереди. Хочу возвратиться в историю своей трагической, повторяю, жизни. После совершеннолетия заключили меня без суда и следствия в лагерь как проживавшую в оккупированных районах и торговавшую своим телом при немцах. Как же я могла торговать своим телом, когда оно полностью было невинным, но изнасиловалось с угрозами и посулами коммунистом Мыкиным, чья гестаповская рожа висит на доске почета в парке культуры и отдыха имени Клары Цеткин?

Как же я сотрудничала с немцами, когда мы с подружками только зазывали фашистов в темные уголки, а партизаны их приканчивали? За подозрение в связях с народными мстителями я была изморожена пытками. На допросах притворялась дурочкой, стеганутой пыльным мешком, и никого не выдала.

А советская власть за все это отблагодарила меня жестоким детдомом и чувашскими лагерями? Сколько, бывало, писала горькими ночами Лариса Ивановна жалоб Сталину, Хрущеву, шверникам разным бессердечным и бывшим партизанским генералам! Где уж там... Сразу после войны зажрались они, как чушки, расселись задницами по теплым местам и книг понаписали про свои подвиги. Партии нашей, мол, видней. Раз заключена ты за моральное разложение в оккупации, значит, шлюха ты подгестаповская, сиди и не вертуйся.

Но, когда Сталин подох (я в лагере всю правду об этом звере раньше Хрущева узнала), отпустили меня. Поселилась Лариса Ивановна в своем городе, хотя косо смотрели на меня бывшие эвакуированные граждане, которые в глубинке с других эвакуированных три шкуры драли за мешок картошки и обогащались. От обиды ожесточилось мое сердце.

От мужских приухаживаний отказываюсь, потому что и на том свете вспомнит Лариса Ивановна детдомовских своих палачей и ихние приставаания. На исповеди призналась я батюшке, что собираюсь я грех на душу взять и повесить публично Мыкина за то, что насильник он и разбогател на продаже смертельно обреченным зекам самогонки. Но батюшка вразумил меня и отвратил молитвою сердечной и суровым назиданием от кровавого дела. Отвратил. А то у Ларисы Ивановны не заржавело бы. В лагере я вот этими руками двух сучонок удавила, которые с кумом якшались и помогали новые дела шить на политических...

Работать я нигде не могла, потому что после пыток и изнасилования стали дрожать у меня руки и что-то такое с координацией движений произошло.

В остальном же была я баба видная и соблазнительная. Даже серьезные предложения имела от шоферни солидной и трезвых командировочных. Отказывала. Меня и после смерти тошнить будет от одной только мысли о мужиках.

Устроил Ларису Ивановну собес в ресторан гардеробщицей. Но от клиентов жалобы пошли в горьком партии, что руки у меня дрожат, когда польта подаю, и они после законной поддачи не в те рукава попадают. Было дело, когда одного купчика из Тбилиси галошей по башке огрела, так как он начал хамить, что его номерок у меня находится под юбкой. Я и огрела его галошей и еще каблуком поддала под ребрину. Уволили.

В школе тоже долго не продержалась. Я как взгляну на детишек, как вспомню себя сиротой пулюголодной, обедки сшибающей в детдомовской помойке, так в слезы и в трясучку наподобие эпилепсии падаю.

Тоже уволили как смущающую грустным видом счастливое детство.

Что делать? Мыкалась то здесь, то там. Все у меня из рук валится. Пенсию не дают.

— Ты,— говорят,— еще не инвалид, а лишь кандидат в калеки и возрастом не вышла...

Но жить-то ведь надо и воровать неохота, потому что я по совести жить хотела и не желала душу марать в разных советских злодеяниях против собственности.

Тут друг у меня завелся бескорыстный. Степан. Жена прогнала его из дома и ограбила ввиду неспособности исполнять долг супруга после работы на атомном предприятии.

Разговорились мы с ним в нарсуде, где я правды зазря искала насчет приусадебного участка, отобранного совхозом. Домик я имела на совхозной территории.

Видю, что у Степана этого глаза не как у мужика, а как у раненой собаки. И хвост существенно поджат. Разговорились и сошлись во мнении, что все мужики дрянь и жизненная подлость, а бабы еще хуже во сто крат и поехидней в подлости и предательстве. Пригласила его к себе чайку попить и настойкой угостила травяной. Полное у нас со Степой единство взглядов торжествует за столом.

— Что это,— спрашивает,— за настоечка у тебя, Лариса Ивановна, ведьмовская такая и волнительная? На ласку что-то потянуло, в крови горит огонь желанья, как до работы на проклятом атоме!..

Я Степана урезонила и велела к жене возвращаться с подобными желаниями. Но он взмолился не прогонять его обратно, а поселить в доме на правах недействующего супруга. И мы будем друзьями до конца наших дней. Я согласилась. У меня ведь тоже душа отмерзла от жестокости жизни, и хотелось морального тепла.

Тут мы и наладили производство отличного самогона. Дури не гнали, а старались очистить продукцию, словно невинную детскую слезинку. Соответственно клиентуру раздобыл Степан. Связи у него были в разных городах.

Травы мы настаивали по полгода и больше. Настойки шли для натираний при артритах, ревматизме и радикулите, но и как внутреннее употреблялись.

Если люди от советской сивухи с красивыми этикетками травили внутренние органы, то наш трижды очищенный самогон здоровья прибавлял, в дурь поведения не повергал и был дешевле какой-нибудь дряни сельповской.

Деньжата у нас появились соответственно. Степан шубу кроличью мне купил. В кино ходим. Телевизор смотрим. Живем, никому не мешаем. Пен-

сию вдруг мне назначили в 25 рубчиков. Анекдот просто. Как же, думаю, жить на такую ничтожную подачку самого справедливого в мире государства, если человек, допустим, не ворует, самогона не гонит и вообще нигде не халтурит налево? Что у них там, наверху, за представления о жизни немущего народа, если он инвалид с дрожащими руками?

Может, в городе у нас шпион сидит вроде Зорге или Штирлица из «Семнадцати мгновений весны» и доклады шлет в политбюро такого рода: у населения борода в молоке, нос в табаке, денег куры не клюют, магазины мясом дешевым завалены, есть не успевают, сберкнижки вместо туалетной бумаги используют, потому что с ней полный хронический дефицит, дело доходит до политических волнений в очередях; рекомендуем срезать городу нормы продовольствия, а пенсию установить в 25 рублей, которых им и на кино хватит...

Что такое 25 рублей пенсии? Издевательство и надсмехательство над социальной жизнью инвалида.

Да, признаюсь, я иногда открыто возмущалась неблагодарностью нашей партии, которая отказала мне в признании инвалидом Отечественной войны. Где у меня начали руки дрожать и нервы сдавать? В гестапо или во фронтовом публичном доме? Но это — дело прошлое. Счет теперь некому предъявлять...

Никакой водочной монополии государства мы со Степой не подрывали и не зарывались с количеством нагоняемого самогона. Закажут нам люди хорошие на свадьбу или на поминки — мы и нагоним. А как же иначе скромной, нигде не ворующей семье отпраздновать брак или широко помянуть близкого человека? Никакой зарплаты не хватит, чтобы, как говорится, на рыло пришлось по бутылке белой, а на женское лицо 0,75 красного. Тут и на закуску ничего не останется.

Вот мы и выручали людей своей скромной коммерцией, а если на опхмелку не хватало, безропотно добавляли когда литровку, когда две.

Но тут зависть взяла бывшую жену Степана и загорелось в ней подозрение, что мы заделались тайными любовниками. А насчет мужской слабости от работы с атомной бомбой Степан, по ее мнению, просто симулировал от недобрых чувств к ее суровому характеру. Я жену имею в виду бывшую. По ее доносу обыскали нас внезапно и, конечно, бражку нашли, которую мы на обмыв ордена Дружбы народов приготовили для писателя одного немущего и к Международному женскому дню 8 Марта.

Хочу решительно заявить, что Степан покойный был моим единственным жизненным другом, и желаю расследования его смерти в следственной тюрьме. Сердце ни с того ни с сего просто так ни у кого не разрывается.

Вы хоть и охамили всенародно сталинскую харю, но следователи у вас все те же сидят в кабинетах. Вот и меня пытал один такой, спать не давал и в глаза светом бил, чтобы призналась я в связи с какими-то антисоветчиками и что по их заданию как бы гнала самогон, спаивая рабочий класс. А под балдой он планов не выполняет и тащит нашу область позади всесоюзного соревнования.

Не вышло. Лариса Ивановна и в гестапо пытки выдержала, а в советской тюрьме и подавно плевать на них хотела. Прошу учесть мои заслуги в партизанском движении и присудить к тюремному заключению на большой срок, так как на 25 рублей пенсии жить по-человечески не имею никакой героической возможности. А если освободите, то я снова буду гнать самогон высшего сорта до окончательной потери или свободы, или жизни. Больше Ларисе Ивановне сказать вам нечего.

До свиданья, сволочи...

А. И. ДЕНИКИН

О ч е р к и р у с с к о й с м у т ы

Том третий
**БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ И БОРЬБА
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ**
май — октябрь 1918 года

Глава I. ВВЕДЕНИЕ. СТИМУЛЫ БОРЬБЫ С СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ: НАЦИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ

История откроет нам со временем истоки большевизма — того огромного и страшного явления, которое раздавило Россию и потрясло мир, установит отдаленные и близкие причины катастрофы, заложенные в историческом прошлом страны, в духе ее народа, в социальных и экономических условиях его жизни. В цепи событий, поражающих современников своей полной неожиданностью, жестокостью извращенностью и хаотической непоследовательностью, — история найдет тесную связь, суровую закономерность и, может быть, трагическую неизбежность...

Но и перспектива времени не гарантирует еще абсолютной правды. Вселенская правда нам недоступна. Есть только многогранные отражения ее. И те, кто делает историю, и те, кто пишет ее, не могут сбросить с себя окончательно уз, налагаемых традициями и идеями эпохи, нации, общества, класса. Смутное время найдет и своего Карамзина с его национально-историческим подходом, и своего Жюреса, который во введении к капитальному труду «История Великой французской революции», порвав обязательные покровы объективности, говорит: «Мы намереваемся изложить события с социалистической точки зрения для народа, для рабочих и крестьян».

Тем труднее положение современников, участников событий. Их мысленный взор застилает еще кровавая пелена; их душевное равновесие нарушено; в их сознании события более близкие, более волнующие невольно заслоняют своими преувеличенными, быть может, контурами факты и явления, отдаленные от фокуса их зрения. Их чувства глубже, страсти сильнее, восприятия элементарнее; они жили настоящим, воплощенным в плоть и кровь, — даже те, кто, став духовно выше среды и своего времени, проникал уже обостренным зрением за плотную завесу грядущего... Свидетельство современников, однако, весьма ценно. Не только установлением конкретных фактов, но даже субъективной формой их восприятия, дающей иногда ключ к разгадке многих сокровенных побуждений и действий людей, партий, общественных групп. Свидетельства эти — те кирпичи, из которых история возводит свое величественное здание.

С такой точки зрения я и смотрю на задачу моих «Очерков».

В этой книге я пишу главным образом о борьбе Добровольческой армии с советской властью в 1918 году, захватывая однородный и цельный период — с весны до осени, когда поражение центральных держав принесло совершенно но-

вую политическую конъюнктуру, существенно отразившись и на условиях нашей борьбы. С этим событием почти совпала смерть ген. Алексеева, завершившая нашу совместную деятельность, и окончание второго кубанского похода Добровольческой армии...

Менее подробно я буду останавливаться на прочих фронтах и формах противобольшевистского движения, не связанных внутренне с судьбою Армии. Точно так же, говоря о большевизме, я главным образом касаюсь реальных его последствий и «достижений». Они, наряду со стихийными следствиями мировой войны и революции, вконец разрушили благосостояние страны и принизили дух ее народа. Они же дали стимулы той постоянной и непрекращающейся борьбе, которая продолжается и ныне, после падения всех белых фронтов, проявляясь в чрезвычайно разнообразных формах — активно и пассивно, явно и тайно, сознательно и рефлексивно. И будет длиться до тех пор, пока не исчезнет возбуждающее ее начало — советская власть, ненавистная народу.

Поэтому в общем, пока еще тихом, но грозном ропоте народного моря тонут бесследно голоса представителей новых течений общественной мысли, осуждающих те или иные формы преодоления большевизма или приемлющих его как власть, «эволюционно изживающую себя и подверженную внутреннему органическому перерождению».

Противобольшевистские движения не создавались отдельными людьми — они вырастали стихийно и непредотвратимо. И подобно тому, как некогда слово русских оппортунистов было бессильно остановить разрушительный поток народного безумия, так в будущем оно не в силах будет ввести в спокойное русло и в формы государственно-целесообразные проявления народного гнева.

Стимулы для борьбы с советской властью были крайне разнообразны, находя отклик почти во всех слоях русского народа и затрагивая самые чувствительные стороны народной психики.

Основной порочный недуг советской власти заключался в том, что эта власть не была национальной.

Никогда еще в русской истории после татарского ига представители страны, какими в дни величайшего ее падения явились последовательно господа Иоффе, Бронштейн и Бриллиант*, не подвергались большему унижению, чем на Брест-Литовской конференции.

Никогда еще, вероятно, к жизненным интересам государства «полномочные послы» его не относились с таким грубым невежеством или презрением, как те лица, которые говорили теперь от имени русского народа.

Трижды прерывалась и трижды возобновлялась мирная конференция. Встретив в третий раз все те же непомерные требования со стороны враждебных держав, Бронштейн (конец января) отказался подписать мирный договор и уехал в Петроград, заявив вместе с тем, что советское правительство демобилизует армию и «выводит народ из войны»...

Но 6 февраля германские армии перешли в наступление по всему Восточному фронту, не встречая почти никакого сопротивления**, и Совет народных комиссаров в тот же день сообщил радиотелеграммой о принятии всех условий центральных держав. Наступление австро-германцев тем не менее продолжалось, достигнув к марту месяцу линии Псков — Киев — Одесса.

В конечном итоге последствия Брест-Литовского мирного договора (19 февраля) и дополнительных к нему соглашений свелись к следующему.

В политическом отношении: отторжение от России Финляндии, Украины, Крыма, Прибалтийского края, Литвы, Польши, Грузии, Батума, Карса и Ардагана. Одни из этих окраин получили независимость, в других допускался плебисцит, исход которого предreshался фактом военной оккупации их германцами и турками.

* «Сокольников». (Сокольников Г. Я. 1888—1939. Член РСДРП с 1905 г., в составе советской делегации подписал в феврале 1918 г. Брестский мир с Германией. В годы гражданской войны — член реввоенсоветов ряда армий, в том числе Южного фронта. Расстрелян. — Прим. ред.)

** Дрался только чехословацкий корпус.

Мирный договор этот довершил распад России, наметившийся в результате ослабления и вырождения центральной власти и максимализма в национальных устремлениях. Помимо отторжения огромной территории, страна отрезывалась от Балтийского и Черного морей; лишалась жизненно необходимых условий своего экономического развития, становясь данником новообразований, за призрачной самостоятельностью которых виднелась сила германского меча и капитала; теряла, наконец, более или менее обороноспособные рубежи, культурные и промышленные центры и важнейшие железнодорожные узлы — обстоятельство, лишавшее признаков государственной целесообразности всю нервную систему страны — ее сеть железных путей.

Россия отбрасывалась политически назад, к началу XVII века, теряя одним ударом все, что было приобретено за три столетия на Западе и Юге гениальными усилиями ее собирателей, кровью ее воинства, трудами ее народа.

В экономическом отношении на Русское государство легли и прямые тяготы, непосильные для его разрушенного экономического положения. Восстановлен был с Германией торговый договор 1904 г.*, причем остались прежние тарифы, которые ввиду обесценения рубля (тогда уже 1/10) привели фактически к беспоплавному ввозу германских товаров в Россию. Обусловлена была уплата убытков, понесенных в процессе революции или в силу советского законодательства лицами немецкого происхождения; за ними сохранены социальные и экономические права. Эти условия имели тем большее значение, что немецкий капитал являлся крупнейшим участником нашей промышленности и что цифра вкладов его только в акционерных предприятиях превышала 500 млрд. золотых рублей. В скрытом виде наложена была на Россию и контрибуция в 6 миллиардов марок золотом «за все финансовые обязательства, предусмотренные договором» **... Наконец, огромные плодородные русские области с брошенными в них бесчисленными военными материалами оставались в руках австро-германцев. Как заявил цинично на конгрессе Чернин, «пока не заключен всеобщий мир, австро-германцы не могут отдать оккупированных областей; они являются областями снабжения нашей армии, с их фабриками, заводами, возделываемыми полями и т. д.»... А в союзном совещании приводил и мотивы такого требования: «Германия и Венгрия не дают больше ничего. Без подвоза извне в Австрии через несколько недель начнется повальный мор».

В военном отношении Россия обязывалась демобилизовать армию, разоружить флот и допускала впредь до выполнения всех условий договора занятие немцами Западного Края до линии Нарва — Рогачев.

Таким образом в силу официальных договоров и тайных сношений с правительством народных комиссаров Россия поступала в полную экономическую зависимость от Германии, превращалась в новую базу центральных держав для борьбы с союзниками, базу, из которой можно было черпать военные материалы, обильные запасы всякого снабжения и даже людские контингенты — не только в виде сотен тысяч пленных австро-германцев, подлежавших возвращению из России, но и в качестве дружин рабочих, вербуемых во всех областях германской оккупации и становившихся затем в положение рабов.

Какое же оправдание имела Брест-Литовская трагедия?

Фразы советских правителей о «разгорающемся уже пожаре мировой революции», о переговорах «через головы немецких генералов с немецким пролетариатом» — были только фразами, предназначенными для толпы. Внутреннее положение Европы не давало никаких решительно оснований для подобного оптимизма народных комиссаров. В период Брест-Литовских переговоров состоялась, правда, сначала в Австрии, потом в Берлине всеобщая забастовка; о мотивах последней лидер независимых соц.-демокр. Гаазе говорил в рейхстаге: «Забастовка велась не для мелких экономических завоеваний, но служила политическим протестом с высоко идейной целью. Немецкие рабочие возмущались тем, что им при-

* С изменениями в пользу Германии.

** В счет этой суммы советское правительство успело уплатить Германии 325 миллионов золот. рублей, которые впоследствии по Версальскому договору перешли к Франции.

ходится ковать цепи для угнетения русских братьев, бросивших оружие». Но это была лишь кратковременная вспышка, по существу, использовавшая только подходящий предлог для сведения счетов социал-демократии со своим правительством. Рейхстаг огромным большинством одобрил мирные условия при воздержавшихся социалистах большинства и против голосов «независимых».

Еще менее основания имело заявление Ленина, что договор этот — «только передышка, только клочок бумажки, который можно порвать когда угодно»... Немцы имели тогда реальную силу и обеспечили себе достаточные гарантии и выгодное стратегическое положение, чтобы настоять на выполнении договора.

Быть может, однако, в распоряжении советской власти не было уже никаких ресурсов и «похабный мир» являлся неотвратимым? Даже советская Ставка не могла согласиться с такой безнадежной точкой зрения. Начальник штаба главнокомандующего ген. Бонч-Бруевич на военном совете 22 января* настаивал на необходимости продолжения борьбы, указывая и новые способы ее: немедленный увоз всей материальной части в глубь страны, отказ от сплошных фронтов, переход к маневренным действиям на важнейших направлениях к жизненным центрам страны и широкая партизанская война. Силы для этой борьбы он видел в новой «рабоче-крестьянской армии», в национальных формированиях и в уцелевших частях старой армии.

Можно быть различного мнения о боевой ценности всех этих элементов, но не подлежит сомнению, что огромные русские просторы, объятые восстанием, поглотили бы такие колоссальные силы и средства ослабленных уже вконец германцев, что вторжение их в глубь России приблизило бы катастрофу на Западном фронте...

Но для этого большевикам пришлось бы временно отказаться от демагогических лозунгов и повременить с гражданской войной.

Наконец, в то самое время, когда Совет народных комиссаров в бурных и панических заседаниях обсуждал жестокий ультиматум центральных держав, в стане врагов настроение было еще более подавленным. Германское правительство, опасаясь разрыва, употребляло все усилия, чтобы сдержать неумеренные требования главной квартиры. Граф Чернин угрожал, что Австрия заключит сепаратный мир с Россией, если чрезмерная требовательность ее союзников расстроит переговоры. Берлин, Крейцнах (Ставка) и Вена переживали дни томительного ожидания и страха, не считая возможным вести длительную войну на Восточном фронте, хотя бы и против разваливавшейся армии. И когда после перерыва переговоров в Брест-Литовск к 7 января приехал Троцкий, «было любопытно видеть, — говорит Чернин, — какая радость охватила германцев. И эта неожиданная, столь бурно проявившаяся радость доказала, как тяжела была для них мысль, что русские могут не приехать».

Итак, Германии нужен был мир во что бы то ни стало. Никакие промежуточные формы его (перемирие, «ни мира, ни войны») не могли спасти положения. Совету народных комиссаров также нужен был мир — какую угодно ценой, хотя бы ценою расчленения, унижения и разрушения России.

Лишь бы сохранить власть.

Этот мотив довольно откровенно прозвучал и в воззвании Совета в ночь на 6 февраля «ко всему трудящемуся населению России» — воззвании, оправдывавшем согласие Совета на предъявленные ему центральными державами требования мира: «Мы хотим мира, мы готовы принять тяжкий мир, но мы должны быть готовы к отпору, если германская контрреволюция попытается окончательно затянуть петлю на наш совет».

Только тогда отпор!

«Поставленная народом под знаком мира» советская власть должна была дать мир, хотя бы призрачный, иначе ей угрожала гибель. Гибель «в порядке народного гнева» или в силу германского наступления и оккупации столиц.

Мотив самосохранения советской власти, поставленный в основание Брест-Литовского действия, не вызывал никогда сколько-нибудь серьезных сомнений

* См. Т. II, гл. XVIII.

среди русской общественности. Несколько иначе обстоит вопрос по поводу другого обвинения народных комиссаров, вызывающего и поныне двойное к себе отношение. Одни считают Брест-Литовск просто комедией, разыгранной для соблюдения приличий, так как платные агенты германского генерального штаба, в числе которых называют Ленина и Троцкого, не могли не исполнить требований своих нанимателей. Другие отказываются признать это преступление, быть может, не столько по доверию к названным лицам, сколько из-за сознания чудовищности самого факта, смертельного стыда и глубокой боли за поруганное национальное достоинство России...

Немецкий генеральный штаб, который мог бы открыть глаза миру, молчит. В этих кругах есть своя профессиональная этика, не допускающая оглашения имен секретных сотрудников... Лично у меня в могилевской Ставке был в руках материал, создававший серьезные обвинения против Ленина и безусловно уличавший Раковского* в шпионской деятельности в пользу центральных держав. В печати, русской и заграничной, кроме следственного производства о восстании большевиков 3—5 июля 1917 г., появлялись многократно данные, более или менее серьезные и правдоподобные. В ноябре 1918 г. в американской прессе были опубликованы официально документы**, собранные Э. Сиссоном, командированным в Россию американским правительством. Ему «при содействии различных политических партий и лиц, служащих у большевиков», удалось достать около 70 документов, характеризующих как влияние немцев при посредстве большевиков на внутренние события в России, так и использование ими советской власти с первых же дней ее существования в интересах Германии. Я не буду останавливаться на этих материалах, рисующих подчиненное сотрудничество большевиков с германским генеральным штабом. Приведу лишь один основной документ, относящийся к самому началу революции:

Имперский Банк
2 марта 1917 г.
Берлин

Представителям всех
германских банков в Швеции

Вы сим извещаетесь, что требования на денежные средства для целей пропаганды мира в России будут получаться через Финляндию. Требования эти будут исходить от следующих лиц: Ленина, Зиновьева, Каменева, Коллонтай, Сиверса и Меркалина, текущие счета которых открыты в соответствии с нашим приказом № 2754 в отделениях частных германских банков в Швеции, Норвегии и Швейцарии. Все эти требования должны быть снабжены подписью «Диршау» или «Волькенберг». С любой из этих подписей требования вышеупомянутых лиц должны быть исполняемы без промедления.

№ 7432. Имперский Банк.

Несколько мягче, но все же довольно определенно высказывалась по этому вопросу немецкая демократия. Соц.-дем. Бернштейн 11 января 1918 г. писал по поводу Брестских переговоров: «В военных кругах Германии успех переговоров с русскими совершенно открыто объясняют тем, что все, кто нужно, подмазаны. Что же касается нас, немецких социалистов, то, будучи на основании опыта многолетнего общения с Лениным и Троцким, убеждены в их личной честности, мы стоим перед неразрешимой загадкой. Некоторые ищут разрешения загадки в том, что, быть может, первоначально большевики по чисто деловым соображениям воспользовались немецкими деньгами в интересах своей агитации и в настоящее время являются пленниками этого необдуманного шага»...

Я не знаю, что правильнее — уверенность Сиссона или прозрение немецких социалистов. Но вся совокупность трагических обстоятельств взаимоотношений немцев с большевиками создала во мне лично интуитивное глубокое убеждение в предательстве советских комиссаров. Такое убеждение, присущее широким кругам русской общественности, проникало в народ и обостряло ненависть к советской власти.

* Раковский Христиан Георгиевич (1873—1941). В-большевистской партии с 1917 г. С марта 1918 г. — председатель Совнаркома Украины. (Прим. ред.).

** Они появились частично на Юге России значительно ранее, еще весной 1918 г.

Каковы бы ни были внутренние побуждения народных комиссаров, перед Россией встал во всей своей гнетущей тяжести грозный реальный факт:

— Брест-Литовск.

Завершение в столь чудовищных формах длительного процесса разрушения армии, страны и ее международного значения как будто разбудило наконец сознание верхних слоев русского народа. Чрезвычайно единодушно вся русская общественность, весь пестрый конгломерат политических партий, вся печать, кроме официальных советских органов, отнеслись с глубоким негодованием к этому явному предательству интересов России. Даже на искусственно подобранном 4-м съезде Советов, решавшем судьбу Германии, России и русской революции, из 700 голосов нашлось все же 300, протестовавших против заключения мира; они принадлежали не только профессиональным партийным деятелям лево-с.-р.-ского толка, но и рядовым крестьянам и рабочим. Рабочие промышленности и транспорта впоследствии, поняв всю экономическую тяжесть договора, воспрепятствовали широкому исполнению его, не допустив вывоза в Германию поездов с «национализированными» советской властью запасами мануфактуры, меди и проч. Московский комитет партии большевиков на экстренном заседании 7 февраля постановил «настаивать на пересмотре Советом народных комиссаров принятого решения», считая его «вредным делом для мировой революции» и призывая «вести беспощадную борьбу за демократический мир». Даже партия русских анархистов считала, что «Брестский мир навязан трудовому народу коммунистической властью... вопреки ясно выраженному желанию трудовых масс не подписывать мира с германским империализмом и продолжать революционное сопротивление»...

Как бы ни были разнообразны внешние обоснования этого широкого протеста, в основе его более или менее явно, более или менее ярко выступало национальное чувство. Конечно, только в верхних слоях. Потому что народ в широком смысле этого слова — или «трудовые массы», по другой терминологии, — в этот период революции относился к чисто духовной стороне вопроса с величайшим равнодушием. Реальные же последствия событий сказывались не сразу.

Национальное чувство укрепило идеологию противобольшевистского движения, дало ему новый стимул, значительно расширило базу борющихся сил и объединило большинство их в основной по крайней мере цели.

Оно намечало также пути внешней ориентации, вернув прочность почти истлевшим на пожаре революции нитям, связывавшим нас с Согласием, и прибавив к чисто моральным уже обоснованиям его («недопустимость измены союзникам») и элемент целесообразности *

Наконец подъем национального чувства дал сильный толчок к укреплению или созданию целого ряда внутренних фронтов — на севере, востоке и юге, к оживлению деятельности московских противобольшевистских организаций и вообще к началу той тяжелой борьбы, которая в течение нескольких лет сжимала петлю на шее советской власти.

Глава II. СТИМУЛЫ БОРЬБЫ С СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ: СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

К середине 18 г. обострение отношений к советской власти в широких слоях населения достигло уже большого напряжения, основываясь не только на возмущенном национальном чувстве, но и на причинах социального, экономического и психологического характера.

Отходил от власти дезорганизованный ею пролетариат.

Бессмысленная демобилизация всех фабрик и заводов, работавших на оборону **, в месячный срок, национализация промышленности, разрушение торговли

* Надежды на создание Северного и Восточного фронтов и поворот на Волгу чехословаков.

** Декрет был объявлен в конце декабря, задолго до заключения мира, отозвавшись, несомненно, на тяжести его условий. Приписывался общественным подчиненным отношениям комиссаров к немецкому генеральному штабу.

и транспорта, расстройство обмена с деревней и другие причины общего характера одним из важных последствий своих имели ставший хроническим кризис городов. Население их, не исключая покровительствуемого властью пролетариата, попало в тягчайшее материальное положение, испытывая гнет безработицы, постоянного недоедания, иногда голода, болезней и мора.

Как следствие всех этих явлений началось расстройство рядов пролетариата и качественное его ослабление. Более беспокойные, властные и вместе с тем аморальные его элементы уходили в ряды советской бюрократии, в ее опричнину, в состав карательных экспедиций, нередко на вольный разбойный промысел. Уходили добровольно — иногда от не остывшего еще революционного экстаза — в красную гвардию, потом по повинности — в красную армию. Там они теряли связь со своим классом или гибли. Более хозяйственные и предприимчивые люди, в том числе множество квалифицированных рабочих, переходили с фабрик и заводов на кустарный промысел или бежали в деревню, оседая на земле. Оставались лишь более рыхлые или консервативные в отношении веками установившегося уклада жизни, поступившие в конечном результате в разряд государственных пенсионеров: «пролетарская власть», взявшая в свои руки предприятия, вынуждена была содержать рабочих на счет казны, независимо от ценности труда и выгодности предприятий. Но так как разоренное государство вынести такой тяготы фактически не могло, то жизнь этой категории рабочих с каждым днем становилась тяжелее и безотраднее. Если вторая группа была для правительства, безусловно, потеряна, то и в этой третьей, им благотворимой, иллюзии первых месяцев революции в значительной мере поблекли и создавалась оппозиция к власти, хотя и не организованная. Первоначально она не выходила из рамок местных экономических интересов. Но мало-помалу под напором жизни эти рамки раздвигались.

Уже в конце марта 18 г. собрание фабрично-заводских уполномоченных Петрограда говорило:

«Позорный мир, голод, неумело ведущаяся эвакуация, полная дезорганизация фабрично-заводской жизни — все это обрушилось на рабочих... Профессиональные союзы утратили самостоятельность и независимость и уже не организуют борьбы в защиту прав рабочих. На улицах и в домах днем и ночью происходят убийства... Убивают не врагов народа, а мирных граждан — рабочих, крестьян, студентов... Мы протестуем и требуем открытого суда над всеми, совершающими зверства и убийства».

С весны 1918 г. оппозиция рабочего класса к советской власти стала проявляться в формах активных, иногда угрожающих. Таковы, например, крупные волнения и забастовки в Петрограде и Сормове, вооруженные восстания на Ижорском и Сестрорецком заводах и в особенности Воткинское и Ижевское восстания. Последнее потребовало от советской власти больших усилий и жертв, длилось три месяца и было кроваво подавлено в начале ноября, причем в первый же день овладения Ижевским заводом большевики казнили около 800 восставших рабочих.

При всех этих выступлениях, на митингах, в резолюциях, воззваниях слышалось резкое осуждение советской власти, требование Учредительного собрания и политических свобод.

Отошло от власти и крестьянство.

Советская власть была вначале весьма слабой, и крестьянское море, вынесшее ее на своем гребне, казалось еще слишком взбаламученным и опасным. Поэтому декрет о национализации земли не внес серьезных потрясений в уклад деревенской жизни, предоставленной первоначально своему самостоятельному течению в русле замкнутых классовых интересов.

Но уже к лету 18 г. советская власть, несколько окрепнув сама, увидела вместе с тем серьезную опасность в двух явлениях крестьянской жизни: в чрезвычайном росте собственнического инстинкта, грозившем оторвать навсегда крестьянские массы от коммунистических идеалов, и в прекращении обмена дерев-

ни с городом, грозившем голодом пролетариату и красной гвардии — единственной, хотя и не вполне надежной опоре власти.

С первой опасностью, олицетворяемой средним крестьянином и «кулаком», советская власть начала бороться разгромом всех бытовых (волость) и революционных (советы и комитеты крестьянских депутатов) установлений деревни и насаждением, подчас вооруженной силой, комитетов бедноты. В состав этих комитетов обыкновенно входили элементы пришлые, давно уже потерявшие связь с деревней, или безземельные, бездомные, нехозяйственные, иногда с уголовным прошлым, составлявшие подчас большую и грязную накипь деревенской жизни. Деятельность их проявлялась в формах насилия и произвола, направляясь по преимуществу к «уравниванию», т. е. к ограблению зажиточных и крепких крестьян, дележу их имущества, земледельческих орудий, рабочего скота и запасов.

Против второй опасности советская власть официально, в порядке управления, выдвинула средство еще более примитивное — вооруженные отряды различного наименования — «продовольственные», «карательные», «заградительные», которые шли походом на деревню за «излишками» или отбирали на станциях железных дорог, на перепутьях и заставах крестьянское добро и запасы мешочников.

Власть не делала попытки государственного регулирования этой своеобразной «социализации», которая обратилась в грабег и дележ. При малейшем сопротивлении отряды забирали все в порядке контрибуции. Не только подневольная, но и официальная советская печать в 1918 г. рисовала «потрясающие картины» походов на деревню, реквизиций и кровавых усмирений...

Отрицательные результаты советской аграрной политики были настолько разительны, что в правых кругах возник даже своеобразный взгляд на лечение социальной болезни путем «прививки большевизма». Так В. Шульгин писал в апреле 18 г.: «Самое важное, чтобы революция дошла до самого конца; нужнее всего действительное осуществление социализации земли в деревнях для того, чтобы вся толща крестьянского населения получила стихийное отвращение к лозунгу «земля и воля», погубившему государство. Процессу этому отнюдь не следует мешать, каких бы жертв это ни стоило» *.

Правительственная система и практика местной власти в отношении к деревне вызвали упорнейшее сопротивление векового уклада жизни и привели только к укреплению в крестьянстве начал собственности и классового самосознания. Сопротивление проявилось в сжатии крестьянского хозяйства до потребительных норм, что угрожало неисчислимыми бедствиями государственному хозяйству, и в прямых действиях: в 1918 г. волна крестьянских возмущений пронеслась по всей советской России, сопровождаемая разорением советских и коммунистических хозяйств, сожжением ж. д. станций и складов, насилиями над комиссарами и членами комитетов бедноты, которых убивали, подвергали мучениям, иногда живыми закапывали в землю. Восстания возникали неорганизованно, стихийно, нося местный характер; бывало, впрочем, как, например, в Рязанской губернии, что выведенные из терпения притеснениями советской власти крестьяне подымались несколькими уездами, ведя настоящие длительные сражения многотысячными отрядами с пулеметами и орудиями.

Так как восстания эти первым своим результатом имели обыкновенно прекращение всякого подвоза продовольствия в города, то они встречались враждебно городским пролетариатом; между ними и крестьянством ложилась пропасть.

В результате соединенными усилиями советской власти, пролетариата и его вооруженной силы — красной гвардии — крестьянские восстания подавлялись жестоко и беспощадно.

Цели своей — упразднения многомиллионного слоя крестьянства — большевики, однако, не достигли. По советской статистике к 1919 г. число средних, выше-средних и крупных крестьянских хозяйств удало лишь до 49%, т. е. на 10% по сравнению с 1917 г.

* Донесение организации «Азбуки», «Веди», 28.V.18.

Позднее, в марте 19 г., подводя итоги советской аграрной политики и круто меняя ее направление, Ленин говорил, что стремление раздавить среднее крестьянство так, как это сделано с буржуазией, «будет идиотизмом, тупоумием и гибелью дела»... И тут же приводил классическое по своей моральной обнаженности обоснование мысли: «Здесь нет той верхушки, которую можно срезать, оставив весь фундамент, все здание — той верхушки, которой в городе были капиталисты»...

В дальнейшем советская власть искала уже «путей завоевания доверия крестьянства»...

Ищет совершенно безнадежно и поныне.

Буржуазия просто истреблялась.

Ленин поставил задачу теоретически: «Обеспечить диктатуру (рабочего класса), свергнуть буржуазию и отнять у нее те экономические источники ее власти, которые являются помехой в деле всякого экономического строительства».

«Чрезвычайная комиссия» решила задачу практически: «Мы не ведем войны, — писал Лацис*, — против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию, как класс... Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советов. Первый вопрос, который Вы должны ему предъявить, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определять судьбу обвиняемого»...**

Истребление буржуазного класса шло самыми разнообразными путями: отнятием собственности, выселением из жилищ, голодным пайком, трудовой повинностью, лишением свободы; наконец казнями, казнями без конца, без счета.

Скорбь и ужас разлились по земле, одев в траур каждую русскую семью, не пощадив ни таланта, ни силы, ни молодости, внеся в естественное течение общественной жизни как систему, как норму — институт заложников, родовую месть, надругательство над душой и телом человека, страдания и потоки крови.

Большевистская идеология в разряд буржуазии, кроме интеллигентского пролетариата, служилого элемента и мещанства, причисляла еще многочисленные слои других классов: более здоровую и крепкую часть рабочего класса, крупное и среднее крестьянство и, по мотивам вовсе уже не социальным, — социалистическую демократию, которая — одни раньше, другие позже (левые с.р.) — стала в ряды противников большевистской власти.

Но советская практика делала серьезные различия между этими категориями «контрреволюционеров». Буржуазия истреблялась как класс и как среда, недоступная влиянию коммунистических идей, независимо от степени ее сопротивления; рабочие подвергались притеснениям и преследованиям только индивидуально, преимущественно представители партий с.р. и с.-д.-меньш.; террор в отношении крестьянства был направлен не против личности, а для «подавления его сопротивления власти и собственнических инстинктов»; наконец, по отношению к социалистической демократии в 1918 г. советское правительство, по выражению Ленина, проявило «много терпения и даже добродушия» в надежде, что она «сделает выбор» между большевиками и буржуазной диктатурой. Правда, терпение это было относительным: периодически, особенно же в день разгона Учредительного собрания, потом в Ленинские дни*** большевистские тюрьмы наполнялись социалистами. Хотя положение их было привилегированным, но тюремный режим большевиков стал несравненно тяжелее, чем «царский», и не исключалось применение «высшей меры наказания», если не в силу политики центра, то — самовластия «мест».

* Лацис Мартын Иванович (Судрабс Ян Фридрихович) (1888—1938). Член большевистской партии с 1905 г. После Октябрьской революции член коллегия ВЧК и НКВД. Расстрелян в 1939 г. (Прим. ред.)

** Речь идет о статье Лациса, опубликованной 1 ноября 1918 г. в журнале «Красный Террор», выходившем в Казани, где размещались чрезвычайная комиссия и Военный трибунал 5-й армии. Восточного фронта, председателем которых он был. Ленин, прочитав статью Лациса и отметив ее автора как одного из лучших, испытанных коммунистов, сказал, что «красный террор есть насильственное подавление эксплуататоров», но что «вовсе не обязательно договариваться до таких нелепостей». (В. И. Ленин. ПСС, т. 37, с. 410.) В годы гражданской войны Ленин проводил жесткую классовую политику (Прим. ред.)

*** Покушение на Ленина в августе 18 г.

Человеческое страдание — всегда страдание. Убийство — всегда убийство, льется ли при этом «белая» или «красная» кровь.

Но когда я читаю такие строки: «Историк революции с недоумением и ужасом остановится на тех страницах деятельности коммунистического правительства России, которые говорят о гонениях на анархическую идею и (ее) деятелей. Он не сразу поверит. А поверив, убедившись в их потрясающей правде, назовет их самыми черными страницами в истории коммунистической государственности» *... Когда с.-д. Дан ** пишет ***: «Весть о моем переводе на Урал (на службу по медицинскому ведомству) быстро разнеслась по городу... многие, даже из знакомых большевиков не хотели верить, что возможна такая дикая расправа... У одной большевички даже стояли слезы на глазах»... Когда тут же, через десяток страниц, без гнева, без осуждения, без «гражданской скорби» он проходит мимо картины «искоренения бывшего колчаковского офицерства»: «Окна подвала Губчека выходили на улицу, и летом, когда окна были открыты, можно было заглянуть в глубь этого ужасного помещения, где в невероятной тесноте и грязи сидели заключенные с бледными, измученными голодом лицами, покрытые всевозможными паразитами. Один из знакомых коммунистов рассказывал мне, что расстрелы производятся тут же, на дворе, под окнами заключенных»...

...Мне хочется сказать людям в шорах: говорите о ваших терзаниях. Чтите ваших мертвых. Но, когда проходите случайно мимо бездонной могилы русской буржуазии — по существу, русской интеллигенции, — снимите шапку над ней. Ибо там, вместе с окровавленными трупами, погребены невознагражденные культурные ценности страны, ее интеллектуальные силы, ее надежды!

Оставшаяся в живых буржуазия была побеждена. Часть уходила в районы белых армий; другая — преимущественно крупная буржуазия — банковская и торгово-промышленная знать, к которой большевики относились почему-то с наибольшей терпимостью, шла в эмиграцию; третья — воплотившая в себе идею «буржуазного интернационализма», с большой легкостью принимала подданство и меняла его в любом новообразовании, отколовшемся от русской державы; четвертая — шла на службу к советской власти, составив многочисленные кадры «спецов» и чиновничества — только терпимых «слуг нового режима»; пятая, едва ли не наибольшая численно, обратилась в люмпен-пролетариат, задавленный духовно, бесправный и нищий. Появилась еще одна категория людей, о которых высказал компетентное мнение Ленин: «К нам присоединились... карьеристы, авантюристы, которые назвались коммунистами и надувают нас; которые полезли к нам потому, что коммунисты у власти; потому, что более честные «служилые элементы» не пошли к нам работать, вследствие своих отсталых идей, а у карьеристов нет никаких идей, никакой честности» ****.

Подобное расслоение произошло и в рядах офицерского корпуса старой армии, на который большевизм обрушился с особенной силой. Это расслоение может быть выражено символически четырьмя известными эпизодами, относящимися к зиме 1918—19 гг.

Генерал Духонин убит большевиками...

Генерал Скалон, военный эксперт большевистской делегации в Брест-Литовске, не вынес позора, застрелился.

Генерал Брусилов, «признавая здоровую жизненную основу советской власти», отдал ей свои последние силы.

Полковник Дроздовский сформировал добровольческий отряд и повел его за тысячу верст, на Дон, для борьбы с большевиками...

Но, помимо мотивов классового или личного самосохранения, общие явления распада государственной и народной жизни достаточно ярко и наглядно

* «Гонения на анархизм в советской России». Офиц. изд. партии.

** Дан Ф. И. (Гуревич). (1871—1947) — один из лидеров меньшевиков. В 1918 г. издавал в Москве газету «Вперед», в 1920 г. — депутат Моссовета. В 1922 г. насильственно выслан за границу. (Прим. ред.)

*** «Два года скитаний».

**** Доклад на VIII съезде компартии.

свидетельствовали о гибельности советского режима. Даже в элементарном отражении темной массы.

Народное хозяйство катилось стремительно по наклонной плоскости, ударяя больно по всем сторонам повседневной жизни, ослабляя людей физически и вызывая небывалую смертность.

Террор, широко развитая система шпионажа, лишение всех гражданских свобод, отсутствие норм закона и безграничный произвол власти придавили дух народа, создав невыносимо затхлую атмосферу, в которой, казалось, жить долго невозможно.

Гонения, воздвигнутые на религию, осквернение святынь возмущали народную совесть, и в храмах, переполненных верующими, возносились горячие моления «об избавлении от вражеска плена и ранней смерти».

Казалось, во всех слоях населения и во всех областях жизни были глубокие обоснования и стимулы к борьбе с не-национальной, не-государственной и не-народной властью.

К середине 1918 г., когда я с Добровольческой армией начинал второй Кубанский поход, эта мысль психологически владела всеми. Ее заносили к нам вырвавшиеся из советской России или жившие на Юге мудрые политики, громкие общественные деятели, генералы и офицеры, случайные беженцы. Она проходила красной нитью через все сводки, доклады, донесения с мест, через все разговоры, которые вели многочисленные посетители, бывавшие летом 18 г. у ген. Алексева и у меня.

Так, например, Милуков писал 3 мая ген. Алексееву: «Несомненно, психология в России, хотя и не так быстро, как было бы желательно, но все же меняется — и не только на юге, но, как осведомляют меня мои московские друзья, также и на севере. Большевики изжили себя. За отсутствием внешней силы, которая бы их ликвидировала, они начали ликвидироваться изнутри»...

Не менее категорично определялось положение советской России в докладе Левого центра*: «В частном разговоре Ленин высказался: «Мы, конечно, провалились; но великая заслуга наша в том, что в Париже коммуна просуществовала несколько дней, а у нас в России несколько месяцев». Большевики второго сорта уже теперь понемногу исчезают, а главные деятели получили гарантии от немцев, что драгоценная жизнь их будет сохранена».

Более экспансивно относились к событиям штабные сотрудники. Одно из донесений, весьма характерное для общего тона осведомления и для тогдашних настроений Юга, гласило:

«Подводя итоги общему внутреннему политическому состоянию страны, все население Совдепии можно разделить на два лагеря: большевиков и не большевиков. Грани политических убеждений в различных партиях кровавым и нелепым управлением Совнаркома совершенно сгладились. Нескончаемые обиды и кровавый террор советской власти в связи с голодом настолько сгустили атмосферу, что вся Совдепия представляет из себя котел с громадным внутренним давлением, и достаточно одного сильного удара в стенку, как произойдет неслыханный и невиданный в летописях истории взрыв, который даже без внешнего воздействия сметет с лица земли советскую власть, и если вовремя им не овладеть, то может погresti остатки всякой культуры»...

Прогнозы оказались неверными — мы убедились в этом скоро, ведя тяжелые, кровопролитные бои на северном Кавказе. Неверными — не столько в изображении подлинных народных настроений, сколько в оценке их активности, а главное, в ошибочном сложении сил. Между тремя основными народными слоями — буржуазией, прелетариатом и крестьянством — легли непримиримые противоречия в идеологии, в социальных и экономических взаимоотношениях, существовавшие всегда в потенции, углубленные революцией и обостренные развешивавшей политической советской власти. Они лишили нас вернейшего залогов успеха — единства народного фронта.

Между тем в противобольшевистском стане все усилия Москвы, Киева, Ро-

* «Союз Возрождения России». Доклад привез к нам в июне Титов.

стова, Самары, всех политических и общественных организаций — правых и левых — по крайней мере в 18 году, были направлены не на преодоление этих противоречий, а на поиски «вернейшей» ориентации и «наилучших» форм государственного строя.

Ни того, ни другого мы не нашли.

Глава III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА К СЕРЕДИНЕ 1918 ГОДА: СЕВЕРНАЯ ОБЛАСТЬ, ФИНЛЯНДИЯ, ПРИБАЛТИЙСКИЙ КРАЙ, ЛИТВА, ПОЛЬША, СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ

Политическая карта Российского государства к осени 1918 года и до падения центральных держав представляется в следующем виде.

На крайнем севере Мурманский район оккупировали союзники, преимущественно англичане. Иностранных войск было там ничтожное количество. Только к осени союзники довели их до 9—10 батальонов* и 3 батарей**. Русские формирования ввиду безлюдности края не превышали нескольких рот. До 2 августа в районе сохранялась советская организация и только порваны были официальные сношения местного Совета с Москвою. Английскому командованию была безразлична тогда политическая физиономия не только местной власти, но и формируемой им вооруженной силы, в состав которой вошли, в числе прочих отряды финской красной гвардии, бежавшие из Финляндии после занятия ее немецкими войсками. Безразличны были также и русские интересы: англичане приступили к формированию особого «карельского батальона», исходя из самоопределения Карелии в отдельную «нацию» и «государство»...

Позднее, 2 августа, союзный десант высадился в Архангельске, который весьма поспешно был брошен большевиками. Английский генерал Пуль вступил в командование всеми войсками Северной области (большая часть Архангельской губ.), в состав которых в Архангельском районе, кроме англичан (4—5 батальонов), вошли американцы (4—5 батальонов), французы (1 батальон), поляки, итальянцы... Эти части начали усиливаться новыми смешанными формированиями, вроде «русско-французской реты», «славяно-британского легиона» и т. д.

Приступлено было также к организации русской вооруженной силы, основанием которой послужили офицерские команды, сформированный в Архангельске из мобилизованных полк с двумя дивизионами артиллерии и, главным образом, крестьянские партизанские отряды, насчитывавшие в общем до 3 тысяч и разбросанные на громадных расстояниях у Пинеги, Шенкурска, на Сев. Двине, Онеге, Печоре, Мезени... Все эти силы были подчинены русскому «командующему войсками»***, власть которого была, однако, лишь номинальной, ограничиваясь административными и организационными функциями. Англичане вплоть до ухода союзных войск держали в своих руках командование, боевое управление и снабжение русских войск. У русского «командующего» не было даже и органов — оперативных и снабжения. Назначенный в конце 18 г. командующим войсками ген. Марушевский приступил к использованию партизанских отрядов, обращая их путем вливания офицеров и строевых рот из Архангельска в регулярные части.

К концу 1918 г. общая численность союзных войск не превышала 10—15 тысяч смешанных частей весьма посредственного состава, а русских — 7—8 тысяч человек, мало еще организованных.

23 июня 18 г. союзные посольства, переезжая спешно из Вологды в Архангельск, издали и широко распространили воззвание, в котором цели занятия Мурманя и дальнейших затем операций союзников в Северной области в направлении к Петрозаводску и к Вологде объяснялись следующим образом: 1) необхо-

* Из них 5—6 англ., 1 франц., 1 итальян., 1 серб.

** Французские.

*** Последовательно эту должность занимали капитан 1-го ранга Чаплин, полковник ген. штаба Дуров (18 г.), ген. Марушевский и ген. Миллер (главноком.).

димостью охраны края и его богатств от захватных намерений германцев и финнов, в руки которых могла перейти Мурманская жел. дорога, ведущая к единственному незамерзающему порту России; 2) защита России от дальнейших оккупационных намерений германцев; 3) искоренение власти насильников и предоставление русскому народу путем установления правового порядка возможности в нормальных условиях решить свои общественно-политические задачи.

Насколько первые две цели, вытекающая из реальных и непосредственных интересов союзников, трактовались ими серьезно, настолько третья с первых же дней занятия Северной области обратилась исключительно в благовидный предлог морального свойства и в средство агитации.

Местное английское командование определяло цели борьбы разное. Ген. Пуль тотчас по своем прибытии в Архангельск объявил, что «союзники явились для защиты своих интересов, нарушенных появлением в Финляндии германцев», и торопил поэтому русское командование с организацией собственной армии. Сменивший его осенью ген. Айронсайд говорил о «наступлении на Вятку — Котлас для соединения с Колчаком и передачи ему привезенного для его армии имущества»*. В то же время английским добровольческим частям, отправляемым из Англии на русский Север, лондонские власти внушали, что они назначаются «лишь для оккупации, а не для боя».

Наступление, весьма, впрочем, вялое, союзники, занимавшие огромный фронт от финляндской границы до Пинеги, повели по двум направлениям: на Петрозаводск и на Вологду. В течение 18 г. они достигли, примерно, линии Пинега — Шенкурск — Плесецкая (станц. Сев. ж. д.) — Тургасово — Парандово (станц. Мурман. ж. д.).

На этих направлениях были сосредоточены небольшие советские силы, сведенные к осени 18 г. в две армии и насчитывавшие в общей сложности до 18 тыс. бойцов при 70 орудиях**.

Войска эти в 1918 г. не представляли из себя сколько-нибудь серьезной силы. Армии имели задание активно оборонять подступы к Москве и Петрограду.

С начала августа, после высадки англичан в Архангельске и начавшегося наступления на Вологду, Совет комиссаров пришел в чрезвычайное беспокойство. Большевицкие сводки до крайности преувеличивали силы союзников*** и серьезность их намерений. Переписка, обмен телеграммами, панические донесения с фронта свидетельствуют о полной растерянности большевицкой власти и командования. Над Москвой, казалось, нависла огромная угроза, и возбужден был даже вопрос о необходимости эвакуации ее... Угрожаемое в то время с востока и юга советское командование начало лихорадочно перебрасывать подкрепления из Петроградского района, даже с Мурманского направления на Архангельское. 5 августа Чичерин обратился к германскому послу Гельфериху с просьбой возложить на германские войска оборону подступов к Петрограду (игнорируя даже Петрозаводск) на позициях по реке Свири, так как все советские силы оттягиваются в Вологду. Между прочим, в то время советская власть захватила в качестве заложников «англо-французскую буржуазию», объявив, что заложники будут расстреляны, если Вологда падет.

Германская главная квартира отнеслась, однако, к этим опасениям без особенного доверия, считая, в частности, полуразрушенную Мурманскую дорогу, угрожаемую с запада германо-финским отрядам, достаточно обеспеченной.

Действительно, в силу суровости климата, пустынности театра и, главным образом, направления русской политики Лондона, находившейся под сильным давлением социалистов и рабочей партии, военные действия в Северной области не получили развития, а с уходом союзников фронт этот стал обреченным.

Государственное управление области представляет интерес в том отношении, что в противовес прочим фронтам на Севере оно осуществлялось демократией, без давления «белых генералов»: прибывший впоследствии, в начале 19 г., в Архан-

* Ген. Добровольский, «Борьба за возрождение России в Сев. области».

** На Мурманском — 6-я армия, до 10 тыс., и на Архангельском — 7-я, до 8 тыс., образовавшие «Северный фронт» под командой ген. Парского.

*** Большевики считали против себя на Северном фронте 58 тыс. штыков.

гельск по приглашению Чайковского ген. Миллер стал лишь министром в составе кабинета — военным, путей сообщения, почт и телеграфа.

В начале августа, с прибытием в Архангельск англичан, советская власть была свергнута и верховное управление перешло к «временному правительству» во главе с Н. Чайковским*, из членов Учредительного собрания северных областей, преимущественно левого толка. С не изжитой еще психологией «углубления революции», с традициями «кереңщины» и соглашательства, правительство это скоро стало одиозным в глазах буржуазии, офицерства и английского командования. С ведома ген. Пуля в сентябре правительство было свергнуто офицерством и заточено в Соловецкий монастырь, затем по требованию союзных дипломатов освобождено, причем Н. Чайковскому поручено было сформировать новое правительство из более умеренных элементов; в него вошли преимущественно народные социалисты.

Мурманский край управлялся «краевым советом» почти того же состава, что и при большевиках, подчиненным Архангельску, но ввиду трудности сообщения действовавшим почти самостоятельно.

Чайковский в январе 19 г. выехал в Париж, где и остался, став членом «Парижского политического совещания» и продолжая числиться председателем правительства; вскоре я получил от него письмо, весьма характерное для программы и иллюзий умеренной социалистической демократии:

«После 8 месяцев работы я могу с удовлетворением сказать, что мы достигли положительных результатов»...

«При организации власти мы исходили из двух положений: 1) что во время войны вся организация правительства должна быть приноровлена к обслуживанию Главного командования и 2) что она должна сохранять за собой самостоятельность в глазах населения, являясь для него защитником прав и свободы и посредником между ним и военным командованием».

«Получилась следующая конструкция: Главнокомандующему (английский генерал Айронсайд) принадлежит вся полнота власти в стране, но фактически... в политическое управление он не вмешивается, разве лишь в исключительных случаях... в интересах немедленных оперативных действий... Благодаря этому, авторитет правительства поддерживается и укрепляется и тем самым доверие, возбуждаемое (к нему) среди населения, распространяется и на командование».

В дальнейшем при развертывании правительства в российском масштабе при такой конструкции его «нет места распространению среди населения подозрений в реакционности власти военного командования и его стремлении к диктатуре»...

Словом, весь вопрос сводился к созданию демократической власти, что достигнуто вполне на Севере и без чего всякая борьба обречена на неуспех.

Указывая, что задача в Северной области «упрощена до игрушечного масштаба», Чайковский все же горячо и задушевно советовал мне применить на Юге эту систему**.

Жизнь, к сожалению, жестоко разбивала его мечты. Северная область явила пример полного раскола в среде демократии и интеллигенции, неизжитый психоз большевизма в массах и отсутствие в них всякого доверия к своему демократическому правительству. Не привлеки на свою сторону буржуазных кругов, это правительство вместе с тем встретило противодействие в широком фронте революционной демократии, в членах Учредительного собрания, в партийных организациях с.-д., с.-р., в земско-городском объединении, рабочих, кооперативах и т. д. Все они вели с правительством длительную борьбу, имевшую главной целью достижение власти. Наряду с этим с начала 19 г. вспыхивали одно за другим кровавые восстания в войсках.

Очевидно, формы государственной власти были далеко не основными причинами неуспеха противобольшевистской борьбы...

* Чайковский Н. В.— один из лидеров Трудовой партии, образовавшейся в 1917 г. (Прим. ред.)

** Любопытно, что в Сибирь своим друзьям из состава революционной демократии Н. Чайковский давал несколько иную ориентировку: «С союзниками происходит много конфликтов... Плохо быть русским министром без армии и силы». (Из телеграфного сообщения Лебедева Авксентьеву.— А. Ган.)

26 ноября 1917 г.— **Прим. ред.**) финляндское правительство опубликовало декларацию о независимости страны. «В России нет теперь правительства, — говорилось в декларации. — Так как представители (России) перестали исполнять свои функции в Финляндии, законной власти (в стране) не осталось. Войска, расположенные в стране, служат источником ужаса и побуждают революционные элементы к бунту. Анархия в России обязывает финский народ освободиться навсегда от всякой зависимости от России».

Хотя Совет народных комиссаров в конце декабря признал независимость Финляндии, но тем не менее он продолжал вмешиваться активно в гражданскую войну в крае, поддерживая восстание финских коммунистов, снабжая обильно финскую красную гвардию и подкрепляя ее русскими отрядами.

В январе 18 г. власть в стране перешла в руки социал-демократов и возглавлялась финским советом комиссаров, который утвердился в Гельсингфорсе, праявляясь с «белыми» войсками, предводительствуемыми ген. Маннергеймом *, вынуждено было уйти на север, где образовался новый центр власти и борьбы — в Вазе. Гражданская война шла с большим ожесточением и переменными успехами, пока белое финляндское правительство не обратилось за помощью к Германии.

В середине марта германцы высадили в Финляндии дивизию ген. фон-дер Гольца, который вместе с Маннергеймом к середине апреля очистил край от красногвардейцев, заняв затем своими войсками все важнейшие стратегические пункты Финляндии.

Ненависть финнов к русским большевикам перешла ко всему, что носило русское имя. Гонению подверглось все русское население, не испытывавшее ничего подобного в дни финляндского коммунизма. Если финляндская пресса того времени отражала действительно народные настроения, то они дышали страстной, болезненной нетерпимостью ко всему, что напоминало о России, даже к «проклятым луковицам» — так называли финляндцы купола православных храмов...

Был ли это только угар революционного похмелья или безудержное проявление заложенного прочно национального шовинизма?..

Немецкое влияние в стране окрепло до того, что 6 октября, накануне падения Германии, финляндский сейм высказался за монархию и за предложение престола Финляндии гессенскому принцу.

Цель оккупации края немецкая главная квартира, помимо подчинения его политическому и экономическому влиянию Германии, видела в возможности «двинуться на Петроград, когда это будет желательно, чтобы свергнуть большевистскую власть»; в угрозе Мурманской жел. дороге и в воспрепятствовании англичанам, продвигавшимся по ней, «утвердиться в Петрограде» **. Германия через Финляндию явно протягивала руку к русскому незамерзающему порту на Ледовитом океане, а в то же время Совет комиссаров, обеспокоенный движением англичан, сам просил германское правительство произвести немецко-финский десант на Мурманском побережье ***...

Просил интервенции «империалистических» войск Германии и финляндской «белой гвардии»...

Финляндское правительство, возглавляемое и социал-демократом Свинхувудом, и монархистом Маннергеймом, одинаково устремляло свои притязания на Печенгу, Восточную Карелию, Аландские острова, позднее на Эстонию, угрожая России окончательным превращением Финского залива в Финляндский.

Мировое положение запутывалось в такой степени, а интересы русского государства отменялись с такой легкостью, что все три взаимно враждебные группировки держав наперерыв друг перед другом спешили с признанием независимости Финляндии.

22 декабря состоялось признание со стороны Советов. В тот же день признала Финляндию Франция; через два дня — Германия; 23 апреля — Англия,

* Маннергейм Карл Густав (1867—1951) — до 1917 г. генерал царской свиты. В 1918 г. командовал белофинской армией. Позже маршал, главнокомандующий финляндской армией. (**Прим. ред.**)

** У Людендорфа.

*** У Гельфериха.

выразив при этом надежду, что Финляндия не станет возражать против решения мирной конференции относительно ее границ.

Этот разрыв государственной связи Финляндии с ее метрополией, хотя и predetermined историческим ходом событий, но не обеспеченный стратегическими гарантиями, поставил перед будущей Россией ряд вопросов капитальной важности: беззащитность побережья и Петрограда*; потеря свободного выхода в Балтийское море через Финский залив и базы русского военного флота; угроза наиболее жизненным русским водным артериям** и единственному свободному выходу в Ледовитый океан.

Прибалтийский край был последовательно оккупирован немецкой армией; в нем введено было общее управление для Эстонии, Лифляндии и Курляндии, соединенных в 18 г. в Балтийский округ. Управление военно-полевое, начиная от военного губернатора и кончая военным комендантом.

«Самоопределение» народностей Прибалтийского края (эсты, латыши, немцы и русские) и их будущее в значительной мере определялись общей политикой Германии, которая при наличии серьезных и подчас весьма острых разногласий между правительством, главным командованием, с одной стороны, и парламентскими партиями — с другой, сохраняла твердо свои основные линии.

Имперский канцлер Бетман-Гольвег говорил в рейхстаге: «Германия никогда не вернет освобожденных ею и ее союзниками народов между Балтийским морем и Вольной господству реакционной России, будут ли это поляки, литовцы, балты или латыши»...

Ген. Людендорф «предусматривал соединение эстонцев и латышей — народов германской культуры — в одно государство под прусской гегемонией»...

«Курляндский народный совет» 23 февраля представил императору Вильгельму петицию о принятии им «короны Курляндии», об объединении всей Прибалтики в одно государство и о присоединении его навсегда к Германии.

Сообразно с такими взглядами германское командование проводило в крае яркую политику германизации во всех областях — быта, школы, экономических отношений и т. д. В остальном отношении немецких властей к русским людям всех политических толков, кроме уличенных в германофобстве, было терпимое.

Об общественных настроениях того времени судить трудно, ибо общественная жизнь в Прибалтике под давлением военного положения и германской военной администрации совершенно замерла.

Нет сомнения, однако, что в Прибалтийском крае германофильские симпатии были совершенно чужды коренному населению. Они проявлялись неумеренно и пылко лишь немецким элементом городов и, главным образом, прибалтийским дворянством, пользовавшимся в России в течение веков привилегированным положением и благосклонностью династии. В органах немецкой печати и в воззваниях предводителей дворянства всех трех губерний прозвучали неожиданные мотивы: признание, что «с горячей симпатией и пламенным восторгом в продолжение четырех лет» оно «следило за успехами германского оружия и болело душой, что не имело возможности на деле доказать свой германизм»***... Радость, что «столь долго желанное отделение от России стало, наконец, действительно»****... Призыв «пожертвовать самым дорогим — послать своих сыновей в германскую армию, чтобы они сражались вместе со своими освободителями»*****.

Напротив, эсты и латыши относились к «освободителям» с глухой враждебностью не только в силу исторического атавизма, но и по социальным побуждениям: не было сомнения, что Германия поддержит класс крупных помещиков и промышленников — по преимуществу немцев. Они тяготились иностранной опекой, но страх перед большевиками и ненависть к ним были еще сильнее, созда-

* Кронштадтская крепость находится в 15—20 верстах от финского побережья.

** Тихвинской и Марининской системе — со стороны Ладожского озера, западный берег которого с портами Кексгольмом и Сердоболом принадлежит теперь Финляндии.

*** Ф. Деллинггаузен. (Эстлянд. дворянство).

**** Ф. Эттинген. (Лифлянд. дворянство).

***** Бар. Ф. Раден. (Курл. дворянство).

вая благодарную почву для враждебных России влияний и национального шовинизма и побуждая их явно к признанию немецкого протектората, а тайно к борьбе за полную независимость.

Как бы то ни было, Прибалтийский край с его портами, связанными с внутренними областями страны рядом могучих ж. д. магистралей и привлекавшими более трети всего нашего внешнего товарообмена, был от России отторгнут, естественные, обороноспособные рубежи потеряны, флот обречен на упразднение, и выход в Балтийское море закрыт.

Положение Литвы, оккупированной немцами еще с 1915 г., было совершенно таким же, как и Прибалтийского края, в смысле характера оккупации и общественных настроений. Новый привходящий элемент составляло разве то обстоятельство, что, кроме естественного страха перед русской анархией, у литовских шовинистов зрели уже планы, подогреваемые германским командованием, относительно объединения Литвы в «этнографических пределах», в которые они включали и большую часть белорусских губерний... Другой отличительной чертой был состав верхнего слоя буржуазии в Литве — по преимуществу поляков. Это обстоятельство облегчало значительно привлечение литовского народа в орбиту германской политики. Племенная рознь, с одной стороны, и польские притязания, с другой, обнаружались уже с самого начала оживившей национальной чаяния русской революции. Еще в мае 17 г. польский центральный национальный комитет обратился к литовской «Тарибе» (совету) с приветствием и пожеланием возобновить унию, в которой «народы Литвы — литовцы, поляки и белоруссы — получили бы гарантию национального, культурного и экономического развития». Литовский совет отказался высказаться в данный момент по возбужденному вопросу и заявил, что был бы «счастлив видеть эту гарантию и теперь — в прекращении деморализации и колонизации литовского народа в дервки и школе»...

Под влиянием общей военно-политической обстановки Литва не избежала предначертанной ей участи: «Тариба» в начале февраля 18 г. определила будущий строй «независимого» государства и обратилась к протекторату Германии, а 29 апреля император Вильгельм рескриптом своим признал «независимое и свободное Литовское государство, союзное по собственной воле с Германией».

На литовский престол был приглашен немецкий принц.

В судьбе западных областей России в период германской гегемонии на Востоке есть черты совершенно сходные. Представительства народов, населяющих эти области, собранные случайно и в обстановке, не располагавшей ни к духовному равновесию, ни к углубленному прозрению, не были следствием исторически слагавшихся взаимоотношений государств и племен. Мысли, чувства и решения вождей явились производной весьма реальных, но временных, преходящих причин:

1) Наличия на территории их единственной дееспособной силы, давившей на их волю, но обеспечивавшей временно их существование.

2) Страху перед русской анархией.

Не осталась, конечно, без влияния и память о русской политике, слишком мало считавшейся с культурно-национальными стремлениями народностей, населявших империю.

Едва ли не с наибольшей терпимостью и даже признанием отнеслась Россия к отделению русской Польши. Судьба ее в первой половине 18 г., благодаря резким противоречиям во взглядах берлинского и венского правительств, оставалась неопределенной, границы не установлены, и вся территория оккупирована немцами. Хотя независимость свою Польша получила не только из рук Временного правительства, но и двух императоров (германского и австрийского), однако отношение ее к центральным державам оставалось чрезвычайно сдержанным. И в русском общественном мнении слагалось все более прочное убеж-

дение, что в новом государственном образовании оно найдет дружественное отношение и отклик в своем национальном несчастье.

Отказ польских корпусов, созданных Россией, оказать ей помощь против большевиков и подчинение затем этих войск Регентским советом главнокомандующему германским восточным фронтом вызвали у нас некоторое смущение.

Другой эпизод, относящийся к тому же периоду, служил еще более плохим предзнаменованием для будущего... Когда по договору центральных держав с Украиной к последней отошла Холмская Русь *, это обстоятельство вызвало в Польше «взрыв» негодования». Регентский совет обратился к народу с манифестом на тему о «новом разделе», а польское общество и вся пресса разразились шовинистическими выпадами не только против договаривавшихся сторон, но и против... России.

Замечательно, что державы согласия тотчас же после заключения германо-украинского договора особым актом вступились за «попранные» права Польши, и лорд Бальфур обратился к члену польского национального комитета в Лондоне с торжественным заявлением о непризнании им отторжения Холмщины.

До лета 1919 г. командование Добровольческой армии ** с польским правительством никакой связи не имело. В конце мая 1918 г. в штаб армии приехал из Киева полковник Зелинский в качестве представителя негласной организации, образовавшейся из состава польских корпусов***, разгромленных и распущенных немцами. Впоследствии полномочия его были подтверждены «Главным комитетом польских войск на Востоке», подчиненным Парижскому «Верховному национальному комитету».

В результате переговоров о создании при Добровольческой армии польских частей появилась подписанная ген. Алексеевым и мною 30 мая декларация, которая после определения целей армии заключала следующие положения:

«III. Добровольческая армия широко раскрывает двери для польской регулярной армии, обеспечивая ей... независимую организацию на началах союзных войск, но с полным подчинением командованию Добровольческой армии в оперативном отношении.

IV. ...Польские войска во время пребывания в Добровольческой армии должны принимать беспрекословное участие в выполнении необходимых операций против большевиков.

VI. С союзниками должно быть заключено соглашение относительно доставки для польских войск вооружения, патронов, артиллерии и всего боевого снаряжения.

Со своей стороны Добровольческая армия будет братски делиться теми запасами вооружения и материальной части, которые она будет захватывать в своих боевых столкновениях с большевиками и внешним врагом».

До конца 18 г. средствами Добровольческой армии удалось сформировать польскую бригаду из трех родов оружия, часть которой под начальством подполковника Малаховского приняла кратковременное, но видное участие в боях на Ставропольском направлении. Когда же в декабре в водах Черного моря появились союзники, я отправил польскую бригаду со всей ее материальной частью на русском пароходе в Одессу, откуда она двинулась на родину.

От Нарвы по линии Псков — Орша — Рогачев — Клинцы стояли передовые германские части, занимая железнодорожные узлы и прикрывая оккупированный район — большую часть Псковской губернии и всю Белоруссию. Эта обширная территория не входила в захватные планы немцев и занималась ими исключительно с целью эксплуатации средств ее. Конечный срок оккупации определялся установлением границ Эстляндии и Лифляндии и уплатой советским правительством определенной мирным договором контрибуции.

* Холмская губерния находилась в 15 г в военном управлении Австро-Венгрии, а в 16 г. присоединена была центральными державами к царству Польскому.

** Потом — Вооруженных сил Юга России.

*** Были ранее в составе русской армии.

В соответствии, однако, с платежными средствами Москвы легальный титул оккупации был обеспечен по крайней мере до конца войны.

Очистив край от большевистских банд и восстановив в нем внешний порядок и безопасность, немцы подчинили его всецело военному управлению, наводнив его своей администрацией, персонал которой стоял зачастую на очень низком нравственном уровне. Но ни это обстоятельство, ни хищническая эксплуатация и без того разоренного края не вызывали сколько-нибудь серьезного противодействия. В крае, в особенности в восточной части его, слишком еще свежи были воспоминания о нескольких месяцах большевистского режима и слишком остро чувствовался страх перед вторичным нашествием «красных».

В крае существовали «комитеты объединенных общественных организаций» и белорусские национальные учреждения; хотя тенденции их были явно германофильскими, но никакой роли в местной жизни им сыграть не удалось за отсутствием серьезной поддержки у немцев и авторитета среди населения.

Еще в декабре 17 г. в Минске состоялся Всебелорусский краевой съезд, состоявший преимущественно из солдатчины Западного фронта. Съезд был разогнан большевиками в первый же день, успев избрать из своей среды Раду Белорусской народной республики. Рада бежала за линию фронта и вернулась в Минск в феврале вместе с немцами, пополнив затем свой состав буржуазным элементом.

Белорусский национализм в ряду других принял особенно оригинальные формы — конечно, только в интеллигентских кругах, не имевших никаких корней в народе и обративших национализм в средство политики, а иногда и... личного существования. Наряду с Минской появилось много других самостоятельных «рад», в том числе в Витебске, Могилеве, Гомеле, Гродно, Ковно, Смоленске, даже в Москве и Петрограде. Все они поднимали спор о своей «всенародности» и первенстве; одни поддерживали идею единства России, другие требовали независимости; одни «ориентировались» на большевиков, другие на немцев, поляков или литовцев; издавали воззвания, остававшиеся без отклика, и выносили резолюции, не находившие исполнителей.

Минская рада, обладавшая некоторыми средствами, посылала, кроме того, делегации в политические центры, в том числе в Берлин, Киев и на Юг. «Чрезвычайный посланник» г. Тремпович прибыл в августе на Дон «для завязывания дружественных сношений с государствами, входящими в состав Юго-восточного союза (?)», и представил ген. Алексееву «меморандум». В нем высоким слогом определялись исторические права «Белорусской народной республики», указывалось на «трудности внутреннего положения молодого государства», обусловленные разорением его, отсутствием средств и реальной силы и «антиправительственной агитацией»... Тремпович просил «моральной, а при возможности — иной помощи и поддержки»*.

В противоположность политике немецкой главной квартиры в Прибалтийском крае, где национальные части были распущены**, в этой оккупационной зоне немцы допускали русские противобольшевистские формирования для защиты края после их ухода. В Риге, Ревеле и других пунктах открылись вербовочные бюро в «Северную армию», какое название приняла к осени псковская организация. Образовался и штаб армии, возглавляемый ген. Вандамом (Едрийн), в состав которого вошли и немецкие офицеры. Немцы обещали выдать на формирование армии 150 милл. марок, вооружение и снаряжение на корпус...

Но шаги немцев в этом направлении были неискренни. Недоверие и опасение побуждали их оттягивать формирования и создавать им практические затруднения. Денег было отпущено в действительности не более 3 милл., оружия и орудий ограниченное количество, притом в большинстве брак. С другой стороны, политиканство русской общественности и инертность населения лишали эти начинания русских средств и опоры; отсутствие популярных и авторитетных военных вождей — уверенности и духовного подъема. Поэтому попытки формирова-

* Доклад от 30 августа № 92.

** Начали формироваться вновь перед уходом немцев.

ния вооруженной силы в Белоруссии ген. Кондратовичем и другими, в Псковской губернии «Северной армии» не привели к сколько-нибудь серьезным результатам.

Глава IV. БЕССАРАБИЯ

Бессарабия была порабощена румынами*.

Если в русской политике центральных держав преобладало право силы, политическая беспринципность и полное отсутствие исторического предвидения, то Румыния углубила все эти элементы до... пошлости, набросившей густой покров на трон, правителей и генералов, и вызвав на долгие, долгие годы чувство острой вражды в русском народе.

Земледельческий край по преимуществу богатый и плодородный, имевший в составе своего населения весьма незначительный контингент пролетариата — Бессарабия в течение первых месяцев революции не была вовлечена в анархию. Только к концу 17 г. после падения румынского фронта, когда волна солдатских масс прокатилась по губернии, оставляя за собой следы разрушения, начались повсюду аграрные беспорядки. Они подогревались намеренно румынским правительством, заинтересованным в создании обстановки, оправдывающей оккупацию... Проводниками его политики были тайные агенты, наводнившие край**, «группа сознательных молдаван», пользовавшаяся широкой материальной помощью из Ясс, и Сфатул-Церий — молдавский «краевой совет», фактически зависимый от румынской власти. Наконец — даже делегаты Временного правительства, по роковому недоразумению... «имевшие в то же время особую тайную миссию от румынских представителей в Петрограде»...

Организация краевой власти создавалась в порядке совершенно исключительном. В конце октября местный революционный комитет, именовавший себя «военно-молдавским исполнительным комитетом Совета солдатских, офицерских и матросских депутатов», созвал в Кишиневе Первый Всероссийский молдавский военный конгресс из депутатов — в совершенно произвольном числе и пропорции — от войсковых и тыловых частей русской армии и местных дезертиров. Этот «конгресс», совершенно неинтеллигентный по составу и большевистский по настроению, избрал «парламент» — Сфатул-Церий, в котором 44 места предоставил своим членам, 30 — крестьянам-молдаванам, 10 — представителям молдавских партий и 36 — «национальным меньшинствам», в том числе и... русскому***. Позднее было прибавлено еще 42 места образовавшимся явочным порядком молдавским организациям.

С ноября началась борьба за власть между Сфатул-Церием и сохранившими еще свое бытие прежними органами — Временным правительством, земскими и городскими. Деятельность Сфатул-Церия, направляемая немногочисленной «группой сознательных молдаван», во всех своих проявлениях, даже в радикальных, большевистского характера мероприятиях, имела основной своей целью подготовку румынской оккупации. Этот факт был настолько очевидным, что вызвал резкое негодование против Сфатул-Церия в бессарабском населении. Выразилось оно, однако, как и везде в России по отношению к случайным захватчикам власти, в формах далеко не активных: демократические городские думы и земские собрания составляли резолюции протеста; политические партии «воздерживались» от участия в Сфатул-Церии; отдельные представители их, вошедшие в состав «парламента» от национальных меньшинств, говорили там горячие, патристические, но безрезультатные речи; города игнорировали новую власть; деревня признавала ее лишь в части, относящейся к санкционированию захватов и разгрома помещичьих усадеб.

Здесь, в Бессарабии, приобщенной всецело к русской культуре, шовинистическо-национальное движение имело еще менее почвы, чем на Украине. И хотя

* События в Бессарабии описаны главным образом по материалам «Одесского комитета спасения Бессарабии».

** Например, Катарев, русский дезертир, член румынской охранки, назначенный Сфатул-Церием (см. ниже) начальником Кишиневского гарнизона.

*** По статистическим данным молдаване составляют 47,58% населения губернии.

Сфатул-Церий и говорил устами поставленного им молдавского премьера Чегуряна, что «империалистическое правительство сделало все, чтобы задушить национальное самосознание»... что «в течение прошедших 106 лет рабства нам было запрещено все. Нам было запрещено обнимать своих зарубежных братьев и слушать призывы нашей общей матери — Румынии»... Но народ и общественность были глухи к этим жалобам. Даже в недрах Сфатул-Церия они звучали фальшиво, вызывая чувство неловкости, и предназначались главным образом для экспорта за Прут и оплаты проявленных чувств и усердия.

Составленный с вопиющим нарушением каких-либо норм, даже «революционного права», малокультурный по своему составу и не отражавший ни в малейшей степени воли бессарабского населения Сфатул-Церий держался, однако, 13 месяцев — пассивностью бессарабской общественности, апатией народа, румынским золотом, потом румынским оружием.

В начале 18 года Сфатул-Церий, сам поддерживавший в крае беспорядки своими демагогическими выступлениями, обратился уже официально к румынскому правительству с просьбой о присылке войск для их подавления. И 13 января корпуса ген. Броштиану вступили в Кишинев, без труда отбросив затем за Днестр малочисленные молдавские отряды, оказавшие сопротивление.

Цель появления румынских войск в Бессарабии в приказе начальника генерального штаба ген. Презана объяснялась исключительно поддержанием в крае порядка.

Достоин удивления то единодушие, с которым отнеслись к факту оккупации края и к интересам России ее представители, враги и союзники.

Штаб Людендорфа в числе оснований будущего мирного договора еще в конце декабря 17 г. предлагал румынскому правительству занятие Бессарабии, а позднее для ее оккупации предоставил Румынии право сохранить в боевом составе несколько дивизий.

Французский посланник гр. Сент-Олер от имени представителей всех союзных держав оправдывал румынскую интервенцию и особым воззванием успокаивал население Бессарабии, что приход румынских войск не может иметь никакого влияния на ее судьбу.

Бывший главнокомандующий Румынским фронтом ген. Щербачев давал моральное оправдание интервенции, продолжая дружественное сотрудничество с ген. Презаном по подготовке мобилизации румынских дивизий. Считая, по-видимому, что события в Бессарабии являются лишь следствием политики Маргеломана *, он принял участие в тайной подготовке политического переворота совместно с представителями союзников, оставшимися в Яссах, и с румынским королем. Предполагалось, что после образования Восточного фронта Румыния сменит свое германофильское правительство Маргеломана, порвет договор с центральными державами и ударит в тыл украинской группе ген. Кирхбаха. В дальнейшем ген. Щербачеву рисовались перспективы русско-румынского альянса и движение вновь соединенных армий ** против общего врага. Кишиневский плацдарм был, очевидно, очень удобен для этой цели, а дислокация вражеских сил как нельзя более благоприятствовала успеху: в Валахии было всего лишь 3 немецкие и 3 австрийские дивизии, а в Бессарабии и Молдавии — только немецкие реквизиционные комиссии.

Ген. Щербачев сообщал нам, что примет командование объединенной армией лишь «при условии, что ген. Алексеев выразит на это свое принципиальное согласие, причем в этом случае (он) будет считать себя подчиненным ген. Алексееву, как Верховному главнокомандующему». ***

Тщетные надежды!

Пройдет несколько месяцев, политические карты перетасуются вновь. Согласие победит, место Маргеломана займет Братиано, румынская политика в третий раз переменит свое лицо, но судьбы Бессарабии останутся неизменными. Тяжкий

* Румынский премьер.

** Румынской и русской нового формирования.

*** Доклад командированного в Яссы полк. Крейтера от 18 сент. и письмо ген. Щербачева от 4 ноября 18 г.

гнет румынизации будет тем сильнее, чем явственнее станет надвигающаяся из-за Днестра опасность. И теперь уже она нервнрует румынских государственных людей и не дает им мечтать спокойно о великодержавности своей страны...

Тревога их не напрасна.

События в Бессарабии шли между тем быстро и планомерно. Прежде всего военные власти расстреляли ряд лиц из состава Сфатул-Церия и вне его — «красных» и «белых», но одинаково отрицательно относившихся к румынам. «Парламент» сбросил с себя немедленно всякий налет радикализма и уже открыто стал послушным орудием румынской власти. Затем состав его был пополнен членами от крестьянского съезда, избранными при подобающей обстановке: «ввода войск в здание заседаний съезда, арестов его членов, а затем и расстрела некоторых из них без суда, в том числе председателя и двух товарищей председателя». После принятия этих решительных мер съезд разбежался, а Сфатул-Церий актом от 24 января объявил о независимости Молдавской народной республики.

«Республика» просуществовала два месяца и три дня. За это время практика румынского командования после новых казней, арестов и бегства преследуемых за Днестр увенчалась еще большими достижениями. В Сфатул-Церии в присутствии г. Маргеломана и румынских властей в здании, окруженном войсками, был поставлен на открытое поименное голосование вопрос о присоединении Бессарабии к «Родине-матери». Только 3 человека имели мужество голосовать против и 36 воздержались. И актом 27 марта Бессарабия была присоединена к Румынскому королевству на автономных правах.

Началось приобщение края к чуждой ему государственности, вопреки подтвержденной королевским манифестом автономии, — приемами, соответствовавшими низкой культуре страны-поработительницы и нравам народа, не вышедшего еще духовно из традиций, относящихся ко времени турецкого владычества.

Бессарабская церковь отторгнута от Всероссийской, иерархи изгнаны, в чин богослужения повсюду введен румынский язык.

В учреждениях государственных все служащие заменены румынами и выброшены на улицу.

Земско-городские учреждения упразднены.

Русское право и русский суд заменены румынским правом и судом, на который возложено «кроме отправления правосудия еще и пробуждение национального чувства, которое должно воодушевлять впредь новых румынских граждан по левую сторону Прута» *...

Низшая школа и два класса средней подверглись немедленной и полной румынизации **, прочие — последовательной.

Но наиболее тягостным был тот моральный гнет, которому подвергали население Бессарабии продажная администрация и темная, грубая, как нигде, военная сила, явившаяся всевластным распорядителем жизни и имущества бессарабцев, в особенности в глухих местечках и деревнях. Осадное положение — как право; непомерные реквизиции и беспощадное обложение — как экономическая система; грабеж — как обычай; публичная порка мужчин и женщин — как возмездие за протест. «Записка комитета освобождения Бессарабии» приводит ряд документально подтвержденных эпизодов самодурства старших румынских офицеров — эпизодов, переносящих нас к началу XVI века. Мы узнаем из нее о коменданте м. Единцы, который сгонял народ и заставлял кланяться своей шапке, повешенной на шест... О ген. Штербеско, начальнике Измаильского гарнизона, требовавшем, «чтобы все должностные лица частных и общественных учреждений (русских) не выходили из дому, чтобы жители, гуляя по улице в числе не более трех, нигде не останавливались, чтобы в гостиницах не находилось в одном помещении более двух лиц одновременно, чтобы богослужения в церквях не начинались до прибытия туда жандармских чинов» и т. д. и т. д.

* Рапорт королю министра юстиции Митилеу.

** Любопытно, что анкета, произведенная в конце 17 года среди родителей учащихся в Кишиневе, дала 91,9% за русский язык.

Деятельность румынской власти и ее передаточной инстанции Сфатул-Церия вызвала возмущение решительно во всех слоях населения, независимо от национальности и «ориентации». Оно проявлялось резкими протестами организованной общественности, городов, земств, волнениями в деревне, бойкотом румынского суда и школы. Более активные проявления народного неудовольствия смолкали, однако, перед аргументацией румынских штыков и пулеметов. Единственной организацией, обращавшейся добровольно с почтительнейшими уверениями в своей лояльности к румынскому правительству, был... Союз земельных собственников. Эта «интернациональная» организация выражала одинаковую готовность служить немцам на Украине, австрийцам в Новороссии и румынам в Бессарабии; американскому * и английскому ** капиталам — лишь бы сохранить свои земли.

Создавшееся тогда в Бессарабии положение можно охарактеризовать словами видного члена Сфатул-Церия, румынофила Александри: «По всей стране стон стоит от края и до края: беззакония, издевательства, глумление такое, каких не было, быть может, от века. Времена царского абсолютизма кажутся чуть ли не раем».

Подготавливая такими путями почву, румынское правительство в конце ноября спешно созвало на очередную сессию Сфатул-Церий, и в заседании его 27-го числа, в присутствии 46 депутатов (из 162), без прений и голосования, криками одобрения провело постановление «от имени бессарабского населения» об отмене Бессарабии от своих автономных прав...

На другой же день, после принятия постановления королевским указом, Сфатул-Церий был упразднен.

Изданный вслед за тем специально для Бессарабии радикальный аграрный закон, имевший главной целью отобрание земель в общерумынский государственный фонд, устанавливал, между прочим, полное отчуждение земли у «иностранно-подданных», т. е. у тех русских и молдаван, которые отказались бы принести присягу на верность новому отечеству...

По поводу финального заседания бессарабского «парламента» «Записка» приводит один небезынтересный эпизод: генеральный комиссар Бессарабии ген. Войтояну во время беседы с крестьянской фракцией Сфатул-Церия, почти в полном составе протестовавшей против акта 27 ноября, дал поразительно беззастенчивое объяснение своим действиям ***: «Румынскому правительству было необходимо получить этот акт, по совету дружественной Франции, как доказательство расположения к Румынии всего населения»...

Против насильственного захвата румынами Бессарабии из всех государств мира протестовала только... Украинская держава.

Глава V. УКРАИНА

Украина была порабощена немцами.

Ген. Гофман, начальник штаба Восточного фронта и участник мирной конференции, впоследствии, в 19 г., говорил ****: «В действительности Украина — это дело моих рук, а вовсе не плод сознательной воли русского народа. Я создал Украину для того, чтобы иметь возможность заключить мир хотя бы с частью России»...

Эта самоуверенность немецкого генерала, не углублявшегося в сложную сущность украинской проблемы, находилась, однако, внешне в полном соответствии с военно-политическим положением. Германское правительство поспешно признало самостоятельность Украины и полномочность Рады, правительства Голубовича и посольства на конференции никому неизвестных г.г. Севрюка, Любинского и

* Проект Бискупского о массовой закупке американскими банками земель Украины и Новороссии, затем парцеляция и перепродажа землевладельцам (Одесса).

** Аналогичный проект южно-русск. земельных собственников (Екатеринодар).

*** Разговор был тогда же запротоколен.

**** «Daily Mail».

Левицкого, имевших, по существу, такой же легальный титул, как Совет комиссаров и его делегаты гг. Иоффе*, Бронштейн и Бриллиант.

Вспомним, что и правительства союзников до «Брест-Литовска» готовы были признать фактически советскую власть и Нуланс от имени союзников предлагал Троцкому материальную помощь... для борьбы против немцев. По тем же соображениям признали «украинскую республику» Франция** 5 декабря 17 г. и Англия в начале 18 г. «Представитель Великобритании на Украине» Пиктон Багге заявил, что его правительство «будет поддерживать всеми силами Украинское правительство в стремлениях к творческой работе, к поддержанию порядка и войне с центральными державами — врагами демократии и человечества...»

Правительства центральных держав подписали мирный договор с Украиной 26 января — в то время, когда почти вся Украина и столичный город Киев были во власти большевиков. По просьбе бежавшего в Житомир правительства Голубовича немцы двинули корпуса ген. Эйхгорна*** на Украину и почти без всякого сопротивления (дрались только чехословаки) совместно с австрийскими войсками ген. Бельца в течение двух месяцев заняли весь наш Юго-Запад и Новороссию****. «Надо было подавить большевизм на Украине, — пишет Людендорф, — проникнуть глубоко в страну и создать там положение, которое доставляло бы нам военные преимущества и позволило бы черпать оттуда хлеб и сырье».

Границы новообразования были определены в договоре лишь на западе — линией Белгорай — Красностав — Межиречье — Сарнаки. Но бурный протест поляков и давление австрийцев заставили мирную конференцию «разъяснить» и этот пункт, предоставив разграничительно комиссии право «провести границу, принимая во внимание этнографические отношения и пожелания населения... на восток от этой линии». На востоке границы устанавливались впоследствии теоретически бесконечными, подчас весьма курьезными переговорами Шелухина с Раковским и соглашением гетмана с донским атаманом. Фактически — линией расположения германских аванпостов, не считавшейся ни с этнографическим, ни с историческими признаками, а захватывавшей важнейшие железнодорожные узлы. Эта линия проходила через Клинцы — Стародуб — Рыльск — Белгород — Валуки — Миллерово.

Мирный договор и дополнительные соглашения накладывали тяжкое экономическое бремя на Украину. До 31 июня Рада обязалась доставить австро-германцам огромные количества хлеба и других продовольственных припасов, сырья, леса и проч.***** Взамен за эти предметы вывоза, оцениваемые по низким ставкам и низкому валютному курсу, германцы обязались доставить на Украину «предположительно», «по мере возможности» по очень высоким тарифам фабрикаты своей промышленности. В основу всей своей экономической политики Германия поставила: для настоящего — извлечение из Украины возможно большего количества сырья, для чего был затруднен или вовсе запрещен товарообмен ее с соседями, даже с оккупированной немцами Белоруссией; для будущего — захват украинского рынка и торговли, овладение или подрыв украинской промышленности и искусственное создание сильной задолженности Украины.

Осуществление этих целей требовало установления хотя бы элементарного порядка в крае и законопослушности населения. Между тем Рада и правительство Голубовича с этой задачей справиться не могли.

Непопулярность и неподготовленность украинского правительства, его полная зависимость от немцев, дикие и обидные формы украинизации, отталкивавшие одних и не удовлетворявшие других, — восстанавливали против власти боль-

* Иоффе Адольф Абрамович (1883—1927). Во время брестских переговоров входил в состав советской делегации. С апреля по ноябрь 1918 г. — полпред РСФСР в Берлине. Покончил жизнь самоубийством. (Прим. ред.)

** Генеральный комиссар французской республ. ген. Табуи.

*** Эйхгорн фон, Герман (1848—1918) — немецкий генерал-фельдмаршал. В 1918 г. командовал группой армий, оккупировавших южную Белоруссию, Украину, Юг России. Проявил большие жестокости к населению. 30 июля 1918 г. убит Борисом Донским по решению партии левых эсеров. (Прим. ред.)

**** Киев занят немцами 16 февр., Харьков — 23 марта, Ростов — 25 апр., Одесса занята австрийцами 27 февр.
***** 60 милл. пудов хлеба, 2¼ милл. пуд. живого веса скота, 37½ милл. пуд жел. руды, 400 милл. яиц и т. д.

шевистское и противобольшевистское население городов, настроение которых сдерживалось присутствием австро-германских гарнизонов. Полубольшевистские лозунги универсалов и провозглашение социализации земли подняли анархию в деревне, до тех пор сравнительно спокойной. Требование разоружения и приемы, употреблявшиеся для выкачивания хлеба из деревни, усиливали волнения. Вмешательство фельдмаршала Эйхгорна, объявившего в приказе, что урожаем принадлежит тому — помещику или крестьянину, — кто засеет поля, вызвало только озлобление и в Раде, и в крестьянстве. Все это грозило прервать сообщения в крае и возможность его эксплуатации немцами.

И потому немецкая власть решила устранить Раду.

5 апреля был заключен договор между фельдмаршалом Эйхгорном и бар. Муммом, с одной стороны, и ген. Скоропадским, с другой — о направлении будущей украинской политики.*

10 апреля австро-германцы спешно закончили и подписали «хозяйственное соглашение с Украинской народной республикой», чтобы одним его лег на Раду, не на гетмана. 13-го фельдмаршал Эйхгорн ввел военное положение с применением германской полевой юстиции, а 16-го при обстановке почти анекдотической немцы разогнали Раду и поставили гетманом всея Украины генерала Скоропадского.

«Народ безмолвствовал».

Осведомленная в киевских делах организация Шульгина сообщала нам на Юг текст телеграммы императора Вильгельма от 13 апреля к фельдмаршалу Эйхгорну: «Передайте генералу Скоропадскому, что я согласен на избрание гетмана, если гетман даст обязательство неуклонно выполнять наши советы»*

Знакомые мотивы. В 1708 г. один из предшественников гетмана Иван Мазепа писал стародубскому полковнику Скоропадскому: «С согласия всей старшины мы решили отдаться в протекцию шведского короля в надежде, что он оборонит нас от московского тиранского ига и не только возвратит нам права нашей вольности, но еще умножит и расширит; в этом его величество уверил нас своим неотменным словом и данной на письме ассекурацией». Полковник Скоропадский не послушался тогда «прелестных увещаний» Мазепы, поехал в стан московского боярина Долгорукова и сам получил гетманскую булаву.

Положение изменилось лишь внешне: водворился известный порядок, по крайней мере в городах, безопасность передвижения и даже видимый экономический подъем, в сущности, лишь прикрывший спекулятивную горячку. Впрочем, ненадолго — основа этого благополучия имела нездоровые предпосылки.

Зависимость Украины и полная подчиненность ее германской общей и экономической политике при гетмане не только не ослабли, но даже возросли. Национальный шовинизм и украинизация легли в основу программы и гетманского правительства. Сам гетман в официальных выступлениях торжественно провозглашал самостоятельность Украины на вечные времена и поносил Россию, «под игом которой Украина стонала в течение двух веков»... Кадетское министерство не отставало в шовинистических заявлениях и в прямых действиях: министр внутренних дел Кистяковский вводил закон об украинском подданстве и присяге; министр народного просвещения Василенко приступил к массовому закрытию и насильственной украинизации учебных заведений; министр исповеданий Зеньковский готовил автокефалию украинской церкви... Все вместе в формах нелепых и оскорбительных рвали связь с русской культурой и государственностью.

Только социальные мероприятия гетмана резко разошлись с политикой Рады: руль ее круто повернули вправо. Вскоре вышел гетманский указ о возвращении земли помещикам и о вознаграждении их за все понесенные в процессе революции убытки. Практика реквизиций (для экспорта), кровавых усмирений и взыскания убытков при участии австро-германских отрядов была жестока и безжалостна. Она вызвала по всей Украине и Новороссии стихийные восстания, подчас много-

* Донесение украинского посла бар. Штейнгеля от 7(20) июня из Берлина министру иностр. дел Украины. См. ниже.

** Сообщение от 25 апреля.

тысячными отрядами. Повстанцы истребляли мелкие части австрийцев, немцев, убивали помещиков, чинов державной варты, повитовых старост и других агентов гетманской власти. В повстанческой психологии не было и тени украинского сепаратизма: они видели своих врагов не в «русских», а в помещике и в немце. Вмешательство пришельцев вносило в общую сумму социальных и экономических причин возбуждения крестьянских масс еще и элемент ярко национальный — не украинский, быть может, и не российский, но, во всяком случае, в негативном его отражении против-немецкий; им увлекалась и часть офицерства, поступавшего в отряды повстанцев и вносившего в них некоторую организованность.

«Жовто-блакитный прапор», покрывавший собою политическое и социальное движение, служил национальным символом разве только в глазах украинской, преимущественно социалистической интеллигенции, но отнюдь не народной массы.

Гетманская власть покоилась только на германских штыках, а германские войска, занимавшие города и железнодорожные станции взбаламученного края, рыли окопы, оплетались колючей проволокой, чувствуя себя там, как в осажденной крепости.

Отношение к гетманскому режиму, хотя и по разным побуждениям, почти у всей русской и украинской общественности было отрицательным.

«Украинский национальный союз», объединивший в июле все украинские партии, поддерживал близкие отношения с вершителем судеб Украины ген. Гренером*, с его политическим противником — австрийским представителем гр. Форгачем и одновременно находил поддержку в левых парламентских кругах Германии. Союз вел конспиративную работу, стараясь направить волну народных восстаний демагогическими посулами в русло самостийной и социалистической политики прежней Рады.

Видные русские социалисты, примыкавшие к Союзу возрождения России, составляли заговоры против «реакционной и ненациональной» власти и пытались организовать террористические акты, которые, однако, не приводились в исполнение ввиду глубоко мирного направления руководителей союза.

Национальный Центр писал 2 июля В. Шульгину**: «Мы с негодованием следим за развитием физического (?) процесса у вас в Киеве и считаем, что это бред, одержимый всякого рода манией»...

Конференция кадетской партии 13—15 мая приняла как бесспорные начала — «воссоединение России, областную автономию и национальное равноправие» и воспретила членам партии «участие в правительстве, образованном при германской коалиции». От прямого осуждения своих киевских членов конференция, однако, отказалась: «Исполнительный Комитет, не высказывая в настоящее время своего окончательного суждения», поручал одному из членов своих выяснить... создавшееся положение и меры «для согласования положения членов на Украине с... директивами Ц. К.». Только 27 июня центральный комитет партии выразил им неодобрение «за принятие участия в организации власти, опирающейся на немецкую поддержку». В частной переписке отношения московских кадетов к киевским высказывалось гораздо резче и лапидарнее. Так, В. Степанов писал: «Здесь нет никого, кто бы не считал (как) их поведения, так и не исключившего их из партии (Обл. ком.) возмутительным и марающим партию. Меня ободряет, что гонение на партию в Москве отчасти смывает ту грязь, которой облили нас киевляне, бросившись головой вниз в помойную яму германофильства»...

Киевские националисты, группировавшиеся вокруг В. Шульгина, сурово осуждали гетманскую власть по мотивам национальным и политическим.

На стороне ее оставались, притом лишь до падения Германии, только Союз хлеборобов-собственников в лице крупных землевладельцев, воз-

* Начальник штаба фельдмаршала Эйхгорна.

** Шульгин Василий Витальевич (род. в 1879 г.) — волынский помещик, монархист, член антисоветского Национального центра, эмигрант. В 1944 г. препровожден в Советский Союз и осужден. Освобожден в 1956 г. (Прим. ред.)

главлявших эту бутафорскую организацию, весь сектор крайних правых и «Протофис»*. Словом, земельная и финансовая знать — максималисты в области классовых целей и интернационалисты в способах их достижения.

Я приведу характеристику этой среды, исходящую из источника, который нельзя заподозрить в некомпетентности и в предвзятости. Кн. Гр. Трубецкой писал: «Аристократический квартал Липки был... жутким привидением минувшего. Там собралась Петербург и Москва; почти все друг друга знали. На каждом шагу встречались знакомые типичные лица бюрократов, банкиров, помещиков с их семьями. Чувствовалось, в буквальном смысле слова, что на их улице праздник. Отсюда доносились рассказы о какой-то вакханалии в области спекуляции и наживы. Все, кто имел вход в правительственные учреждения, промышленяли всевозможными разрешениями на вывоз, на продажу и на перепродажу всякого рода товаров. Помещики торопились возместить себя за то, что претерпели, и взыскивали, когда могли, с крестьян втрое за награбленное. Правые и аристократы заискивали перед немцами. Находились и такие, которые открыто ругали немцев и в то же время забегали к ним с заднего крыльца, чтобы выхлопотать себе то или другое. Все эти русские круги, должен сказать, были гораздо противнее, чем немцы, которые, против ожидания, держали себя отнюдь не вызывающим образом».

Наконец на стороне гетманской власти стояли еще довольно широкие бездейственные обывательские слои, не углублявшие смысла происходящих событий и жаждавшие покоя, безопасности и примитивного порядка — какой угодно ценой.

Извне гетманскую власть поддерживал московский Правый центр и примкнувший к нему персонально Милюков**. Последний своим влиянием на кадетов — членов правительства старался, сколько мог, умерить буйный характер их самостоятельной практики, но в самом факте украинского и донского переворотов видел «явление одного порядка и явление положительное... начало возрождения российской государственности»... «Государственная самостоятельность областей, освободившихся от большевиков раньше Москвы, — писал он, — ***является неизбежной переходной стадией и неизбежным последствием бессилия Москвы освободиться... собственными силами... Участие в перевороте германцев является печальной неизбежностью, но все же второстепенной чертой»...

В. Шульгин, отражая взгляды националистов, писал на Юг: «Я не смог провозвести над собою ломки, т. е. работать над восстановлением России с немцами... Вопреки мнению Милюкова утверждаю, что киевские кадеты всенародно продали единство России, что было совершенно непростительным шагом».

Эти два вопроса (единая государственность и «ориентация») поглощали всецело внимание русских политических кругов и вызвали среди них ожесточенную полемику. Все другие стороны жизни Украины в их глазах отходили на задний план. В частности, весьма характерно, что в том огромном калейдоскопе личных, письменных и печатных ориентировок, которые сосредоточивались в руках командования Добровольческой армии, они отражения почти не находили.

Как смотрел гетман на свои взаимоотношения с Германией?

За несколько дней до захвата власти он приехал к одному из известных киевских генералов и предложил ему принять участие в образовании нового правительства, «которое должно заменить Центральную раду и явиться посредником между германским командованием и украинским народом». Упомянул, что в этом деле заинтересованы немцы... Когда собеседник его ответил отказом, мотивируя «неприемлемостью для него работы с немцами и на них», Скоропадский возразил, что «немцы здесь ни при чем, что он будет вести вполне самостоятельную политику, и закончил даже наивным заявлением, что надеется обойти немцев и заставить их работать на пользу Украины».

«Обойти» оказалось невозможным.

* Союз промышленности, торговли и финансов.

** Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — основатель и лидер партии кадетов. Один из идейных вдохновителей корниловского мятежа. В годы гражданской войны вначале ориентировался на немцев, затем на Антанту. Эмигрант. (Прим. ред.)

*** Письмо из Ростова в Москву от 25 мая.

В среде оккупантов шли серьезные внутренние трения: германское парламентское большинство и правительство, австрийское посольство в лице гр. Форга-ча требовали самостоятельности Украины; немецкая военная партия, исходя из практических расчетов — обеспеченности снабжения и ликвидации нарождавшегося Восточного фронта, — временно склонялась к единству России. В зависимости от того, какая педаль нажимала сильнее на Эйхгорна и Мумма, определялся и политический курс гетманской политики.

28 мая генерал Гренер говорил делегации от свергнутой Рады: «Германия искренно желает самостоятельности Украины, и будьте уверены, что она — единственный могущественный защитник этой самостоятельности в Европе. Мы хотели вас поддержать. Но анархию и социалистические беспорядки по соседству с нашей империей терпеть не хотим, не можем и не будем»... И гетман клал руль вправо и насильственно украинизировал страну руками кадетов и «умеренных» украинских националистов...

К этому времени относится разговор гетмана с одним видным русским генералом, которого прочили на должность военного министра. На вопрос его, правда ли, что гетман принял свой пост исключительно с целью воссоединения Малороссии с Россией, — генерал Скоропадский ответил отрицательно: «Может быть, в отдаленном будущем это и случится: но сейчас я буду стоять на почве самостоятельности Украины» *... Чрезмерно ревнивое отношение гетмана в то время к «русским влияниям» приводило иногда к курьезам. Так, когда архиепископ Антоний был назначен киевским митрополитом, Скоропадский, предполагая встретить в нем врага гетманской власти и немецфильской политики, отказался вначале признать патриаршее назначение и убедительно просил Эйхгорна воспрепятствовать торжественной встрече архипастыря православными киевлянами. Гетман уверял, что митрополит Антоний «большой реакционер» и что «из встречи его хотят сделать большую москвофильскую демонстрацию» **...

В октябре ген. Гренер заявил ***: «Положение момента выдвигает сейчас перед Украиной задачи укрепления здоровых национальных устоев и привлечения народных кругов к участию в строительстве страны, как и в ее управлении. И здесь, как и в Германии, в состав правительства будут привлечены представители левых и демократических течений»... Практиковавшаяся немцами ранее скрытая поддержка этих кругов теперь становится явной. И гетман привлекает в состав правительства украинских социалистов и нажимает еще сильнее пресс украинизации. «Новый состав совета министров, — говорит премьер Лизогуб представителям печати 17 октября, — в области внешней и внутренней политики будет стремиться к более резкому выявлению национального лица украинской державы, отстаивая всеми силами самостоятельность и суверенность Украины».

А в то же время (9 октября) представителю Добровольческой армии, полковнику Неймирку, при «случайной встрече», устроенной самим гетманом в квартире его адъютанта гр. Олсуфьева, он говорил: «Я русский человек и русский офицер; и мне очень неприятно, что, несмотря на ряд попыток с моей стороны завязать какие-либо отношения с ген. Алексеевым... кроме ничего не значащих писем... я ничего не получаю... Силою обстановки мне приходится говорить и делать совершенно не то, что чувствую и хочу, — это надо понимать. Даю вам слово, что до сего времени я буквально ничем не связан, никаким договором с Берлином **** и твердо отгородился от Австрии... Я определенно смотрел и смотрю — и это знают мои близкие, настоящие русские люди, — что будущее Украины в России. Но Украина должна войти как равная с равной на условиях федерации. Прошло время командования из Петербурга — это мое глубокое убеждение. Самостоятельность была необходима, как единственная оппозиция большевизму: надо было поднять национальное чувство. И переворот, который был сделан пришедшими немцами, я ранее еще предлагал союзникам, лично говорил об этом с ген. Табуи»... *****

* Беседа ген. Х. с Шульгиным.

** Доклад шульгинской организации от 5 июня и свидетельство А. В. Сторенко.

*** Киевские «Последние Новости», 11 октября.

**** Договор от 5 апреля?

***** Доклад киевского представителя 14 окт. № 6.

В ноябре ген. Гренер, сменив Людендорфа, сдавал уже германские армии на волю победителей... В Киеве говорил авторитетно только... немецкий Совет солдатских депутатов. И гетман распускал правительство, приглашал на пост премьера «царского» министра Гербеля и издавал грамоту о Всероссийской федерации с включением в нее Украины. Одновременно ген. Скоропадский не прекращал весьма оживленных тайных переговоров с Украинским национальным комитетом, а на Юг сообщал, что «украинские силы... возглавляемые гетманом... в согласии с Доном и параллельно с Добровольческой армией направляются на борьбу с большевиками и на восстановление единства России»*.

Такой же двойственностью отличалась политика украинского правительства. Наиболее влиятельная кадетская часть его в замкнутом кругу киевского главного комитета, под сильным давлением Милюкова, стремившегося обуздать размах украинизации, выносила постановления следовать «по линии превращения местного национального движения в общегосударственное путем объединения всего Юга России»**. А вне стен комитета «согласованные действия» киевлян проявлялись проповедью на тему: «Единая Россия — это нелепость... Насильственное соединение в одном государстве столь больших и столь разнородных частей недопустимо»... Вдохновитель и правая рука гетмана, Игорь Кистяковский, в конце 1917 г. был приверженцем Корнилова и Добровольческой армии, весной 18 г. — самостийником и германофилом, в октябре, когда немцы потребовали его удаления с поста, — федералистом и германофобом; а в ноябре... централистом и антантофилом...

В свою очередь — само двуличное — германское правительство находило также некоторые странности в украинской политике... Украинский посол в Берлине, бар. Штейнгель, 7 июля доносил министру иностранных дел: «Императорское правительство находит, что наше правительство не достаточно твердо в своей политике, почему в Киеве происходит двойная политическая игра, вредящая упрочению дружбы между Германией и Украиной. Императорское правительство желает, чтобы политика Украинского правительства соответствовала во всех отношениях условию, заключенному 18 апреля (нов. стиля) 1918 г. между генерал-фельдмаршалом Эйхгорном и бар. Муммом, с одной стороны, и Украинским правительством гетмана, в то время находившимся в процессе формирования, с другой стороны... Ввиду этого Императорское правительство желает расширить границы своих прав в целях организации порядка и правосудия»...

Впрочем, к концу сентября, после поездки гетмана в Берлин, взгляд германского правительства изменился и министр ф. Гинце в рейхстаге заявил, что на Украине «продолжается в утешительном направлении процесс консолидации. Гетман с министрами вошел в Берлине в соприкосновение с нашим правительством. Констатируем, что намерения гетмана лояльны, планы его нам откровенно ясны».

Внешние сношения Украины также всецело зависели от немцев. Все спорные территориальные вопросы о западной границе, о подчинении Украине Крыма, о Ростовском, Таганрогском округах и части Бессарабии, на которые претендовала Украина, разрешались односторонней волей немцев и притом не в ее пользу.

Наиболее характерной была длившаяся бесконечно долго украинско-большевистская конференция, заседавшая в Киеве, с Шелухиным и Раковским во главе. Поскольку вопросы, касавшиеся интересов Германии, как, например, передача оккупированной Украине в большом числе подвижного железнодорожного состава и урегулирование железнодорожного сообщения, проходили быстро, постольку все остальные, в особенности вопросы о границах, затягивались неимоверно. Участники конференции играли положительно непристойную роль, будучи пешками в руках закулисного дирижера. Приводимый документ характеризует в достаточной мере эти взаимоотношения:

Секретно.

Г. Председателю мирной делегации Украины С. Шелухину.

Ввиду того, что в частном разговоре с министром иностранных дел предсе-

* Телеграмма на мое имя министра иностр. дел Афанасьева 16 ноября.

** Из письма Милюкова.

датель мирной делегации Раковский выразил желание разрешить возможно скорее вопросы, относящиеся к соглашению между Российской республикой и Украинским государством, считаем необходимым поставить вас в известность, что ускорение украинско-русских отношений возможно лишь после того, как по этому вопросу выскажется германское правительство *...

Но если дела конференции не подвигались вперед, то многочисленная советская делегация с большим успехом вела пропаганду и организацию тайных большевистских очагов.

В октябре министерство внутренних дел обнаружило две большевистских крупных организации в Киеве и Одессе, находившиеся в деятельных сношениях с делегацией Раковского. После произведенных арестов и выемок как в организациях, так и у самих делегатов обнаружилось, что работа большевиков велась совместно с Украинским национальным комитетом и что посредниками между ними были... представители немецкой власти...

Результаты этого скандального разоблачения были совершенно неожиданные: удаление по требованию немцев с поста министра внутренних дел Кистяковского и освобождение арестованных большевиков.

Нужно было обладать поистине огромным самопожертвованием, неограниченным честолюбием или полной беспринципностью, чтобы при таких условиях стремиться к власти на Украине.

Ведение самостоятельной внешней политики было тем более невозможно для Украины, что, невзирая на наличность огромных военных запасов и людского материала, она не имела в о с е а р м и и.

Вооруженные силы гетмана состояли: 1) из дивизии ген. Натиева, сформированной из добровольцев, стоявшей в Харькове, находившейся в подчинении у немецкого командования, совершенно разложившейся и впоследствии разоруженной немцами; 2) Сердюцкой дивизии (гвардейской), составленной по набору исключительно из сыновей средних и крупных крестьян-собственников и вскоре разбежавшейся; 3) из охранных и пограничных сотен, несших службу: первые — полицейскую в уездах, вторые — пограничную на западе; 4) наконец, в августе из Владимир-Волынска прибыла сформированная там австрийцами из военнопленных украинцев 1-я Украинская пехотная дивизия, которая вслед за тем ввиду непригодности была расформирована.

Немцы всемерно противились организации украинской армии, считая ее опасной для себя, и допускали только существование ее кадров.

Подготовка этих кадров — штабов без войск — шла планомерно и основательно. Предполагалось создать 8 корпусов двухдивизионного состава и 4 конных дивизии. С условного согласия немцев готовился к обнародованию указ о мобилизации, и набор предполагался на 15 ноября. Точно так же готовились кадры «украинского флота», в состав которого должны были войти впоследствии разоруженные и охраняемые немцами русские суда Черного моря. Как известно, к этому времени наступили события, потрясшие Германию и поставившие Украину безоружной перед лицом большевистского нашествия. Поэтому вопрос об украинской армии интересен лишь с бытовой стороны.

Офицерский состав ее был почти исключительно русск и й. Генералитет и офицерство шли в армию тысячами **, невзирая на официальное поношение России, на необходимость ломать русский язык на галицийскую мову ***, наконец, на психологическую трудность присяги в «верности гетману и Украинской державе».

Побудительными причинами поступления на гетманскую службу были: б е с-

* Сношение министра иностранных дел Д. Дорошенко от 2 сентября 18 года № 2184.

** Генеральный штаб, например, был представлен столь широко, что часть оберофицерских должностей занимали подполковники.

*** Один из офицеров украинской службы рассказывал о порядке делопроизводства: начальник пишет бумагу на русском языке и дает ее переводить писарю. Последний берет словарь Толпыго, подыскивает украинские слова и, не зная оборотов речи, склоняет и спрягает их по-русски... Интересно, что сношения с немцами приказано было вести только на русском или немецком языках.

принципность одних — «все равно кому служить, лишь бы содержание платили», — и идейность других, считавших, что украинская армия станет готовым кадром армии русской.

Так как истинные мотивы тех и других не поддавались определению, то в добровольчестве создалось резко отрицательное отношение ко всем офицерам, состоявшим на украинской службе.

Каковы же были истинные стремления гетмана и его правительства в центральном вопросе — об отношении к России? Было ли официальное исповедание разрыва с русской культурой и государственностью только личиной или искренним их убеждением?

Прежде всего, в состав украинского правительства входили люди различных толков. Для одних самостоятельность Украины была целью, для других — средством. Где — в средствах и целях — проходила грань побуждений личных, классовых, партийных, может быть, своеобразно понимаемых национально-государственных, для нас было и осталось неясным. Но вся совокупность фактов украинской действительности приводила нас к неизменному убеждению в беспринципности украинской политики.

Сохранение русской государственности являлось символом веры ген. Алексеева, моим и всей Добровольческой армии. Символом ортодоксальным, не допускавшим ни сомнений, ни колебаний, ни компромиссов. Идея невозможности связать свою судьбу с насадителями большевизма и творцами Брест-Литовского мира была бесспорна в наших глазах не только по моральным побуждениям, но и по мотивам государственной целесообразности. Идея эта не находила, однако, такого безусловного признания в глазах всей армии, как первая.

Эти положения легли в основу наших отношений к гетману. Ни ген. Алексеев, ни я не вступали с ним в сношения...

Но вместе с тем командование не прибегало ни к каким конкретным мерам, враждебным гетманскому правительству...

Штаб Добровольческой армии не умел и не хотел вести политической интриги. Да и самый факт гетманства не казался угрожающим для национальной русской идеи. В годы, когда рушились вековые троны и сходили со сцены исторические династии, основание новых представлялось весьма проблематичным... В этом убеждении укрепляли нас и исторические прецеденты. «Малорусский народ, — говорит историк, — решительно не пристал к замыслу гетмана и нимало не сочувствовал ему. За Мазепою перешли к неприятелям только старшины, но и из них многие бежали от него, лишь узнали, что надежда на шведского короля плоха и что Карл, если бы даже и хотел, не мог доставить Малороссии независимости».

Для многих политических деятелей теперь, как и двести лет тому назад, — хотя обстановка стала неизмеримо сложнее, — решение украинской проблемы сводилось только к предвидению: кто победит? Карл или Петр? Гинденбург* или Фош**?

* Гинденбург Пауль (1847—1934) — германский генерал-фельдмаршал, в годы первой мировой войны — командующий немецкими войсками на Восточном фронте. (Прим. ред.)

** Фош Фердинанд (1851—1929) — французский маршал, во время первой мировой войны командовал французскими армиями, затем верховный главнокомандующий вооруженными силами Антанты. (Прим. ред.)

(Продолжение следует.)

А. АВТОРХАНОВ

М е м у а р ы

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ*

Еще несколько лет назад за одно только сочувственное упоминание имени Абдурахмана Авторханова (не говоря уж о чтении его произведений) можно было угодить в тюрьму. Сегодня его широко цитируют, выходят в свет его книги «Империя Кремля», «Загадка смерти Сталина», «Технология власти». «Октябрь» познакомил читателей с фундаментальным трудом историка «Происхождение партократии» («Октябрь», 1991. №№ 2—3).

Однако до сих пор вокруг имени Авторханова немало тайн, домыслов, обвинений вплоть до самых тяжких. Неудивительно: ведь биография Авторханова была известна нам лишь в чекистской редакции, а в этом ведомстве большие мастера подтасовок. Но, надо признать, и материал «для обработки» им достался богатый. А. Авторханов — человек сложной судьбы. Коллизий его жизни хватало бы не на один авантюрно-приключенческий роман. Ответственный партийный работник, враг народа, «лазутчик НКВД» среди чеченских повстанцев, историк, приговоренный к расстрелу за книги «Сталин у власти» (1951) и «Народоубийство в СССР» (1952), преподаватель в Русском институте американской армии — каких только превратностей и потрясений не уготовила ему судьба! Да и сам он не уходил от рискованных решений.

«Мемуары», написанные десять лет назад, — это попытка Авторханова прорвать-ся сквозь завесу официальной пропаганды, его надежда быть услышанным и понятым соотечественниками. Авторханов-мемуарист продолжает главную тему Авторханова-литолога — анализ советского социалистического режима, его политической системы, но в ином жанре, на материале собственной жизни, осмысляя свой опыт, свой путь от правоверного большевика до убежденного антикоммуниста.

Безусловно, размышления о времени, о пережитом человеке такой судьбы, такого масштаба, как Авторханов, заслуживают самого серьезного внимания. Вне зависимости от того, насколько близки читателю позиция автора, его жизненный путь, его выбор.

Особенно ценно то, что в «Мемуарах» значительное место уделяется сложным, практически до сих пор неизвестным у нас фактам советской истории. Раньше их тщательно скрывали, и теперь несмотря на гласность к ним как-то не рискуют прикасаться ни журналисты, ни политики. Или затрагивают слегка, в той мере, в какой они вписываются в любезные данному лагерю (будь то демократы, неолевые или монархисты), концепции истории или рецепты спасения отечества. Увы, отмена цензуры не изменила привычки к упрощенным схемам, не излечила от соблазна выбирать из многомерной действительности лишь удобные факты.

Авторханов, не увильвая, ничего не приукрашивая, не прибегая к политическим эвфемизмам, пишет о национальных движениях в советских республиках, о восстании чеченцев и депортации народов, о трагической проблеме выбора, перед которыми оказались противники сталинского режима во время Великой отечественной войны (где их фронт? кто враг? кто союзник?), об отношениях русской и национальной эмиграций с Германией и с союзниками СССР по антигитлеровской коалиции. И о многом другом — болезненном, трагическом, запутанном. Он приглашает к открытому, честному разговору, к обсуждению трудных вопросов — в полном объеме. Сегодня это необходимо. Потому что мы, кажется, начинаем понимать: нет ничего опаснее полузнания, упрощенных схем и решений.

Н. ЛОШКАРЕВА

Из ИКП в НКВД

Никакой Новый год так торжественно не встречали в нашем Институте красной профессуры, как навеки проклятый 1937-й. По заранее составленной программе был приготовлен тот прославленный

русский стол, бедный изысками «филоффов» французской кулинарии, зато богатый отстоявшимися веками традиционными национальными блюдами варки, жарки и печения, один лишь запах которых вызывает неуправляемый аппетит. Тут было все — начиная от разнообразнейших

* Журнальный вариант.

закуску и кончая гусями и дичью, заправленными всякой всячиной. Вдоволь напекли кулебяк, пирогов с начинкой. Из кремлевского распределителя навезли дефицитные продукты — сыры, свежие фрукты и овощи из южных стран, французский коньяк, баварское пиво, русскую водку, которая, правда, никогда не была «дефицитным» товаром в России, но в распределителе ее отпускали по себестоимости, то есть почти бесплатно.

Не забыли и о духовной «пище»: пригласили мастеров русского фольклорного искусства из ансамбля Александрова, которые были виртуозны в русской пляске и воспитательны в русской песне. Среди почетных гостей были Качалов и Мейерхольд с его очаровательной женой Зинаидой Райх. Над портретом Ленина во всю стену красовалось: «С Новым годом, с новым счастьем, товарищи!»

Однако торжество явно не клеилось, именно потому, что от Нового года даже в этом зале идеологической элиты партии мало кто ожидал счастья. Бодрящая музыка и веселые песни звучали издевательски, как прелюдия к «пиру во время чумы». В глазах многих наших партийных профессоров, более осведомленных, чем мы, я читал тревогу; они были подавлены и молчаливы. Тостов они никаких не произносили и на чужие тосты очень вяло реагировали. На некоторое время и они ожили, когда по единодушному требованию зала Василий Иванович Качалов прочел в числе других знаменитые стихи Есенина «Собаке Качалова»... Когда же музыканты и певцы исполнили «Письмо матери» (Есенин был запрещен для народа, но для элиты типография ЦК издала большой том его избранных стихов). — то это все приняли благодарно, словно бальзам, обезболивающий тяжкие роды сталинщины. За столами места занимали свободно. Я очутился между проф. Фридляндом и проф. Ваногом*. С Ваногом у меня отношения были хорошие, с Фридляндом, напротив, — сухие, наверное, из-за того, что я не был «западником». Не помню, шагнули мы уже в Новый год или только вот-вот подходили к его роковой черте, но под влиянием уже выпитого во мне проснулось страстное желание произнести тост (на что мы, кавказцы, неутомимые охотники) за этих наших двух ведущих партийных профессоров. Разумеется, я не скупился на похвалы по поводу их научных достижений, потревожил даже тени их великих предшественников Тацита (Фридлянд) и Нестора (Ванаг). Едва я кончил свой тост, а аплодисменты еще продолжались, как в зал ворвалась группа штатских лиц, набросилась сперва на Фридлянда**, а

потом и на других партийных профессоров. Надели на них медные наручники и вывели. Я вышел на улицу — наш институт, оказывается, был окружен вооруженными чекистами.

Через несколько недель мы читали, что Фридлянд и Ваног хотели «убить» Сталина, а Пионтковский и другие оказались «шпионами». Минца не было среди арестованных, беспартийных профессоров вообще не тронули. Так как то же самое происходило и в других академических учреждениях Москвы, то ЦК ничего не оставалось, как назначать нас, слушателей выпускных курсов, преподавателями младших курсов ИКП. Через годы, когда начали арестовывать почти всех старых икапистов, тогда вообще ликвидировали ИКП. В Институте мы должны были «разоблачать» арестованных как «врагов народа», хотя даже самые законченые сталинцы среди нас этому не верили. Сам факт ареста людей органами НКВД уже считался бесспорным доказательством их вины. Не было никакой возможности выступить на собраниях в их защиту или воздержаться при голосовании за их исключение задним числом из партии. В тех условиях в этом не было и резона. Сомнение в мудрости Сталина и безошибочности действий чекистов каралось тюрьмой, лагерем, а то и смертью. У нас в Институте нашелся только один человек, слушательница западного отделения, которая на общеинститутском партийном собрании заявила: все, что сейчас происходит, — это дикий кошмар, который своими духовными корнями уходит в фашизм, а не марксизм. Ее мы больше никогда не видели. Для отчаявшихся в жизни самоубийц, искавших героической смерти не от своих, а от чужих рук, сталинский режим был идеальной находкой! Смелое и организованное сопротивление против сталинизма было возможно и имело смысл в двадцатые и до середины тридцатых годов. Любое сопротивление — индивидуальное и коллективное — кроме террористического акта против самого Сталина, со второй половины тридцатых годов было уже пусть и героическим, но безрассудным подвигом самопожертвования. Самая безобидная критика действий чекистов считалась изменой Родине и каралась смертью. Поэтому у Сталина и не водились диссиденты.

Наш последний учебный год приближался к концу.

Наконец настали дни государственных экзаменов. Вывешены списки выпускников, расписаны порядки и времени вызова экзаменуемых. Почти все члены Государственной экзаменационной комиссии — из Московского университета. Для оценки знаний установлена трехбалльная система — «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «отлично». Некоторые провалились, иным назначили переекзаменовки, но были и круглые отличники. Мои оценки были средние, но я был все-таки доволен, что сдал экзамены: немец-

* Автор ошибается: Н. Н. Ваног был арестован 21.6.1936 г., расстрелян 8.3.1937 г. (Прим. Д. Г. Юрасова).

** В неопубликованной рукописи Ф. Светов сын проф. Г. С. Фридлянда, со слов покойной матери пишет, что отец был арестован 31 мая, а не 31 декабря 1936 г. Может быть, это был первый арест? — А. А.

кий язык — удовлетворительно, всеобщая история — удовлетворительно, история России — СССР — отлично.

Спрос на выпускников был большой, так как чекисты нещадно опустошали не только кафедры в университетах, но и кабинеты центральных и местных шефов идеологических учреждений. Многие из выпускников были назначены секретарями обкомов и крайкомов по идеологии, некоторые были забраны в аппарат ЦК. Один из них сразу получил должность заведующего школьным отделом ЦК (Яковлев). Намеченную на эту должность глубоко мною уважаемую Зою Васильевну Мосину, женщину выдающихся способностей, исключительной порядочности и больших заслуг в гражданской войне, отставили и направили членом редколлегии журнала «Историк-марксист», когда расстреляли ее столь же заслуженную сестру, работавшую торгпредом СССР в Англии. Остальные получили назначения на преподавательскую работу.

Мне сказали, что меня намечено сделать преподавателем межобластных курсов секретарей райкомов и горкомов партии в Куйбышеве, где заодно я буду преподавать историю в Университете. Пока будет принято решение, я остаюсь в резерве кадров ЦК. Проходил месяц за месяцем, но решения никакого нет и нет, в ЦК никто не вызывает, а спрашивать у ЦК, в чем дело, не только бесполезно, но и неразумно. Я уехал на несколько дней в Грозный. Тем временем читаю в «Правде»: «Буржуазно-националистический клубок в Чечено-Ингушетии». Таким образом руководители Чечено-Ингушского обкома партии обвинялись в «буржуазном национализме» и во вражеской деятельности. Разумеется, их дни на свободе были сочтены.

После февральско-мартовского пленума ЦК началась новая эпоха. Раньше, когда местные комитеты партии обвиняли в «контрреволюции» того или иного коммуниста, это еще надо было доказать фактами перед верховным партийным судом, но теперь сам Сталин объявил миллионы партийных и беспартийных потенциальными «врагителями» и «врагами народа». Бессмысленно было опровергать обвинения Сталина «фактами» против Сталина, как бессмысленно было бы жаловаться Сталину на Сталина. Это я, немножко в иной форме, и сказал второму секретарю Чечено-Ингушского обкома Вахаеву, когда он обратился ко мне с просьбой помочь ему написать «опровержение» статьи «Правды». Он снабдил меня фактами и документами, опровергающими измышления авторов корреспонденции в «Правде». Основываясь на них и на личных объяснениях Вахаева, я написал развернутое заявление на имя Сталина. Только после этого я объяснил Вахаеву, что из этого заявления, видимо, ничего не выйдет, ибо речь идет о шаблонных обвинениях против всех руководителей всех автономных и союзных республик, обвинениях, которые ежедневно

появляются на страницах «Правды»; меняются только названия республик и имена их руководителей, но полностью повторяется стереотип обвинения. Значит, состоялось какое-то общее решение Политбюро радикально менять руководство на местах.

Через несколько дней Вахаев пригласил меня на обед. На обеде присутствовали прокурор республики Хасан Мехтиев, ряд наркомов. Я заметил, что он очень бодро настроен. И быстро узнал причину.

— Я по прямому проводу говорил с Маленковым, он был вежлив и пригласил меня на личный разговор. Поедешь со мною, я хочу заодно просить его, чтобы тебя отправили не на Волгу, а к нам, в Чечено-Ингушетию.

Характерная деталь — когда мы обедали и оживленно говорили о политических делах, пришла в столовую жена Вахаева и сообщила мужу, что пришел такой-то член «автономного» правительства, — Вахаев приложил палец к губам и сказал: «Ни слова о политике, он сексот НКВД». «Вот тебе знамение времени — секретарь обкома партии боится сексота НКВД», — подумал я. Я принял предложение Вахаева и вместе с ним вернулся в Москву, тем более что это давало мне возможность узнать что-нибудь о своей перспективе (ведь все назначения всех отделов ЦК были действительны, если завизированы Маленковым, шефом отдела кадров ЦК).

В Москве мы остановились в новой гостинице «Москва», где секретарь обкома получил обширные апартаменты. («Тем теснее потом будет в тюремной камере», — подумалось мне.)

До свидания с Маленковым у нас был еще один день, поэтому мы решили проштудировать материалы обкома, чтобы Вахаев мог отвечать на любые вопросы грозного для партаппаратчиков верховного шефа кадров. Маленков имел, не будучи даже членом или кандидатом в члены ЦК, такую власть, что по его личному указанию снимали любого секретаря обкома партии (раньше на это требовалось решение Оргбюро); ведь это Маленков, еще до начала ежовщины, в 1936 г., поехал в Тбилиси, вызвал туда первого секретаря ЦК партии Армении Ханджяна и предложил тогдашнему секретарю ЦК Грузии Берии тут же, в своем кабинете, застрелить Ханджяна. Вспоминая об этом, Вахаев шутя, спрашивал меня:

— Как ты думаешь, Абдурахман, не хочет ли Маленков отправить меня к Ханджяну?

Я его успокоил, сказав что-то вроде: «На Старой площади такими вещами не занимаются. Для этого существует недалеко отсюда другая площадь — Лубянка!»

На второй день ровно в назначенное время мы были в приемной Маленкова. Как я и ожидал, заведующий приемной (абсолютный Маленков, только в миниатюре) пустил к Маленкову лишь одного Вахаева, а мне сказал, проверив список посетителей на этот день: «Мы вас не вы-

зывали». Не помогли и объяснения Вахаева, что он привел меня, чтобы поговорить с Маленковым о моем откомандировании в Чечено-Ингушетию. Аудиенция Вахаева у Маленкова продолжалась ровно десять минут и ни одной минутой больше: оказывается, Маленков не дал ему говорить.

Страшно расстроенный, но силясь сохранить внешнее спокойствие, Вахаев еще при выходе из здания ЦК начал мне рассказывать, конечно, по-чеченски, почему он был вызван:

— Маленков говорит, что в Чечено-Ингушетии каждый второй коммунист — враг народа, а каждый третий чеченец или ингуш — бандит. Он мне дал один месяц срока, чтобы я представил в ЦК список тех и других. Он не дал мне сказать ни слова и указал на дверь.

В тот же день Вахаев вернулся в Грозный, а я остался в Москве все еще в ожидании решения ЦК.

Вот уже шестой месяц как я был «резервистом» ЦК; давно начался и учебный год в вузах. Государственный педагогический институт имени Бубнова в Москве, в котором я вел семинары, учась в ИКП, пригласил меня на кафедру по истории народов СССР, но ЦК не дал согласия. Наконец, в начале октября 1937 г. меня вызывают в ЦК и вручают путевку: «Решением Оргбюро ЦК от 28 августа 1937 г. т. А. Авторханов командировается в распоряжение Чечено-Ингушского обкома партии. Секретарь ЦК А. Андреев. Заведующий Агитпропом ЦК А. Стецкий».

Я не знаю, почему отпал Куйбышев, не знаю также, почему направляют именно в Чечено-Ингушетию, — ведь, хотя Вахаев и хотел просить об этом, Маленков не дал ему и рта открыть.

В полном недоумении — радоваться или печалиться этому назначению на свою родину — выезжаю в Грозный. Прибыл в воскресенье 10 октября. В тот же день вечером за мною присылают машину, чтобы я приехал на пленум обкома партии в заводском районе, на котором будет «важное выступление т. Шкирятова». Поскольку имя Шкирятова в делах человеческой мясорубки достойно стоит рядом с именами Сталина и Ежова, то от его «важного выступления» явно пахивало кровью. Но моя «путевка» подписана столь влиятельными лицами: один шеф-идеолог партии, другой — член Политбюро, — поэтому Шкирятов, думаю, не может быть на этот раз моим судьей...

Приезжаю около четырех-пяти часов во Дворец культуры, где заседает пленум. Вход в зал пленума не по пропускам обкома или по членским билетам пленума, а по специальным пропускам комендатуры НКВД. Вообще поражает чекистское наводнение — половина зала состоит из чекистов, по сторонам и между рядами стоят чекисты, на балконах сидят чекисты, за спиной президиума стоят чекисты... «Не может быть, чтобы все они

охраняли только одну важную особу — Шкирятова», — думаю я.

Приехавший вместе со Шкирятовым из Москвы первый секретарь обкома Быков предоставляет первое слово (которое оказалось и последним) товарищу Шкирятову. Зал замер, чекисты вытянулись, но Шкирятов был предельно краток — пропитым голосом закоренелого пьяницы он сообщил: «ЦК партии выражает всему составу данного пленума Чечено-Ингушского обкома партии свое политическое недоверие!» И доблестные чекисты сразу приступили к работе: начались аресты, в результате которых в президиуме остались Шкирятов и Быков, а в зале — лишь обслуживающий персонал. Я хорошо все это видел, ибо сидел среди приглашенных на балконе. Подавленный этим зрелищем, редким даже в ежовское время, когда людей арестовывали все-таки индивидуально, а не коллективами, я двинулся к выходу. Только я вышел и направился к машине, кто-то меня зовет. Оборачиваюсь — подходит чекист и просит меня следовать за ним в комендатуру. Заходим. Чекист сообщает новость, которую я ожидал в последние два года каждый день: «Авторханов, вы задержаны!» (Какая юридическая тонкость — по новой «сталинской Конституции» нельзя «арестовать» без ордера прокурора, но можно «задержать».)

Читатель может мне поверить, что арест не произвел на меня такого уж катастрофического впечатления после того, что я видел пять минут тому назад, да еще и потому, что я психологически давно уже сидел в тюрьме (феномен: почти во всех снах я оказывался либо в подвалах НКВД, либо в бегах от преследования чекистов). Кроме того, массовые аресты стали обычным явлением жизни, и если человека, выделявшегося чем-нибудь из общей массы, не арестовывали, то как раз это считалось необычным, даже подозрительным. На такого указывали пальцем: ишь, почему его не арестовывают? Наверно, продажная душа! (Конечно, это было несправедливо. Может, человеку выпал лотерейный билет, как выражался Эренбург, остаться на воле, к тому же не мог Сталин арестовать весь советский народ и заменить его другим.) И все-таки какое-то волнение, очевидно, меня охватило, ибо очень ясно припоминаю: после сообщения об аресте я машинально полез в карман за папиросой, а чекисты со всех сторон набросились на меня, думая, что я полез за наганом. Довольный тем, что хоть на миг напугал чекистов, глущу, хотя в моем положении это смахивает на юмор висельника:

— Я умею стрелять только из пушки, а она в карман не лезет.

На всякий случай сначала на меня надевают медные наручники, а потом шарят по карманам, словно ищут иголку, забирают деньги, партбилет и путевку ЦК, которая на чекистов производит не больше впечатления, чем если бы она была бу-мажкой от сельсовета. В это время захо-

дит старший чин, изучающе смотрит на меня, но ни слова не говорит, забирает мои документы и, сказав своим помощникам «ждите меня», исчезает. Он долго не возвращается. Может быть, путевка ЦК все-таки «сюрприз» для них, и надо получить санкцию на мой арест от Шкирятова. Я достаточно хорошо знаю биографию Шкирятова и имею некоторый личный опыт общения с ним, чтобы не поддаваться эфемерной надежде. И оказываюсь прав. Начальник наконец возвращается и дает команду: «В тюрьму его!» Меня сажают в легковой автомобиль и в сопровождении четырех башибузуков везут в город. Едем по проспекту Революции, проезжаем мимо «Пятого жилтроса», где остановилась моя семья. Она приехала вместе со мною из Москвы и, ничего не подозревая, ждет меня на ужин; погода отличная, много публики, около городского сада бойко торгуют цветами...

Мы прибыли в тюрьму, и надзиратель не очень вежливо толкнул меня в камеру 79. Камера была пустая. Зловещий признак — в переполненной тюрьме я удастаиваюсь чести занимать отдельную камеру. Только теперь я почувствовал тяжесть психологической нагрузки: вероятно, было около семи часов, когда я лег и довольно быстро заснул. Спал, наверное, подряд одиннадцать-двенадцать часов, просыпаюсь очень медленно, отлично помню, как в полусонном состоянии мелькнула мысль, что мне опять снился кошмарный сон, будто я в тюрьме. Осторожно открываю глаза: кошмар оказался действительностью, — через железные решетки был виден только кусочек неба.

Не дожидаясь первого допроса, принял решение: умереть в попытках, но лжи не подписывать. Я знал, на что иду. Однако во мне проснулся какой-то зуд самоубийства, но самоубийства руками вот этих негодяев. Я не был врагом Советской власти, я, собственно, духовное дитя этой власти. Без нее, может быть, я не получил бы и высшего образования. Да, я был врагом Сталина, но врагом без вражеских действий, врагом «платоническим», врагом в мыслях, а за невысказанные мысли даже советские законы не судят. Чтобы изложить свое решение письменно, я попросил у надзирателя бумагу и карандаш. К моему удивлению, просимое я получил без задержки. Заявление я написал на имя Андреева и Стецкого. Помню свои основные тезисы: я был и остаюсь убежденным коммунистом; я не совершил никаких преступлений против Советского государства и Коммунистической партии; я знаю, что на допросах применяют методы физического воздействия, но готов скорее умереть на этих допросах, чем подписывать ложь. Таков был общий смысл моего заявления в ЦК. Конечно, я был не очень уверен, что НКВД пропустит его. Но это было неважно. Оно было написано для чекистов, а не для ЦК.

Мне предстоит теперь рассказать, как и в каких условиях я боролся за верность своему решению. Заранее скажу, что я

не собираюсь ни «смаковать» общеизвестные пытки на следствиях, ни играть в «героя», не подписавшего признаний. Многие подписывали «признания», руководствуясь принципом «лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас»; иные подписывали, считая бессмысленным всякое длительное сопротивление столь безжалостной террористической машине; третьи подписывали даже без всяких пыток, когда в их камеру доставляли на носилках измученных и истерзанных подследственных, с исполосованными телами, сломанными ребрами, разбухшими ногами; наконец, были и такие, которых, как у нас в грозненском НКВД, прямо с допросов везли в тюремный морг...

Самое страшное в одиночке начинается с потери счета времени; вы довольно скоро начинаете терять счет дням недели, числам месяца, даже и самим месяцам; о сезоне или временах года можно было судить, и то приблизительно, глядя через окошко на кусочек неба и земли. Однажды я спросил у одного из надзирателей: «Скажите, пожалуйста, какое сегодня число и месяц?» Он пристально посмотрел на меня, словно стараясь понять, не свихнулся ли я, а потом вместо ответа пожал плечами. Этим жестом он меня действительно озадачил: неужели я начинаю сходить с ума? Откуда мне было знать, что надзирателям одиночных камер в их общении с нами разрешается произносить в день только три слова: подъем, оправка, отбой! Но этот надзиратель, кажется, все-таки обратил на меня внимание. Книг никаких не давали, сокамерников нет, надзиратель не хочет разговаривать, а человек ведь животное социальное, наделенное языком. Ему хочется разговаривать. Так я хожу по камере и тихо декламирую стихи, правда, неправильно, но их смысл вполне созвучен моему настроению:

Темна, темна моя дорога,
Все ночь и ночь,
Истратил я сил душевных много,
А исхода из тьмы нет,
Когда же рассвет?

(Из Надсона, по памяти)

Но так как я этого «рассвета» совсем не жду, то декламирую другого поэта, Маяковского: «Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду, я лучше в баре блядям буду подавать ананасную воду»...

Каждый стих кончаю «рефреном» — тоже из Маяковского (привожу по памяти):

...Как астрагал, охватит меня ложь.
Я сыт, я доволен судьбою,
Прошу покорно: уничтожь!

Я вижу, как надзиратель часто открывает глазок, прикладывает ухо к двери и, видимо, хочет понять, о чем это я сам с собою разговариваю. Об этом своем наблюдении он, по всей вероятности, сообщил и другим надзирателям, так как я заметил, что, когда меня водили на оправ-

ку, не только он, но и другие надзиратели, поглядывая на меня исподтишка, держались на почтительном расстоянии. Надзиратель поймал меня и на другой «странности». По ночам ко мне в камеру повадилась приходить в гости мышь. Я ее кормил крошками хлеба, и она со временем так привыкла ко мне, что стала подчиняться моим командам: то тянулась за ниткой с кормежкой, то поднималась на стул; но вот во время одной из таких «игр» надзиратель поймал нас и был страшно озадачен. Он, видно, решил, что я так-таки свихнулся и, должно быть, доложил об этом начальству, иначе я не мог понять, почему вдруг ко мне явился врач, довольно пожилой армянин, и начал задавать идиотские вопросы:

— Как вы себя чувствуете в этом величественном храме?

Приняв вопрос за шутку, я ответил тоже шуткой:

— Как на седьмом небе.

Врач насторожился:

— Позвольте поинтересоваться, как долго вы намереваетесь здесь пребывать?

— Позвольте вам доложить, что сие от меня не зависит.

После нескольких таких вопросов я понял, куда «психиатр» гнет, и поэтому на его последний вопрос, какая самая высокая должность, которую я сейчас занимаю, ответил довольно развязно:

— Должности у меня сейчас две: я испанский король Фердинанд восьмой и турецкий султан Абдурахман первый.

Врач ушел, но надзиратель, кажется, остался доволен собою: после многих неудавшихся симулянтов, которые сами лезли в дурдом, он, наконец, разоблачил доподлинного сумасшедшего, ибо нормальный враг народа не может называть себя сразу и королем и султаном.

Через несколько месяцев я сделал открытие, которое свело на нет психологический эффект, ожидавшийся чекистами от моего одиночного заключения. Я научился «перестуку», то есть начал перестукиваться с моими соседями через стену. В свое время я много читал народно-вольческих книг, среди которых были и мемуары Веры Фигнер «Запечатленный труд». Вера Фигнер была членом исполкома «Народной воли», участвовала в подготовке покушения на Александра II; приговоренная сначала к смертной казни, она была помилована — сидела в одиночной камере Шлиссельбургской крепости. Она рассказывала, как заключенные связывались между собой через перестукивание. Фигнер писала о факте, но не о технике перестукивания (или, может быть, советская цензура выкинула эти места). Мне вспомнилось это, когда после отбоя весь «спецкорпус» погружался в какие-то энергичные, продолжительные стук. У стучков я уловил определенную чередующуюся ритмичность и целесообразность, что исключало праздное времяпрепровождение. Я решил, что это и есть то тюремное перестукивание, о котором рассказывала Вера Фигнер. Но по-

чему же я не поинтересовался на воле его техникой? Вероятно, я не так уж был уверен, что меня арестуют (то-то: от тюрьмы и сумы не зарекайся). Правильно товарищ Сталин говорил: «Беспечность — идиотская болезнь наших людей». Это теперь я испытываю на себе. Весь корпус живет интенсивной внутренней жизнью, а я, бестолковый, только хлопаю ушами. Когда же оба мои соседа справа и слева начали очень настойчиво стучать ко мне, то я, окончательно убедившись, что это и есть перестукивание, задумался над его расшифровкой. Немцы говорят: «Нужда делает находчивым». Нужда была крайняя — найти ключ! Оказалось, нет ничего проще. Мое первое же предположение было: число стучков соответствует порядковому номеру букв в русском алфавите. Один стук — это «А», десять — «К», двадцать семь — это «Я». Решив проверить себя, я постучал своему левому соседу: 10, 18, 14, 3, 9 («кто вы?»), немедленно последовал ответ: 14, 24, 1, 6, 3, и когда под каждым числом, занесенным мною на стенку, я поставил буквы, то мне показалось, что прямо через стены увидел знакомого человека: Ошаев! Вероятно, Архимед, выскочивший из ванны, повторяя свое знаменитое «эврика!» («нашел!»), когда он решил задачу об определении количества золота в жертвенной короне тирана Сиракуза, так не радовался своему открытию, как радовался я теперь: я победил одиночку!

Я так основательно и энергично включился в перестукивание, что решил провести некоторую «рационализацию» в «стенной азбуке». Это было года через два, когда я, выучившись у одного заключенного телеграфиста (в тюрьме ведь встречались абсолютно все профессии, часто в лице своих самых талантливых представителей) «азбуке Морзе», провел радикальную реформу — мы начали перестукиваться с помощью этой азбуки.

Прямым следствием овладения техникой перестукивания был приток ко мне богатой информации о методах пыток. На соответствующий мой вопрос сосед слева (Ошаев) ответил: «Ад», сосед справа (Зязиков): «Инквизиция», сосед снизу (Окуев): «Избили до полусмерти». При дальнейшем расширении зоны моего перестукивания (а я уже связывался почти с каждой камерой моего ряда сверху донизу, включая и подвал) я узнал о погибших на пытках. В этих условиях я начал завидовать тем, для кого допросы кончились: этим погибшим.

Размах массовых арестов, степень озверелости и разнообразие методов физических и психологических пыток достигли своей высшей точки в 1938 году. Свежеарестованные сообщали, что ввиду нехватки мест в двух грозненских тюрьмах все гаражи Грознефти, здания пожарных команд, часть казарм, даже дом для сумасшедших приспособлены под тюрьмы и заполнены арестованными.

Я еще на воле знал, что действуют су-

ды четырех типов. Первый — «чрезвычайные тройки» (состав: местный нарком внутренних дел плюс первый секретарь обкома и прокурор республики). «Тройка» судит заочно, по спискам и без следствия, имеет право приговорить к расстрелу и к десяти годам лагеря. Приговоры не подлежат обжалованию и немедленно приводятся в исполнение. К высшей мере приговаривают даже еще находящихся на воле, которые, разумеется, и понятия не имеют, что они смертники. Сейчас же после ареста таких ночью ведут в расстрельное помещение в подвале НКВД и там группами расстреливают под грохот заведенного грузовика во дворе (так были убиты основоположники чеченской литературы Саид Бадуев, Шамсудин Айсханов, Ахмет Нажаев, Абади Дудаев). Массовые расстрелы большого числа людей устраивали у подножья Терского хребта. Семьям осужденных «тройкой» к расстрелу давали стандартные справки: «Осужден на десять лет без права переписки».

Существовал второй тип суда — военные трибуналы военных округов (для суда над чекистами — военные трибуналы чекистских войск). Они разбирали дела об измене Родине и шпионаже.

Третий тип суда — обыкновенный областной суд и Верховные суды автономных и союзных республик.

Четвертый тип суда — Особое совещание при центральном НКВД (оно имело право давать заочно сначала до восьми, потом до десяти, под конец до двадцати лет тем лицам, которым даже любого типа другой советский суд не мог вынести мало-мальски обоснованного приговора).

Когда меня взяли глубокой ночью на второй допрос из внешней тюрьмы во внутреннюю тюрьму НКВД, то я был хорошо осведомлен о том, что мне предстоит. Везли меня в легковом автомобиле, посадив по сторонам двух тяжело-весов, оказавшихся, как я потом узнал, курсантами из харьковской школы НКВД. Впереди с шофером сидел тот, кто торжественно надел на меня наручники, — мой следователь младший лейтенант Кураксин. Не скрою, что его столь низкий ранг немножко задел меня: я все-таки «красный профессор», при выпуске по приказу самого наркома обороны Ворошилова мне было присвоено звание полкового комиссара запаса, сию в одиночке как важный «враг народа», а следователь у меня — младший лейтенант! (Тогда у чекистов были странные ранги: майор НКВД равнялся генерал-майору армии, поэтому младший лейтенант НКВД равнялся капитану армии). Мой следователь, упитанный, низкорослый, круглолицый и с прической а-ля Наполеон, внешне действительный походил на Наполеона, но французский император был смуглый, а этот блондин, которого Гитлер не задумываясь записал бы в свою северную «арийскую расу».

Несмотря на то, что Кураксин у меня два года был следователем, я никак не мог определить уровень его образования, — вероятно, оно не было выше той харьковской школы чекистов, где учился его помощники-курсанты. После какой-то стычки во время допроса Кураксин мне грубо заметил:

— Подлец, ты не римский царь и не германский король, веди себя как арестант.

— Вас плохо учили, в Риме были цезари, а в Германии — кайзеры. Хотите, могу вам перечислить тех и других? — похвалился я своими свежими знаниями перед следователем в присутствии его помощников-курсантов. И поступил безудловно, глупо, ибо этим спровоцировал его на надбавку мне новой, повышенной порции к уже положенным пыткам.

А начал допрос Кураксин очень доброжелательно, чуть ли не дружески:

— Сопротивление вредно для здоровья. Мы вовсе не хотим вас уничтожить. Рука руку моет: вы честно расскажете о вашей контрреволюционной деятельности, а мы сохраним вам жизнь — получите только срок, а там докажете, как профессор Рамзин, что вы честно испустили свою вину перед страной.

После такого доброжелательного введения Кураксин посадил меня за отдельный стол, положил целую стопу бумаги и несколько отточенных карандашей и сказал:

— Перечислите имена всех людей, которых вы когда-нибудь встречали, видели и с которыми вы разговаривали.

— Да ведь это долго и почти невозможно всех вспомнить, — был мой наивный ответ.

Следователь резонно отвел мое сомнение:

— У вас неограниченное время писать и вспоминать. Начните писать.

Первый вопрос, который пришел на ум: «Зачем ему нужен такой список?» Потом только я узнал, что это был стандартный метод: Сталин велел брать показания даже на членов Политбюро, которых он и не собирался арестовывать, однако мог шантажировать этими показаниями (так, я читал в «Обвинительном заключении» у сокамерника Рохлата, бывшего начальника треста Грознефть, что у них в Москве на даче наркома нефти Л. Кагановича было контрреволюционное собрание под руководством самого Кагановича). Но тогда по неопытности я решил, что следователь хочет установить, в какой среде я вращался («скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу, кто ты такой»). Поэтому в свой список я включал только отборных сталинцев (сделав исключение для троцкиста Е. Эшба) или совершенно лояльных к Советской власти людей, в том числе профессоров и преподавателей всех школ, в которых я учился, всех студентов, с которыми учился, всех девушек, с которыми когда-либо знакомился. Я не могу сказать, сколько имен у меня на-

бралось, наверное, их было не меньше тысячи. Когда я кончал список, Кураксин, не читая его, в конце собственноручно написал: «Все вышеперечисленные лица мне известны как члены антисоветской, контрреволюционной, террористической, шпионской, вредительской, диверсионной организации, в которой состоял и я сам, в чем и подписываюсь». Когда я это прочел, у меня просто помутилось в голове — мое самое худшее мнение о НКВД было превзойдено новым невероятным открытием: оказывается, человеку недостаточно наговорить на самого себя, он еще должен потащить за собой одной своей подписью сотни или тысячи других людей, единственная вина которых в том, что они были с ним знакомы. Что мое помутнение все еще продолжалось, показывал заданный мною вопрос: я в списке назвал сотни и сотни честных советских людей, среди которых много преданных коммунистов, лояльных советских профессоров, талантливых литераторов, есть там и бывшие мои школьные учительницы или просто знакомые девушки, не имеющие никакого отношения к политике, — так вы хотите, чтобы я не только себя, но и этих людей объявил «врагами народа»? Вы понимаете, что толкаете меня и себя на преступление, которое карается советским законом?

Эта моя тирада не произвела на Кураксина ни малейшего впечатления. Он повторил тогдашнюю стандартную формулу чекистов: «Советские законы писаны не для врагов!»

Тогда я тоже повторил в несколько новой интерпретации свое заявление в ЦК. Если не оригинал, то копия, безусловно, лежала в его папке.

— Гражданин следовательно, если я поставлен вне закона, то разрешите вам заявить следующее: в этом мире нет силы, которая могла бы заставить меня показать свою подпись под ложным показанием. Вы можете ломать мне все ребра одно за другим, отрубать части тела, отрезать язык, выколоть глаза, но моей рукой вы можете подписать вашу ложь лишь после того, как вы мне отрубите голову. Запомните это!

Кураксин меня не прерывал, презрительно наблюдая за моим волнением, иногда строил ехидные гримасы, а про себя, вероятно, думал: «Видел я таких арапов — скоро запоешь у меня другую песню». В этом духе он и высказался:

— Здесь каждый враг народа начинал с таких героических заявлений, а через несколько дней как миленький подписывал все, чего мы от него требуем. Даже бывший командующий Московским военным округом Муралов и то выдержал только семь суток. Вы же не Муралов?

— Да, я не Муралов, именно поэтому вы и не получите моей подписи под этим списком.

Я не столько убеждал Кураксина, сколько укреплял самого себя в приня-

том ранее решении. Я был в состоянии, близком к трансу или помешательству. Единственное, чего я боялся, — это того, что у НКВД, вероятно, есть какие-то ослабляющие волю химические препараты (о них много говорили в Москве в связи с московскими процессами), при помощи которых легко заставить человека подписать ложные показания.

Кураксин приступил к допросу. Первым делом он поставил меня на «стойку», к стене, в углу. Результаты такого допроса начали сказываться скоро. Во рту пересохло, мучила жажда, но воды не давали. У меня начали отекать ноги, усилилось головокружение; я часто падал, терял сознание. Тогда «атлеты» из харьковского чекистского училища старательно били меня по наиболее чувствительным местам. Все это повторялось по несколько раз в сутки, на протяжении четырех или пяти дней.

Когда я наконец пришел в себя, то понял, что лежу на цементном полу в карцере. Тело было в сплошных ранах, мучили тяжкие боли. Меня страшило: не подписал ли я свой список? Через два дня или три узнаю, что я ничего не подписал, ибо повторилась та же процедура допроса. На этот раз в сознание я пришел на койке тюремной больницы. Видавший виды знакомый тюремный врач-армянин теперь уже не интересовался моим самочувствием в этом «величественном храме», а просто спросил: «Молодой человек, зачем себя доводить до этого состояния?», — будто это я сам себя избил, а не его коллеги, форму которых он носил. В больнице я, по существу, очутился также в одиночке — палата, в которую меня положили, представляла собой маленькую кладовую. В ней лежал только один человек в таком ужасающем состоянии, что при виде его страданий мне показалось, что мой Кураксин — суший гуманист. Голова, руки, ноги у него были забинтованы, лицо в ранах. Говорить он не мог, беспреестанно стонал, но, кажется, был в сознании, ибо иногда произносил еле-еле слышное: «Алиуллах», «Алиуллах», — это молитвенная формула мусульман-шиитов с призывом о помощи к Аллаху и Али. Значит, мой сосед был азербайджанец или перс. К рассвету он перестал стонать. Я с великим трудом подошел к его койке, чтобы спросить его, кто он и за что сидит, — но уже было поздно: он умер. Его несколько часов нарочно не выносили, вынесли лишь когда я отказался есть. Я тогда и не догадывался, что Кураксин посадил меня с умирающим от пыток, чтобы убедить в бесполезности сопротивления. Имел ли право следовательно избить подследственного до смерти? Мой опыт показывает, что он этого права не имел и поэтому все время «дозировал» пытки таким образом, чтобы подследственного унесли из кабинета живым, зато он не отвечал, если такой избитый «нормально» умирал в «нормальных условиях» — в

больнице. Отсюда постоянная «кооперация» между следователями и чекистскими врачами. Врачи оформляли справки о причинах смерти своих пациентов со ссылкой на всякие общие болезни (инфаркты, кровоизлияния в мозг, скоротечные рак или чахотка). Тем же, которые выдерживали первые пытки, врачи давали «дружеские советы» не подвергать себя новым, ибо организм в таком состоянии, что их не выдержит.

Через неделю с подобным напутствием врача меня вернули в мою одиночку. Только в сентябре или октябре 1938 г., через семь месяцев после последнего допроса, меня повезли на новый допрос. Вот на этом допросе мне впервые предъявили и юридическое обвинение: статья 58, пункты 1А, 2, 6, 7, 10, 11 УК РСФСР. В расшифровке это означало, что я обвиняюсь в измене Родине (высшая мера наказания — расстрел), участии в подготовке вооруженного восстания (расстрел), в шпионаже (расстрел), во вредительстве (расстрел), в ведении контрреволюционной антисоветской пропаганды (10 лет), в участии в контрреволюционной организации (10 лет). Теперь меня не поставили в угол, а посадили на стул. Итак, меня ждут четыре расстрела и дважды по 10 лет. В этой связи никогда не забуду, с каким милосердным предложением снизошел ко мне Кураксин: «У вас самый страшный пункт — это пункт один А, я его вам сниму, если вы признаете свою вину по остальным пунктам».

— Гражданин следователь, самый страшный расстрел для меня — это первый расстрел, на остальные расстрелы мне начхать.

За эту дерзость меня ударом сапога сбросили со стула.

Оказывается, я участвовал сразу в двух контрреволюционных организациях: в Чечено-Ингушетии «входил» в центральный повстанческий штаб в Грозном, а в Москве — в Московский межнациональный буржуазно-националистический центр из представителей народов Кавказа, Туркестана и Татаро-Вашкирии. Межнациональный центр ставил своей целью координацию контрреволюционной работы местных повстанческих штабов. В чечено-ингушский повстанческий штаб «входил» весь обком партии (около 130 человек, во главе с секретарем обкома партии Вахаевым и председателем Совнаркома ЧИАССР Горчхановым)...

Московский межнациональный центр составляли около 20 человек, преимущественно те националы, которые работали в Москве. «Возглавлял» центр заместитель председателя Совнаркома РСФСР, первый революционер Казахстана Рыскулов, который был когда-то заместителем Сталина по Наркомнау. ●стальные члены были так подобраны, чтобы в Межнациональном центре оказались представлены все республики советского Востока. Чечено-Ингушетию должен был представлять я, между тем

из состава мнимого центра я лично знал, кроме кавказцев (Эшба, Коржмасов, Тахо-Годи, Коста Таболов), только Рыскулова, с которым встречался на Кавказе, а в Москве — на одном из совещаний в ЦК по обсуждению вопроса о переходе с латинского на русский алфавит в советских мусульманских республиках. Когда Кураксин предъявил мне список Межнационального центра и предложил подчеркнуть фамилии тех из его членов, с которыми я знаком, то я, наученный опытом со своим «списком знакомых» на предыдущем допросе, уверенно соврал: «Никого из них я не знаю, эти имена знакомы мне лишь по печати». Кураксин, в свою очередь, столь же уверенно заметил:

— Этого вполне достаточно, чтобы вы были с ними связаны по контрреволюции.

Такой цинизм, такое откровенное бесстыдство сначала обескуражили меня, но потом я нашелся:

— Гражданин следователь, где тут человеческая логика — ведь по газетам мне знакомы японский микадо, абиссинский негус и Римский папа. Достаточно ли этого, чтобы я был с ними связан по контрреволюции?

Вместо ответа атлет из харьковского училища своим хорошо натренированным кулаком нанес мне оглушительный удар. Этот «аргумент» заставил меня заявить, что если вопросы и ответы не будут запротоколированы, то я вообще откажусь отвечать. Вот после этого ко мне прикрепили еще одного следователя, который стал чередоваться с Кураксиным. Фамилии его я не запомнил, но он показался мне симпатичнейшим человеком, попавшим в столь несимпатичное учреждение по недоразумению (я не сразу догадался, что это была психологическая игра на контрастах). Он мне сообщил новость: его коллеги повезут меня в Москву на очные ставки с другими членами Межнационального центра, единодушно показавшими на меня как на активного члена центра. В ваших же интересах, сказал он, самому признаться, прежде чем другие начнут вас разоблачать. Саморазоблачившиеся получают только сроки, а кто упорствует, того расстреливают, боюсь, что Кураксин будет только рад, если вы не признаетесь, а я лично хочу спасти вас, ибо не верю, что вы окончательно потеряны для партии и Советской власти.

Если Кураксин вздумал прельстить меня перспективой кающегося Рамзина, то новый следователь утешал меня тем, что я на московском процессе Межнационального центра, сыграв роль Карла Радена, выиграю, как и Радек, свою жизнь. Он даже перифразировал римляни: «Лучше быть в Москве последним, чем в Грозном первым», — ведь рядом с вами там будут сидеть всем известные националистические зубры, а вы молодой и воспитанный советской школы, все это зачтут в Москве в вашу пользу.

А здесь, на республиканском процессе, вы будете первым, и первым же вас расстреляют.

Только теперь я раскусил, что между моим «симпатичнейшим» новым следователем и Кураксиным существует просто «разделение труда». Я ему не дал этого понять, чтобы не лишиться привилегий, которыми я пользовался при его дежурстве: он не разрешал бить меня да еще угощал папиросами.

Из всех методов пыток бессонница пользовалась, пожалуй, у следователей самой большой популярностью — она сочетала в себе как физическое, так и психологическое воздействие. К тому же следователь не рисковал, что его подследственный умрет на пытках бессонницей, как это часто случалось при непосредственных физических пытках. Бессонница на «стойке» была более тяжелой пыткой, чем бессонница сидя, но она так быстро выводила человека из строя, что ее скоротечность лишала следователя возможности достичь своей главной цели — подавить волю подследственного раньше, чем он его подавил физически. Ведь человек, доведенный до бесчувствия, совершенно бесполезен для следствия. Бессонница на стуле — в этом отношении более эффективная пытка. Я совершенно точно запомнил, что непрерывно, кроме времени на оправку, сидел на стуле семь суток («норма Муралова», но я все-таки побил его рекорд). Только на восьмые сутки я потерял сознание. Сознание вернулось ко мне, как и после прошлого допроса, в камере.

Не знаю, сколько дали мне спать, но проснулся я вполне выпавшимся и не на полу, а на соломенном матрасе. Если не говорить о пуще прежнего разбухших, одеревенелых ногах, бесчисленных кровоподтеках, невероятном шуме в ушах и ералаше в голове, я считал, что на этот раз отделался относительно легко. Не знаю, что со мною было бы, если бы меня подвергли еще более тяжелым пыткам, формы и методы которых были так многочисленны и разнообразны (в своем «ГУЛАГе» А. Солженицын насчитал их до 52).

Какими дилетантами казались мне мастера из Священной испанской инквизиции, которыми возмущался Чернышевский из-за того, что они дошли до такой жестокости при допросах еретиков, что не давали иным из них спать подряд трое суток! Смешным кажется по сравнению со Сталиным и главный инквизитор — Торквемада, уничтоживший за 18 лет всего лишь десять тысяч человек, а на смертном одре отклонивший предложение священника простить своим врагам: «У меня нет врагов, я их всех при жизни уничтожил».

Однако меня ожидало новое испытание, под шоковым впечатлением которого я провел долгие годы своей жизни. Травмы физические, если уж вас действительно не сделали калекой, проходят

быстро, а травмы психические, связанные с тяжелым нервным потрясением, остаются навсегда.

Через несколько дней в камере меня посетил начальник секретно-политического отдела (СПО) лейтенант (по-армейски значит — майор) Левак. Это был человек, напоминающий хищника, или хищник, напоминающий человека, — словом, людозверь. Каждый день он по нескольку раз врвался в кабинет следователя и, если застал следователя за избиванием подследственного, то становился прямо против избиваемого и с наслаждением садиста начинал командовать: «Еще, еще, в бок, в морду, вниз...» Потом, бросив следователю: «Выбей из него показания или дух», — летел в следующий кабинет.

Вот этот самый лейтенант Левак явился в мой карцер и сказал, что сегодня решается моя судьба и решают ее два человека: нарком майор (по-армейски — генерал-майор) Иванов и вы сами. «Собственно, решаете свою судьбу вы: слушаете наркома — вы спасены, не слушаете — пеняйте на себя!» После такой нотации он повел меня к Иванову.

С Ивановым я познакомился на заседании бюро Чечено-Ингушского обкома летом 1937 г., когда делал информационный доклад о своем участии в совещании ЦК в связи с переходом на русский алфавит. Не знаю, какое я произвел тогда впечатление на него (теперь мой арест показывал, что оно было отрицательное), но он на меня — никакого, ибо он не вымолвил ни одного слова на протяжении всего заседания (интересно заметить: хотя с начала тридцатых годов стало законом вводить шифры политической полиции в состав бюро обкомов, крайкомов и ЦК республик, им не рекомендовали выступать на их заседаниях). Теперь нарком сидел за столом, пил кофе, лениво листал какие-то бумаги (может быть, мое дело). Лейтенант доложил, что привел меня. Предложил мне сесть, Иванов спросил, почему я не даю показаний. Я повторил свой обычный ответ: не виновен. Иванов посмотрел на часы и сказал:

— Сейчас шесть часов вечера. Я вам даю время подумать до двенадцати часов ночи. Или вы решитесь дать искренние показания следствию и покаяться в своем преступлении, тогда я вам гарантирую жизнь, или вы будете дальше упорствовать, тогда ровно в двенадцать я подпишу приговор «чрезвычайной тройки» о вашем расстреле, и он немедленно будет приведен в исполнение.

И, не дав мне сказать ни слова, Левак увел меня обратно в карцер.

Когда вопрос о смерти был сформулирован в столь решительном ультиматуме и на раздумье давались не дни, а часы, я по-настоящему почувствовал весь ужас своего положения. Ведь говоря, что лучше умру, но не дам показаний, я все же где-то в глубине подсознания таил надежду, что не умру.

Ужас состоял еще в том, что угрожал мне смертью не следователь, а сам председатель «чрезвычайной тройки», наделенный экстренным правом по своему выбору расстреливать людей. Следователь может только блефовать и бить, а наркому зачем делать это, когда он может убить? Если даже он блефует, чтобы навести на меня страх, то этой цели уже достиг: мною овладело то непонятное оцепенение, которое овладевает гипнотизируемым. Гипнотическая сила воздействия Иванова на меня объяснялась моей осведомленностью о его абсолютной власти: жить мне или умереть — сейчас зависело исключительно от него. Но я знал и другое: если я подпишу требуемые от меня показания, то меня наверняка расстреляют, если же откажусь и в моем следственном деле не окажутся подписанные мною показания о контрреволюционной деятельности, то могу продолжать верить в чудо спасения, поскольку я был не из рядовых советских людей, которых расстреливал Иванов просто по спискам и без «чисто-сердечных показаний», а номенклатурным работником ЦК; ведь в ЦК тоже надо сообщить, что я сам признал себя врагом. (Кураксин на допросах как-то необдуманно выдал мне один секрет: «Мы два раза ставили перед ЦК вопрос о вашем аресте, но нам тогда не разрешили», — вот это и вселяло надежду, что, вероятно, и расстрелять меня не так просто).

Тем временем в моем сознании каждый час летит с быстрой секунды («радость ползет улиткой, у горя бешеный бег», — так сказал Маяковский). Срок ультиматума, должно быть, давно прошел, но палач все-таки не показывается. Уже далеко за полночь в карцер входят Левак, Кураксин и тюремный врач. Врач подходит, щупает пульс и предлагает показать язык. Когда он сказал: «Все в порядке» («ритуал приготовления к казни», — промелькнула мысль), Кураксин надел на меня наручники, и меня повели, но не в расстрельное помещение, о котором я много слышал, а во двор и посадили в закрытый брезентом грузовик. В нем еще несколько арестованных, на каждого арестованного по два охранника. Грузовик выезжает со двора, и нас везут в неизвестном направлении — куда же? Во внешнюю тюрьму? На вокзал для этапа? Или в самом деле на расстрел в лесу, в горах? Первые два варианта уже отпали — нас везут слишком долго. Наконец грузовик останавливается. Слышим: наш грузовик не один, останавливаются и другие машины. Через некоторое время из всех грузовиков начинают выгружать людей — человек сто или около того. У всех руки связаны сзади. Рассветает, и я вижу, что мы находимся у подножия Терского хребта. Я хорошо знаю эту местность: правее, километрах в двадцати, идет дорога из Грозного в Старый-юрт, а дальше на Терек, куда я ездил много раз. Бросалось

в глаза, что эта местность огорожена и ее назначение никому неизвестно, но люди рассказывали, что здесь сооружен питомник для разведения цветов, однако говорили также, что здесь создали стрельбище чекистских войск.

Нас сразу сплошной цепью окружают солдаты, винтовки со штыками, будто они сию же минуту бросятся в штыковую атаку против людей со связанными руками. Нас ставят в строй в две или три шеренги, потом начинается медленное движение в сторону небольшой горной долины. Когда, достигнув пункта назначения, чеченцы и ингуши увидели большую свежерытую яму, началась, как по команде, молитва: «Аллах акбар», «Лаилах-эль-Аллах» — «Бог велик», «Нет Бога, кроме Бога». Ко мне подбегает Левак: «Еще не поздно, если подпишете признание, мы вас помилуем». Я не знаю, что я ответил и ответил ли вообще, но помню, как Антон Алексеенко*, заместитель наркома, начал читать приговор «тройки». Ему не дали дочитать: чеченцы и ингуши с криками «гяуры, гяуры, газават, газават» сами кинулись на штыки, и в этот миг Левак, очутившись рядом со мной (я был поставлен крайним у ямы), резко вытолкнул меня из строя. Раздалась громкая команда: «Огонь!» Оглушительный залп разом скошил всех: и тех, кто бросался на штыки, и тех, кто недвижимо стоял у ямы. Тут же появились три новые команды чекистов: одни, чтобы не прибегать к услугам врача для освидетельствования смерти, простреливали тела убитых из револьверов («социалистический гуманизм» — нельзя хоронить живого человека); другие за ноги стаскивали трупы и бросали их в яму; третьи яму засыпали. Социалистический конвейер массовых казней был в высшей степени рационализирован, работал четко, дешево и следов не оставлял, как газовые камеры нацистов. Через пять минут наши грузовики двинулись в город, чтобы на рассвете следующего дня привезти сюда новую партию арестантов, осужденных «тройкой» к смерти.

Вероятно, никогда не будет известна точная цифра людей, убитых по приговорам «троек» по всему СССР, тем более что они в документах партаппарата и НКВД фигурировали не как убитые, а под кодовым термином как «изъятые социально-враждебные элементы» (этот кодовый термин, как и «Endlösung», применявшийся нацистами для евреев, одинаково мог означать как «изъятие» из общества, так и «изъятие» из жизни). Но я хорошо помню цифру, которую вывели бывшие ответственные чечено-ингушские работники на основании данных самих же чекистов: за время действия «чрезвычайной тройки» НКВД с середины 1936-го и до конца 1938-го го-

* А. П. Алексеенко, заместитель наркома внутренних дел Чечено-Ингушетии (1938—1939). За репрессии награжден орденом Ленина (1937). Арестован в 1939 г. Расстрелян в 1940 г. (Прим. Д. Г. Юрасова).

да по Чечено-Ингушетии было расстреляно по приговору «тройки» около 80 тысяч человек. Это очень высокая цифра для маленького народа. Однако высокой была цифра жертв инквизиции и по стране. Так, число расстрелянных за 1935—1940 годы по всему СССР составляет около семи миллионов человек (А. Антонов-Овсеенко. «Портрет тирана»).

Почему же меня оставили в живых? Левак объяснил это милостью Советской власти и тем, что я не присоединился к «восстанию смертников». Выходило, что порядочный враг народа должен не протестовать против расстрела, а кричать перед смертью, как командарм Якир: «Да здравствует товарищ Сталин!» Ведь официальная мораль режима беспрецедентна в своем коварстве: тебя убивает власть, чтобы твои дети выросли счастливыми и шагали по очищенной от таких сорняков, как ты, дороге к светлому будущему. Левак так и сказал мне: «Мы убиваем одних, чтобы другие жили лучше».

Конечно, я тогда не мог знать, что тот кошмар, который я только что пережил, являлся одним из составных элементов в системе психологических пыток НКВД. Цель чекистских «психологов» заключалась в том, чтобы, словив человека, сделать его более податливым. В моем случае — могу засвидетельствовать это с внутренним удовлетворением — чекисты достигли противоположного: возвращенный в свою одиночку, я, вспомнив «Аннибалову клятву» Герцена и Огарева на Воробьевых горах, сказал себе: «Советская политическая система — самая проклятая из всех тиранических систем в истории человечества. Если мне суждено еще жить на свете, то эта жизнь будет посвящена борьбе с коммунистической тиранией всеми доступными мне средствами».

Визит в Бутырку

«Психологи» из НКВД, убедившись, что я не так уж цепляюсь за жизнь, как им того хотелось бы, резко изменили тактику, чтобы добиться все же своей цели не мытьем, так катаньем: я начал получать передачи, каждую неделю мог пользоваться ларьком, каждый день меня выводили на прогулку, и совсем неожиданное — мне разрешили получать книги из тюремной библиотеки (потом только я узнал, что эти «привилегии» положены по закону и что ими пользуются все заключенные в общих камерах). Что же касается следственного процесса, то меня перестали подвергать физическим пыткам. Все это предшествовало моему второму «свиданию» с наркомом Ивановым. Иванов был на этот раз тошнотворно вежлив, бился показаться искренним, что ему было трудно, а для меня необидительно. Его первые же слова были: «Благодарите партию и Советскую власть, что я вас помиловал. Я решил предоставить вам возможность доказать, что вы к нам попали по ошибке. Партия вам дала выс-

шее образование, чекисты вам сохранили жизнь — теперь вы должны доказать, что ни партия, ни чекисты в вас не ошиблись».

Это была правда: партия дала мне возможность кончить ИКП, а чекисты не расстреляли. Но что это значит: я должен им доказать, что они во мне не ошибаются? Самое логичное предположение: они меня выпускают на волю, и я на работе доказываю свою честность и лояльность. Но это простая человеческая логика, а чекистская логика — логика «диалектическая», или, выражаясь проще, логика преступников. Я с первой же фразы Иванова понял, что готовится какая-то новая подлость, когда уже не меня будут обвинять, а я буду обвинять, чтобы «помочь партии».

— Партии можно помогать не только на воле, но и будучи в вашем положении, — сказал Иванов, словно прочитав мою мысль. И сразу перешел к делу: вот вы упирались на допросах, утверждая, что ничего не знаете о существовании Московского межнационального центра, между тем все его члены дали показания на вас, что вы были активным членом центра и выполняли специальные функции связного между Московским межнациональным центром и буржуазно-националистическими центрами на Кавказе и в Туркестане. В вашем московском деле лежат убийственные показания против вас матерых врагов народа Икрамова Файзуллы Ходжаева, Рыскулова, Курбанова, Кокмасова, Буниатзаде, Эшбы, Таболова, Диманштейна, Калмыкова. Вам со всеми ими предстоит на днях очная ставка (только потом я узнал, что с первыми двумя никакой очной ставки состояться не могло — они уже были расстреляны по делу Бухарина и Рыкова). Националистическим зубрам, — продолжал Иванов, — гарантирован смертный приговор, но эти отъявленные негодяи хотят унести с собою в могилу многие тайны своих чудовищных преступлений или перекаладывают их на других участников, как вы, попавших в их сеть по молодости и неопытности. Мне советское правительство поручило заявить вам, что вы будете проходить по этому делу лишь как свидетель и после процесса будете освобождены, если на суде поможете разоблачить эту банду до конца. Вам дадут читать — достоверно — документы НКВД, из которых вы узнаете многие их показания. Вам надо только повторить и подтвердить то, что уже установлено предварительным следствием...

До сих пор я знал, как себя вести, и свою защиту вел с точки зрения честно-го, но оклеветанного коммуниста. Поэтому каждое мое заявление в ЦК и Прокуратуру СССР начиналось с этого утверждения. С принятием «Аннибаловой клятвы» я решил отказаться от этой формулы, а на допросах повторять неизменное «не виновен». Та же клятва обязывала меня отвечать следствию в отношении других формулой «не знаю». В данном

случае от меня требовали большего: я должен был губить других, чтобы спасти свою шкуру. Мне предстояло доказать чекистам, что такой ценой я не способен спасти ее. Я предвидел новые муки, новые пытки, на этот раз уже у столичных мастеров инквизиции. В логове этих башибузук, кажется, разговор тоже короткий: не подписываться под ложью у них просто не полагается, кроме тех случаев, когда вы их перехитрили, испустив дух тут же на «стойке» или на очередной порке. Когда человека пытаются, он, пока в сознании, действительно жаждет смерти, но, как только зажили раны, он опять хочет жить, он опять стремится выиграть время, он опять верит в чудо спасения: Сталин смилостивится, Сталин умрет, Сталина убьют или, наконец, самого Сталина арестуют, а нас всех освободят. — сколько раз я слышал подобные разговоры в общей камере! Но одно пророчество арестантов все же сбылось: «Будет война, и она нас освободит». Увы, оно сбылось, только не во всем: в каждом городе, к которому приближался фронт, арестованных эвакуировали в глубь страны, а кого не успевали эвакуировать, — расстреливали.

Вернулся к Иванову. Будучи убеждены, что они из меня сделают члена Московского межнационального центра, и в ожидании положенных наград, мои следователи, видимо, ложно информировали наркома Иванова о ходе моего следствия, а тот, в свою очередь, Москву. Все это начало выясняться только теперь. Из-за того, что я не придавал серьезного значения сообщению моего следователя, что меня повезут в Москву, да и признаний на этот счет никаких не подписал, предложение Иванова оказать услугу партии на суде над националами в Москве застало меня врасплох. Не потому, что у меня могли быть какие-либо колебания по существу предлагаемой мне роли, а потому только, что я не знал, как правдоподобно отвести это предложение, не задев честь мундира самого Иванова. У Терского хребта я воочию убедился, что Иванов бесконтрольно распоряжается жизнью каждого человека в республике. Быть готовым предпочесть смерть бесцельно совсем не означает намеренно рисковать головой, ибо человек — не мифическая гидра: отрубят одну голову, другая не вырастет. Поэтому, недолго думая и стараясь избежать гнева Иванова, я намеренно соврал:

— Гражданин нарком! Ни с одним из перечисленных вами людей я никогда в жизни не обменялся ни одним словом. Как же меня могут сделать свидетелем против них?

Мой ответ был для Иванова совершенной неожиданностью. Он грозно посмотрел на начальника секретно-политического отдела Левака, Левак этот взгляд переадресовал моему следователю Кураксину, а Кураксин начал оправдываться, что я на допросе показал, что эти лица числятся среди моих знакомых по Москве.

— Почему же вы отказываетесь от этого вашего показания?

— Гражданин нарком! Следователь Кураксин потребовал от меня составить список всех людей, которых я когда-либо встречал или видел. Они и находятся в том списке, хотя я их только видел, но никогда с ними не разговаривал.

Только теперь я увидел чекиста Иванова во всей «красе»: либо он забыл о моем присутствии, либо считал, что мне недолго осталось жить на земле и я не смогу никому рассказать о случившемся, — но в бешеном гнев он обрушился на своих сотрудников с самой отборной руганью:

— Вы срываете правительственное задание, вы прохвосты, проститутки, вредители, саботажники...

Те стояли навтыжку, как истуканы, а я не без злорадства думал про себя: «Как хорошо знает чекистский нарком своих сотрудников, прямо как самого себя».

К сожалению, мне не дали полюбоваться этой сценой до конца. Иванов, опомнившись, нажал кнопку, вошел охранник, которому он указал на меня. Меня увели...

Не было сомнения, что за все случившееся в ответе перед Леваком и Кураксиным буду я. Новые пытки из личной мести будут страшнее всего того, что я видел и пережил. С самого начала ареста я часто размышлял о самоубийстве, но возможности покончить с собой в тюремных условиях, да еще в одиночке, были очень ограничены. Я знал случаи, когда заключенные вешались на решетке, свивая что-то вроде удавки из собственного белья и простыней, но эта процедура требовала смекалки, изобретательности и какого-нибудь простейшего инструмента, чего у меня не было. У меня созрел другой замысел, и я даже провел некоторую подготовку к его осуществлению: симулирую различные болезни, главным образом головные боли и бессоницу, я накопил, на мой взгляд, вполне достаточное количество таблеток, чтобы ими можно было отравиться. Проглотить эти таблетки и запить их кружкой густого настоя махорки — таков был мой замысел. В мрачных думах об этом далеко за полночь, не приняв никакого решения, я незаметно заснул, и всю ночь мне снилось то кладбище с массовыми похоронами, то бушующий Иванов, то Левак с Кураксиным — видения явно зловещие, по тюремному «соннику», и еще более ужасные наяву. На второй день после «свидания» с Ивановым, часов в восемь утра, начальник спецкорпуса открыл мою камеру и сказал: «Собирайтесь с вещами».

Что это могло означать? Если вызывали с вещами ночью между двумя и четырьмя часами, то это почти всегда означало, что вы осуждены «тройкой» и вас везут на расстрел. Если же вас вызывают с вещами днем, то тут возможны были варианты: вас отправляют в лагерь, вас переводят в другую камеру, вас освобождают. Поскольку последний вариант отпадал, то я подумал, что меня переводят

в другую камеру или во внутреннюю тюрьму. Меня повезли, однако, в «черном вороне», наглухо закрытом и без соседей. Я не мог сориентироваться, куда же меня везут, но внутреннюю тюрьму, по моим расчетам, мы давно проехали. И оказался прав: меня высадили на вокзале и повели в кабинет начальника железнодорожной охраны. Там сидели, ожидая меня, два чекиста. Меня сдали одному из них под расписку. Человек средних лет, здоровяк, с тупым взглядом и нервными движениями — мой новый повелитель — производил отталкивающее впечатление. Его помощник, молодой чекист, по телосложению под стать своему шефу, но с лицом добродушным и интеллигентным, показался мне человеком незлобным. Шеф по-военному коротко объяснил мне цель нашего путешествия, о которой, впрочем, я уже догадался: мы едем в Москву. Потом он внушительно растолковал мне, как себя вести и что меня ожидает при нарушении его приказа. Вести себя надо, будто я не арестант, а свободный человек. Вступать в разговоры с кондукторами, официантами, пассажирами нельзя. На возможные вопросы со стороны надо отвечать односложно: «да», «нет», «не знаю», — или вообще не отвечать, например, если спросят, куда и откуда едете. Пользуясь туалетом, дверь надо оставлять полуоткрытой. При первой же попытке самовольно выйти из купе или из вагона-ресторана я буду тут же застрелен...

Через час мы сидели в пассажирском поезде «Баку — Москва», в спальном вагоне, в отдельном купе. В яркий солнечный день хорошо виднелись вершины величественных кавказских гор, которые, быть может, я видел в последний раз. Как много я дал бы, чтобы жить в этих горах, как жили деды и прадеды, свободным человеком, пасти скот по их долинам и умереть естественной смертью в собственной постели. Нас, горцев Кавказа, называли «детьми природы» еще в то время, когда Жан-Жак Руссо призывал человечество назад, к «естественному состоянию». Мы жили свободно и сытно на маленьком острове «патриархально-родовой демократии», когда, по словам того же Руссо, в западном мире трубадуры цивилизации покрывали «гирляндами цветов железные цепи, которыми опутаны люди». Эта цивилизация дошла и до наших дней. По образу выражению Ленина, русский царизм и капитализм «перерядили гордого горца из его поэтического национального костюма в костюм европейского лакея». Но Ленину надо было бы добавить: а мы его раздели догола и надели на него такие тяжелые цепи, какие и не снились Руссо.

Погруженный в эти свои мысли, я и не заметил, как подъехали к Минеральным Водам. На этой узловой станции шумел традиционный привокзальный базар, куда казачки из ближних станиц привозят аппетитных жареных кур, замечательные вина, редиску, малосольные огурцы,

пирог, крынки со сметаной, — все это домашнее и такое вкусное, что редкий пассажир не выскакивает здесь из поезда, чтобы купить что-нибудь. Так и помощник моего шефа притащил две курицы, две бутылки вина и еще всякую всячину.

Мои охранники отобедали, допили вино и начали играть в подкидного дурака. «Им теперь никакой вагон-ресторан не нужен, — подумалось мне, — да и упоминание шефа о вагоне-ресторане я, вероятно, неправильно понял. Может быть, он не сказал: «...когда мы пойдем в вагон-ресторан», а сказал «... когда мы пойдем через ресторан...» Как бы там ни было, я решил покончить с остатком моего пайка — нам давали в день пятьсот граммов хлеба, у меня было еще граммов триста. Я попросил у шефа разрешения встать и взять его из сумки, он кивнул головой, не отрываясь от игры. Я тоже «отобедал». Уже стемнело, и мы были за Ростовом, когда мой шеф приказал: «Пойдем». Мы гуськом двинулись, переходя из одного вагона в другой, и действительно очутились наконец в ресторане. Внимательно изучив меню, шеф придвинул его ко мне и сказал: «Выбирайте себе ужин».

Меню было довольно разнообразным, были и изысканные блюда, но я выбрал знакомое и сытное: котлеты, стакан молока и на десерт мороженое. Чекисты заказали себе острые закуски и большой графин водки. Потом еще один. На третьем графине они явно начали пьянеть, а когда российский человек пьяный, то он или по морде бьет, или в морду целует... Эти же, слава Богу, вопреки своей профессии по морде не били, а наоборот, начали со мной панибратствовать, настойчиво предлагая с ними выпить. Я попросил вместо водки разрешить мне заказать еще один ужин.

— Да закажи себе хоть всю кухню, но выпей стакан водки, я приказываю, — сказал, заикаясь почти на каждом слове, мой шеф.

Так как между лобзанием и мордобоем дистанция не очень велика, пришлось подчиниться. Водка сразу ударила в голову. Если бы не второй ужин, меня с моим ослабленным организмом, вероятно, сильно развезло бы. Уже было довольно поздно, люди начали расходиться по своим вагонам, помощник моего шефа, положив голову на стол, храпел во всю ивановскую, скоро его примеру последовал и сам шеф. Подошел официант со счетом. Я указал на шефа, официант его толкнул, шеф упал со стула, но не проснулся. Тогда я указал на его помощника, помощник не падал, даже поднял голову и бормотал нечто невразумительное... Я объяснил официанту и заведующему вагоном-рестораном, что у меня нет денег, но мои попутчики очень важные люди. Мы находимся в таком-то вагоне и купе, едем в Москву. Я прошу помочь мне довести их до нашего купе. Утром счет будет оплачен с хорошими чаевыми.

Однако «зав», здоровенный дядя с повадками боксера, оказывается, умел быстро приводить в чувство своих пьяных гостей — он бесцеремонно начал «обрабатывать» моего шефа, до тех пор, пока, взявши его за воротник, не поставил на ноги да еще прочел нравоучение:

— Ты здесь не в гостях у тещи, плати деньги и вываливайся!

Шеф молча оплатил счет, тем временем «зав» разбудил и его помощника. Шатаясь, падая и поднимаясь, мой «парад», в котором я был «поводырем», еле добрал до нашего купе. Не раздеваясь, чекисты упали на нижние полки и сразу заснули. Я вышел из купе, долго стоял в проходе у открытого окна, дыша свежим воздухом. Весь вагон спал, платформы встречных вокзалов были безлюдны, небо обволокло мрачные грозовые тучи, — такой же мрак был и у меня на душе. Ностальгия по воле невыносимо тяжка, когда вы эту волю так близко чувствуете, как чувствовал ее я. Ведь я мог забрать оружие, деньги и документы моих охранников и на ближайшей станции покинуть поезд.

То-то, скажет читатель, почему же ты, еще вчера думавший о самоубийстве, не решился на это? Вопрос законный, но человеку свойственно цепляться до последнего вздоха за жизнь в надежде, что произойдет чудо. Да и куда бежать? Я не вор, не грабитель, не бандит, которые сразу найдут своих на воле; я даже не революционер, который мог бы присоединиться к своему подполью, ибо такого подполья нет; я наконец не в царской России, из которой можно было не только бежать, но и свободно уехать за границу, — я в России советской, то есть в необъятной «тюрьме трудящихся», где можно бежать только из одного угла в другой угол, из преисподней в чистилище, из чистилища обратно в преисподнюю, если ты не имел счастья отдать Богу душу в этом вечном круговороте.

Я долго стоял у окна, потом подумал: неровен час, вдруг шеф проснется, злой и полупьяный, застрелит меня за нарушение его приказа и заодно избавится от лишнего свидетеля, видевшего, как он сам нарушил устав своего учреждения? Я зашел в купе, полез на верхнюю полку и сразу заснул. Когда проснулся, моя охрана уже была при исполнении своих обязанностей: чекисты как ни в чем не бывало дули вино и играли в подкидного дурака. Я попросился в туалет. Не поднимая головы, шеф велел помощнику повести меня, а сам, вопреки правилу, остался сидеть. Помощник повел меня и сказал, что я могу закрыть туалет изнутри. Ослабление моего арестантского режима сопровождалось усилением моего кормления. Правда, в ресторане на второй день мы не показывались, но на обед на большой остановке помощник притащил на этот раз три курицы, соленые огурцы, большую буханку белого хлеба, вино, лимонад. Мне вручили целую курицу, завернутую в газету, ломоть хлеба и

лимонад. Я знал, что все это вознаграждение за пережитки «пролетарской сознательности» у врага народа. Они, безусловно, ничего не помнили: как добрались до купе и как себя вели в ресторане. Они намеренно не спрашивали меня, а я счел за лучшее промолчать об этом. Я съел курицу, выпил лимонад и обратился к шефу с вопросом, можно ли просмотреть газету, в которую была завернута курица. Шеф не отозвался, что могло означать: читай, мол, но я этого не видел, — тем более, что помощник подвинул ко мне и свои газеты... Я полез к себе на верхнюю полку и преспокойно начал читать газеты, которые не держал в руках уже больше года.

Из газет — «Правды», «Комсомольской правды» и какой-то еще местной «Правды» — я узнал, что в Испании Франко пришел к власти. Интересно, какова судьба мужественной пассионарии («Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»)? Гитлер присоединил Австрию к Германии. В Мюнхене произошла встреча между Гитлером, Муссолини, Даладье и Чемберленом. На ней решено оторвать от Чехословакии Судетскую область и передать ее Гитлеру. В Европе командует Германия, в Азии — Япония, а Сталин устроил кровавое побоище над собственным народом. Газеты полны разоблачениями «врагов народа»: оказывается, был новый процесс в Москве — расстреляны Бухарин, Рыков, даже Ягода. Расстреляно все бюро ЦК комсомола во главе с Косаревым. Чистке конца не видно. Газетные шапки прямо-таки каннибальские: «Беспощадно бить по ротозеям — пособникам вражеских разведок», «Вырвать с корнем охвостье контрреволюции», «К стенке врагов народа — лезутчиков фашизма», «Бешеным собакам империализма — собачья смерть», — а когда читаешь соответствующие корреспонденции, то, конечно, выясняется, что все они до единого старые большевики, которые делали революцию, выиграли гражданскую войну, двадцать лет строили вместе со Сталиным «социализм в одной стране»...

Кормили меня чекисты до самой Москвы как на убой (может быть, и везут меня «на убой»?) не из жалости ко мне, а боясь, что я донесу на них... Только этим я объяснил себе, что мой шеф, который за всю дорогу не разговаривал со мной, теперь, на третьи сутки, при приближении к Москве совершенно преобразился. Он не выдержал молчания о пьянке в вагоне-ресторане. Извиняюще объяснил случившееся крайней усталостью, справлялся, не наделали ли они чего-либо недозволенного. Подтвердил мне, что он и его помощник убеждены в моей порядочности (это, конечно, был намек на то, что я не убежал, когда они были пьяны), и даже пожелал мне, чтобы я остался в живых. Из последних слов я понял, что они были предупреждены в Грозном, что везут опаснейшего «государственного преступника», которого ждет расстрел, ина-

че шеф при его старании завоевать мою симпатию должен был бы пожелать мне не остаться в живых, а выйти на свободу.

Когда мы подъехали к Курскому вокзалу, еще в купе шеф надел на меня медные наручники. Пассажиры, считавшие меня всю поездку свободным человеком, а моих сопровождающих — обыкновенными людьми, ужаснулись, когда увидели, что их соседями были два чекиста и один «преступник». Меня привели опять в комендатуру вокзального НКВД. Шеф позвонил куда-то, требуя транспорта. Звонил он еще много раз, но транспорт не прибывал. Кончилось тем, что пришлось везти меня на такси. Ехали мы довольно долго, но не на Лубянку. Пошли незнакомые улицы и бесконечные переулки Москвы, даже вспомнилось: «На московских изогнутых улицах умереть, знать, судил мне Бог». Вот наконец и прибыли: перед моим взором предстала Бутырская тюрьма.

Если мои конвоиры думали, быстро сдав меня в Бутырки, пойти гулять, их ожидало разочарование. Пришлось убедиться, что московские тюрьмы страдают из-за кризиса перепроизводства «врагов народа». Ведь вся стотысячная московская бюрократия была переселена в тюрьмы, камеры были переполнены до отказа. Опять начались бесконечные звонки, и все безрезультатно. Мой шеф был в отчаянии, он хотел скорее сбить меня с рук, а это ему не удавалось. Кажется, последовало распоряжение высокого чиновника по «нарядам», и начальник приемной тюрьмы наконец дал расписку шефу о моем принятии. Я вступил в столичную обитель советской инквизиции без иллюзий и надежд...

Несмотря на обгоняющие темпы роста «заготовки людей» по сравнению с ростом арестантской жилплощади, я тем не менее думал, что и в Москве меня ждет одиночка. Разочарование было удручающим. Когда надзиратель открыл передо мною камеру бутырского «спецкорпуса», смесью запаха людского пота, вони от параша и густого махорочного дыма потоком хлынула мне в лицо. В камере, рассчитанной на 10—12 человек, людей было в три-четыре раза больше. Почти все были голые, в одних трусах, и казались не людьми, а призраками. Появление нового человека моментально привело их в движение — они толпой бросились к мне узнать новости с «воли». Чтобы их не разочаровывать, я начал подробно пересказывать содержание вчерашних газет, а потом только сказал, что я не с «воли», а «враг народа» призыва 1937 года. Это только повысило мой авторитет, ибо большинство в камере оказалось «призывниками» 1938 года. Мы вновь вернулись к газетным новостям. Мои сокамерники хотели от меня узнать больше деталей. Очень настойчиво и упорно вникал в эти детали один старик с длинной полуседой бородой. Кто-то меня спросил,

знаю ли я этого старика. Я ответил, что не знаю. «Как же вы не знаете Павла Петровича, если вы кончки ИКП?» — удивился его сосед. Из неловкого положения меня вывел сам старик (который на самом деле не был стариком, ему исполнилось всего 50 лет):

— Я Постышев, Павел Петрович*, — сказал он.

Теперь была моя очередь удивляться, что в этой тесной, душной и зловонной камере я встречаю вчерашнего кандидата в члены Политбюро. Конечно, я бы его сразу узнал, если бы он не отрастил бороду.

Почти вся камера состояла из бывших ответственных работников партии. Поэтому она напоминала дискуссионный клуб. Люди обсуждали одну и ту же тему, которой жила и вся страна: что произошло, что происходит и что же будет дальше? Это и понятно. Здесь сидели чистые политики, многие из которых хорошо были известны в стране. Как они отвечали на эти вопросы, чем объясняли причины и смысл того, что от большевизма до фашизма оказался только один шаг?

Одни говорили, что здесь «высокая политика» и методом рационального мышления ее не постичь. Большинство стояло на точке зрения Рудзутака, бывшего председателя ЦКК, который, как впоследствии рассказывал Хрущев на XX съезде, писал Сталину, что в аппарат НКВД пробрались скрытые враги и все, что происходит сейчас, — дело их рук. Все винили Ежова, но никто не винил Сталина. Верили ли эти люди тому, что они говорили? Ведь это были люди с верхнего этажа партии — тут сидели бывшие члены ЦК и ЦКК Варейкис, Голощекин (убийца царя и царской семьи)**, бывший нарком Антипов***. В центре внимания, конечно, находился Постышев, и к его мнению чутко прислушивались. (Рассказывали, что, когда его перевели сюда с Лубянки, Постышев был до такой степени избит и искалечен, что люди поражались, что он еще жив. Постышев не подписал «признание», поэтому находился на режиме перманентных пыток.) Из сидевших в камере я встречался на воле только с Варейкисом, когда он был секретарем Воронежского обкома партии, куда я ездил с серией докладов по поручению прогруппы ЦК. Был я знаком и с младшим братом Постышева, с которым провел месяц в правительственном санатории в Кисловодске. Это был молодой, очень скромный человек, который мало интересовался политикой да, кажется, и образование имел скромное. Мне стало неловко, что я напомнил Постышеву о нем, — Постышев заметно изменился в лице, а потом тихо сказал: «Загубили

* Расстрелян 22.02.1939 г. в Москве (Прим. Д. Г. Юрасова).

** И. М. Варейкис расстрелян 28.7.1938 г. Ф. И. Голощекин расстрелян 28.10.1941 г. (Прим. Д. Г. Юрасова).

*** Н. К. Антипов расстрелян 28.7.1938 г. (Прим. Д. Г. Юрасова).

парня зря. — Вздохнув, добавил: — Дикость, какая дикость...»

Говорят, чтобы узнать характер человека, надо съесть с ним пуд соли, но так было, наверно, в блаженные времена Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича, — в бешеный век Сталина людей узнавали быстро, особенно в условиях сталинских мясорубок. Человек, пропущенный через винт этих мясорубок в ежовскую эпоху, превращался в какую-то рыхлую, аморфную массу. Урки нашли и образное выражение для этого человека: «Из него сделала котлету!» Перемолов физически, его одновременно перемалывали и духовно, превращая в послушный воск. Прокурорам и судьям оставалось слепить из такого воска образцового «врага народа»... Но вот удивительный феномен политических процессов тридцатых годов: почти все старые революционеры, бывшие лидеры и члены антисталинских оппозиций двадцатых годов признавали себя виновными в инкриминируемых им преступлениях, и все как один подтверждали свои признания на открытых судебных процессах, тогда как старые революционеры, у которых мясорубка выудила такие же ложные показания на предварительном следствии, но которые никогда не участвовали в каких-либо оппозициях, резко и категорически отказывались от своих показаний на судебных заседаниях. Чем это объяснялось? Я не знаю ответа, но констатирую факт: 70 процентов членов ЦК было арестовано и расстреляно, однако Сталин не осмелился устроить открытый суд ни над одним из них. Но выводы, которые делали из своей трагедии эти старые революционеры, были разные; это объяснялось, может быть, борьбой двух начал в старом идеалисте: бывшем фанатике революции и нынешнем свидетеле ее краха. В моей камере были представлены все варианты таких людей: оставшиеся верными своим старым убеждениям революционеры, кающиеся ренегаты, безнадежно опустившиеся как физически, так и духовно доходяги и даже такие, которых можно назвать «выживальщиками», — им было важно дожить до тех дней, пока развязанная Сталиным стихия фашизма не задавит его самого.

Убежденным революционером оставался Постышев, его антиподом был Варейкис, Антипову было важно выжить любой ценой, Голощекин был одновременно и физическим и духовным доходягой. Я узнал, что до переброски в камеру Постышева имя Сталина в дискуссиях было табу. Во всем винили его коварных помощников-карьеристов, которые-де сочинили чудовищный план заговора внутри партии и внутри ЦК, чтобы, уничтожив старых революционеров, легче было уничтожить и самого Сталина, а потом установить в стране фашистско-полицейскую диктатуру. Особенно доставалось трем помощникам Сталина — Ежову, Маленкову, Шкирятову. Об этом некоторые писали Сталину в своих письмах.

Легенда о том, что «стрелочник винovat», была удобна во всех отношениях: Сталин мог шантажировать этими письмами своих помощников, а авторам писем было тактически выгодно показывать себя верноподданными революционерами, озабоченными судьбой Сталина. Наиболее рьяно такую теорию развивал Варейкис (он претендовал на роль теоретика и в двадцатые годы работал в агитпропе ЦК) в лаконичном тезисе: «Заговор Ежова против Сталина» (впоследствии Сталин так-таки принял этот тезис «Варейкис против Ежова», но расстрелял их обоих). Мне навсегда запомнился ответ Постышева на этот тезис, высказанный как парадокс, он оказался пророческим: «Твоя формула будет правильной, если ее перевернуть: «заговор Сталина против Ежова». Ежов — охотничий пес на поводке у Сталина, но пес преданный и разборчивый, который по воле своего хозяина уничтожает партию и терроризирует народ. Как только собака кончит свою охоту (а нас тогда уже не будет в живых), Сталин объявит ее бешеной и уничтожит. Никого так не презирают великие преступники, как исполнителей, которые умеют заглядывать в их преступную душу. Таким я и знал Ежова при Сталине. Оба они морально-политически братья-близнецы. Кто же не знал в узких кругах партии, что Ежов в белорусских лесах в 1917—1918 годах занимался тем, чем занимался Сталин в Закавказье после первой русской революции, — бандитизмом и грабежами?» Постышев слишком хорошо понимал как свою обреченность, так и то, что мосты назад, к Сталину, сожжены, и поэтому был безогляден и беспощаден в своей критике.

В тюрьме впервые я узнал от самих членов ЦК, как ЦК в 1936 году дважды сорвал попытку Сталина — в сентябре и ноябре — вывести Бухарина и Рыкова из кандидатов в члены ЦК, чтобы их арестовать и судить, как он арестовал и судил Зиновьева и Каменева. Последние давно уже не были членами ЦК, поэтому для ареста и суда над ними не требовалось разрешение пленума ЦК. Иначе обстояло дело с Бухариным и Рыковым. Для ареста кандидатов и членов ЦК требовалось решение всех членов и кандидатов пленума ЦК не простым большинством, а квалифицированным большинством $\frac{2}{3}$ голосов. Так гласило требование устава, записанное рукой Ленина на X съезде. Когда третий раз, в феврале 1937 года, Ежов представил пленуму ЦК подробные показания Радека, Сокольников, Раковского, бывших в свое время членами ЦК, об их совместной с группой Бухарина контрреволюционной работе, то Постышев был единственным членом ЦК, заявившим на пленуме, что поверит этим показаниям только в том случае, если эти бывшие члены ЦК будут приведены на пленум и здесь подвергнуты перекрестному допросу. Выступил Сталин с краткой справкой: все

названные заключенные на очной ставке с Бухариным и Рыковым подтвердили на заседании Политбюро свои показания. Если пленум ЦК доверяет своему Политбюро, то он, Сталин, считает излишним вызывать на пленум «осужденных врагов народа». Таким образом, вопрос о выяснении правдивости показаний арестованных против Бухарина и Рыкова Сталин сделал вопросом доверия или недоверия пленума ЦК Политбюро (ведь в то время никто не знал, что в само Политбюро входило несколько человек, которые выступали против суда над Бухариным и Рыковым, — Орджоникидзе, Косиор, Чубарь, Рудзутак, Постышев). Поскольку никто не осмелился выразить недоверие Политбюро, генсеку Сталину и наркому Ежову, то Бухарина и Рыкова тут же арестовали без голосования, хотя большинство выступавших не верило ни фальшивкам Ежова, ни лояльности Сталина.

«Партия умерла на февральском пленуме из-за того, что не убила двух своих уголовников — Сталина и Ежова», — заявил Постышев в одной из камерных дискуссий. Такой вывод никто не оспаривал, но в политической оценке происходящих событий высказывались разные, порой противоположные суждения. Многие из этих суждений доказывали только то, насколько закоренелыми доктринами были и остались старые большевики, даже после того исторического урока, который наглядно преподали им Сталин и Ежов. В самом деле, соглашаясь с тем, что Сталин — гробовщик партии и ликвидатор советской демократии, взрослые и серьезные люди с пеной у рта спорили по абсолютно пустому вопросу: какая судьба ожидает «победивший социализм», если Сталин станет единственным диктатором? Когда кто-то сунулся в дискуссию с замечанием вроде «снявши голову, по волосам не плачут», то его резко оборвал Варейкис: «Дорогой товарищ, так может рассуждать не большевик, а мещанин: «После нас — хоть потоп». Если цена сохранения социализма в стране — это наша гибель, то большевик должен быть готовым идти и на такую жертву». «Философия» Варейкиса получила неожиданно суровый отпор того же Постышева. Постышев был неотразимый полемист и проницательный политик, который прощал людям все их слабости, кроме лицемерия. На этом лицемерии он и поймал Варейкиса: «Дорогой Иосиф, ты меня, старого грешника, прости, но если цена сохранения социализма — это казнь партии, которая руководила его строительством, и каторга для миллионов, которые его строили, тогда мне наплевать на такой социализм. К тому же никакого социализма мы еще не построили. Это Сталин выдумал, что мы его построили. Если огосударствление средств производства, земли и людей означает «социализм», то первое социалистическое общество у нас было при опричнине Ивана

Грозного, когда все это принадлежало одному Грозному, как теперь одному Сталину. Да, Ильич говорил, что у нас есть все необходимое, чтобы построить социализм, но Сталин доказал, что у нас было, оказывается, и все необходимое, чтобы создать единоличную тиранию, опирающуюся на палачей из НКВД, протитутков из партии и уголовников из общества. Стыдно, Иосиф, проявлять малодушие перед самой смертью и не иметь мужества признать то, что произошло на наших глазах. Некоторые говорят, что Сталин произвел просто фашистский переворот. Но, друзья мои, это же комплимент Гитлеру и Муссолини. Поймите, произошло неожиданное и чудовищное, то, что верующие люди назвали бы Апокалипсисом, «концом света». И это мы с вами помогли Сталину стать «коммунистическим антихристом» и навсегда убить веру России и человечества в победу идей социализма. И пусть Варейкис не беспокоится за тот «победивший социализм», который мы оставили на воле. Он никуда не денется, он не только останется, но его интересами Сталин оправдает как нынешнюю инквизицию, так и все свои будущие преступления. Я умру счастливым, — сказал Постышев, — потому что не буду ему в этом больше помогать»...

В Москве меня никто не вызывал, никто не допрашивал. Потом вдруг, недели через две, меня вызвали с вещами, повезли на вокзал, посадили в арестантский вагон, курсирующий между Москвой и Тифлисом, и, высадив в Грозном, вручили моему «родному» НКВД. Межнародный центр, видимо, не состоялся. Причины я узнал позже. Берия, сменивший Ежова, «распустил» Международный центр, а его мнимых членов предложил судить в их национальных республиках.

Суд

С вокзала меня повезли в «черном вороне» — этой маленькой «тюрьме на колесах», герметически закупоренной и разбитой на отдельные камеры, похожие на высокие узкие шкафы, чтобы изолировать арестантов друг от друга. Ни зги не видно: судить, куда тебя везут, можно только по качеству дороги. Если в «черном вороне» трясет — значит, ты едешь по грунтовой дороге за город во внешнюю тюрьму, если же едешь по асфальту — значит, тебя везут во внутреннюю тюрьму. Мне это важно знать, ибо на пытки возят во внутреннюю тюрьму. Меня нещадно трясет, несколько раз ударюсь лбом о стенку шкафа, иногда больно, но я доволен: везут во внешнюю тюрьму. Теперь бы узнать: опять в одиночку или в общую камеру? По тому, куда меня заведут, я могу догадаться о судьбе моего Московского международного центра. Когда мы прибыли и

надзиратель открыл дверь общей камеры, набитой людьми, как сеledками в бочке, я понял, что Московский межнациональный центр перестал существовать и пыток больше не будет, иначе не перевели бы из одиночки в общую камеру. Здесь я находился до весны 1940 года. В камере было около 50 человек. Представители всех профессий: профессора, управляющие нефтепромыслами, директора заводов и фабрик, инженеры, агрономы, зоотехники, преподаватели средних школ — химики, физики, биологи, астрономы, историки; были также «высококвалифицированные» закоренелые урки, с которыми я постарался установить отношения «мирного сосуществования», так как многие из них, возвращаясь с допроса, приносили мне клочки газет или даже целые газеты...

Камера жила интенсивной духовной жизнью. В отличие от бутырской тюрьмы, здесь не было никаких политических дискуссий. Объяснялось это составом камеры — здесь сидели преимущественно представители точных наук и инженерно-технической интеллигенции. Зато каждый вечер у нас бывали интересные научные лекции. Суды происходили редко, люди сидели по три-четыре года под следствием, каждый боялся, что его расстреляют, поэтому многие жаждали попасть хоть на Колыму, лишь бы остаться в живых. Никогда не забуду, как один инженер сияющим возвратился после суда: «Ребята, поздравьте, остаюсь в живых, дали только срок!» Когда его спросили, какой же срок ему дали, то он даже растерялся: «Кажется, двадцать лет, но я так волновался во время чтения приговора, что точно не запомнил»...

Стоял декабрь 1938 года. Как-то сокамерник, вернувшись с очередного допроса, сообщил, что в кабинете его следователя исчез портрет Ежова. Он думает, что Ежова больше нет. Его подняли на смех. Через несколько дней еще двое моих сокамерников сообщили, что, кажется, Ежова сняли, ибо в кабинетах их следователей тоже исчезли его портреты. Всех «успокоил» один наш камерный циник: видно, в НКВД происходит побелка, а когда происходит побелка, то убирают даже портрет Сталина. На другой день сам циник был взят на суд и вернулся оттуда с той же новостью — защитник ему шепнул на ухо: Ежова сняли, на его место назначен Берия. Вот теперь не только наша камера, но и вся тюрьма превратилась в «научно-исследовательский институт». Мы интенсивно перестукивались, оставляли в туалете записки друг другу, изучали поведение наших следователей и представителей тюремной администрации, да и самих надзирателей, чтобы уловить смысл происшедших перемен. Всех мучил только один вопрос: «Будет хуже или лучше?» Если будет то же самое, то незачем было бы и снимать Ежова. Когда камера потребовала от меня высказать свое мне-

ние по этому вопросу, я невольно вспомнил недавнее пророчество Постышева о «заговоре Сталина против Ежова». Мне показалось, что я уловил методологию Сталина в политических кампаниях: заставлять своих подчиненных для скорого достижения поставленной цели максимально перегибать палку, а когда цель достигнута и возвращение к «статус-кво» не дано в силу характера происшедших событий и создавшейся новой ситуации, объявить усердных исполнителей своей воли «левыми загибчиками» и ликвидировать их, зарабатывая себе на этом еще и моральный капитал. Народ должен думать: «Вот негодяи, подвели товарища Сталина, но исправить ничего невозможно». В соответствии с этим я выдвинул гипотезу: правление Берии во внутренней политике может ознаменоваться исправлением «левых загибов» и наказанием «левых загибщиков». Ежова и ежовцев посадят сюда, а нас освободят. Прогноз оказался слишком оптимистическим: ежовцев, правда, посадили, но нас не освободили.

И все-таки изменения при Берии произошли. Важнейшими из них были прекращение массовых пыток на допросах и роспуск «чрезвычайных троек». С тех пор, как Берия возглавил «органы», в грозненском НКВД не было ни одного случая избияния. Против этого утверждения могут возразить, сославшись на известную телеграмму Сталина, процитированную в секретном докладе Хрущева на XX съезде. Однако присмотримся более внимательно к этой телеграмме. 20 января 1939 г., после назначения Берии, в ответ на жалобы секретарей обкомов, крайкомов и ЦК республик, что у них продолжают применять к арестованным физические пытки, Сталин ответил: «ЦК поясняет, что применение методов физического воздействия в практике НКВД, начиная с 1937 г., было разрешено ЦК ВКП(б)... ЦК считает, что методы физического воздействия должны, как исключение, и впредь применяться по отношению к известным и отъявленным врагам народа».

Из жалоб секретарей партии с несомненной достоверностью вытекает, что, когда снимали Ежова, его обвинили в применении массовых физических пыток, ибо иначе местные секретари никогда бы не посмели жаловаться Сталину. А из ответа, в свою очередь, вытекает: «методы физического воздействия» при Берии допускаются только «как исключение», и то только «по отношению к известным и отъявленным врагам народа», то есть к представителям бывшей элиты партии: к членам ЦК, к первым секретарям обкомов, крайкомов и ЦК республик, наркомам и к ответственным («известным») сотрудникам ежовского НКВД... В нашей республике такие «известные враги народа» были уже побиты и перебиты, а к новым арестованным пыток не применяли. Основные процессы в республике тоже были проведены при Ежове. Глав-

ный процесс — над партийным и советским руководством — кончился относительно мягким приговором (если иметь в виду массовые расстрелы через «тройку»): три бывших руководителя республики были приговорены к расстрелу, за мененному потом сроками заключения (Саламов, Горчханов, Тучаев), а около сотни ответственных работников, приговоренных к различным срокам, вообще были освобождены.

Когда в начале 1939 года начались новые допросы и меня перевели во внутреннюю тюрьму, то здесь я тоже заметил важные перемены: подследственный и надзиратель должны были ставить свои подписи в специальном журнале дежурного по коридору, в какие часы и минуты брали подследственного на допрос, то же самое повторялось, когда его возвращали в камеру.

В кабинете сидел новый следователь и уже без харьковских «атлетов». Он тоже начинал протокол допроса с указания часов и минут, а в конце протокола указывал, когда допрос кончился. Сам допрос теперь велся без каких-либо насилий или угроз. Следователь сообщил мне, что он начинает мое следствие заново, что пункт «IA» статьи 58 у меня снят, а по остальным пунктам я должен дать честные показания; он предупредил, что за ложные показания я буду привлечен к уголовной ответственности, о чем я в этом учреждении слышал впервые.

Следователь ставил по каждому пункту один и тот же вопрос: признаете ли вы себя виновным? Мои ответы: «не признаю» — тут же записывал, не вступая со мною в дискуссию и не настаивая, чтоб я в чем-нибудь признался. Он сообщил, что на меня есть два десятка показаний других арестованных, которые утверждают, что я состоял с ними в одной контрреволюционной организации. Я потребовал немедленной очной ставки с теми, кто это утверждает. Мне дали только одну очную ставку с человеком, которого я меньше всего ожидал видеть в такой роли, — с моим старым учителем Халидом Яндаровым. Когда его привели в кабинет, я искренне простил ему, что он подписал клевету против меня: передо мной был не человек, а скелет. Его безжизненные, мутные глаза ничего не выражали, кроме пережитого ужаса и без надежной обреченности. Во рту, насколько можно было видеть, не осталось ни одного зуба. На лице виднелись шрамы, следы от недавних избиений, а правая рука не двигалась, и я видел, как он с трудом подписывал протокол левой рукой, хотя и не был левшой.

Следователь предложил ему повторить свое показание против меня на предварительном следствии. Яндаров еле слышным голосом сказал:

— Я ничего не помню, ничего не знаю. — И потом, как бы вспоминая, что его могут подвергнуть новым пыткам, добавил: — У вас там в бумагах что-то записано, читайте уж вы сами.

Следователь прочел: «В 1931 году на квартире у Авторханова, в доме «Жилстрой, номер пять», у нас состоялось нелегальное собрание, на котором Авторханов предложил создать независимую Северокавказскую республику под протекторатом Турции и Англии, а чтобы эта республика была признана Россией, надо вызвать Троцкого из-за границы и поставить его на место Сталина. Мы так и постановили».

Следователь теперь спросил, что я на это отвечаю. Я запротестовал против такого способа ведения очной ставки.

— Во-первых, Яндаров должен мне в лицо подтвердить свое клеветническое показание, потому ведь наша встреча и называется «очной ставкой». Во-вторых, если он не в состоянии это сделать и вы зачитываете его прежние показания, то ваш первый вопрос должен быть обращен не ко мне, а к нему: подтверждает ли он свои показания на предварительном следствии? В-третьих, вы сочинили за Яндарова совершенно смехотворную чушь — как может маленькая Чечня вызывать из-за границы Троцкого да еще свергнуть Сталина?

Первый раз новый следователь дал мне понять, чтобы я не слишком обманывался насчет происходящих в этом учреждении перемен:

— Здесь следователь я, а не вы. Не вам меня учить, как проводить очную ставку!

— В этом случае я отвечаю: все, что вы прочли от имени этого несчастного человека, — ложь, ложь, ложь! Я требую точно записать в протокол: в 1931 году «Жилстрой, номер пять» еще не существовал, так что хотя бы поэтому там не могло состояться какое-либо собрание.

Ответ следователя был обезоруживающе циничен:

— Совершенно неважно, где состоялось собрание, а важно, что оно когда-то и где-то состоялось.

«Очная ставка» кончилась. Я вернулся в камеру, освободившись от лишних иллюзий. Кажется, в марте 1940 года меня вызвали подписать протокол об окончании следствия. Мне дали сначала прочесть дело, причем невероятно торопили, чтобы я читал быстрее. Но я так долго жаждал узнать, на основании каких данных меня арестовали и какие показания стоят за каждым пунктом обвинения, что вовсе не торопился и с великим любопытством читал каждый лист. Показаний на меня было около 18—19. Один арестованный показывал, что, когда заседал повстанческий штаб Чечено-Ингушетии, я был уполномочен руководить восстанием в Гудермесском районе (единственный район Чечни, где я никогда не бывал). Другой арестованный, инструктор Северокавказского крайкома Тлюняев, показал, что, будучи в командировке в Москве, он встретился со мной. На его вопрос — что нового, сказал, что за один прошлый год, во время восстания в горах, в Чечне было убито

больше людей, чем за всю двадцатипятилетнюю русско-кавказскую войну под руководством имама Шамиля (это было единственное правдивое показание, тот разговор я хорошо помнил, но мог его отрицать, так как к показанию была приложена справка: «Тлюняев приговорен Северокавказским военным трибуналом к расстрелу, и приговор приведен в исполнение»). Наш бывший руководитель областной партийной организации, друг Орджоникидзе и его заместителя Пятакова Ефрем Эшба показал, что он от меня получал секретные сведения о состоянии экономики Кавказа и что он эти сведения передавал Пятакову, а Пятаков английской разведке (тут тоже была приложена справка, что автор показания приговорен к расстрелу и приговор приведен в исполнение). В том, что такое показание вообще могли выудить у бывшего троцкиста Эшбы, виноват был я сам — я занес его в тот список моих знакомых, который составил по требованию Кураксина, думая, что мои связи с ним НКВД должны быть известны. Все другие показания были составлены по шаблону: мне, мол, известно, что такой-то является членом контрреволюционной организации (к каждому такому показанию тоже была приложена справка: «Впоследствии отказался от своих показаний»).

Только один арестованный, бывший завагитпропом обкома, автор одной из статей против меня во время партийного дела в Москве, утверждал, что все книги, которые я писал по истории Чечни, — точно вредительские, только ему неизвестно, писал ли я их по заданию контрреволюционной организации, ибо сам он в такой организации не состоял (это был единственный свидетель, который и на суде не отказывался от своего показания).

Через месяц я получил «Обвинительное заключение», утвержденное спецпрокурором республики («спецпрокурор» — это чекист, который снял чекистский мундир, чтобы проводить линию НКВД изнутри самой прокуратуры). В «Обвинительном заключении» перечисляясь 12 человек, дела которых должна была слушать уголовная коллегия Верховного Суда ЧИАССР. Список начинался с Мамакаева, бывшего члена бюро обкома партии, и кончался мною. Только мы с ним и были бывшими коммунистами, а остальные десять человек — беспартийные научные работники в области языка и литературы, старые культурные деятели Чечено-Ингушетии Х. Яндаров, А. Мациев, Д. Мальсагов и другие. В «Обвинительном заключении» приводились большие выдержки из взятых под пытками признаний обвиняемых на предварительном следствии. Я был указан как не признавший себя виновным. Поэтому наши камерные «специалисты» по чекистской юриспруденции твердо обещали мне волю. Желанное казалось таким несерьезным, что я совсем

не лелеял надежду на подобный исход: если отделаюсь десятью годами, и то лафа. (Потом, читая лагерный рассказ, кажется Солженицына, я смеялся: охранник обращается к заключенному:

— За что тебе дали двадцать лет?

— Да ни за что!

— Брешешь, ни за что дают только десять лет!)

В мае 1940 г. открылся наш процесс. Председательствовал на нем сам председатель Верховного суда Чечено-Ингушской АССР, русский по национальности. Обвинение поддерживал спецпрокурор республики. Присутствовало несколько адвокатов, назначенных судом. Суд был открытым, и в зале находились наши родственники, друзья и любопытные. Мы увидели друг друга впервые за эти ужасные три года. Старики заставили наших жен привести на суд детей, некоторые из которых еще помнили отцов и с криками радости бросились к ним. Охрана грубо загородила им дорогу, а комендант дал приказ вывести из зала женщин с детьми.

Суд начинается с соблюдения всех формальностей: есть ли отвод суду, есть ли ходатайства сторон и т. д. Когда начинается допрос подсудимых, наш местный Вышинский приходит в раж, и небеспричинно: все одиннадцать подсудимых, признавших себя виновными на допросах в НКВД, теперь на судебном следствии на вопрос председателя суда, признают ли они себя виновными, один за другим перед полным залом заявляют, что они отказываются от своих признаний, ибо они были взяты под мучительными пытками и нечеловеческими избиениями. Зал возмущается, но еще больше возмущается прокурор, который требует от суда, чтобы он не разрешал «матерым врагам народа» заниматься в этом зале контрреволюционной пропагандой и клеветой на НКВД. Но это не помогает. Судья старается заставить подсудимых коротко отвечать на вопрос о своей виновности или невиновности, но это ему явно не удается. Постепенно ведение допроса переходит от судьи к прокурору (эталоном ведь служили большие московские процессы, когда не судья Ульрих, а прокурор Вышинский допрашивал подсудимых). Но для самого же НКВД было бы лучше, если бы прокурор от этой роли отказался. Прокурор перелистывает дело каждого и начинает широко цитировать показания подсудимых на предварительном следствии, как они, «пойманные с поличным», вынуждены были разоружиться, а теперь они решили вновь вооружиться давно заржавленным оружием контрреволюции. Но на красноречие и цитаты прокурора подсудимые отвечают подробными рассказами о пытках. Сам бывший прокурор Чечни, потом заведующий отделом обкома партии Магомет Мамакаев напомнил прокурору:

— Гражданин прокурор, я никаких показаний не давал, все, что вы цитиру-

ете, — это сочинения моих следователей. Я их подписал под адскими пытками, когда нарком Иванов дал мне честное чекистское слово, что через час после моей подписи меня расстреляют, но он меня обманул. Вероятно, вы хотите с таким опозданием выполнить обещание Иванова, но теперь не моя задача облегчить вам эту миссию. Я вчера видел своих детей, и если мне придется умереть, то я не хочу покрыть их будущее позором, чтобы говорили, что их отец умер как трус и предатель чеченского народа.

Поскольку процесс был основан лишь на личных признаниях подсудимых, от которых они теперь отказывались, а так называемых вещественных доказательств и в помине не было, то он свелся к цитатам прокурора и подробным рассказам подсудимых о пытках.

Наступил последний день суда. Прения сторон открылись, как обычно, речью прокурора. Против отказавшихся от своих признаний он выдвинул только один аргумент: «Что написано пером — не вырубишь топором». В отношении меня, кроме тех показаний, от которых свидетели отказались, прокурор привел «два весьма важных показания», от которых эти свидетели не отказались: показания Тлюняева и Эшбы, «ныне расстрелянных врагов народа». Прокурор кончил речь, повторив изуверскую фразу Вышинского, ставшую штампом прокуроров на местных процессах: «Я предлагаю всех подсудимых расстрелять как бешеных собак!»

А наши защитники вели себя так, как рассказывает чеченский анекдот о советском защитнике того времени: после суда чеченца возвращают в тюрьму, сокамерники спрашивают, чем кончился его суд.

— Мне дали двадцать лет, а защитник так хорошо говорил против меня, что его оправдали!

Так и наши защитники: с одной стороны, это, конечно, неплохо заниматься контрреволюцией, но, с другой стороны, велик советский социалистический гуманизм.

В коротком последнем слове мы все просили суд вернуть нам волю и дать возможность работать на пользу нашего народа.

Мучительно были часы ожидания, когда суд удалился в совещательную комнату. В смертные приговоры я мало верил, но если дадут сроки, то они будут высокие, на пределе, судя по поведению прокурора. И вот 19 мая 1940 года, около пяти часов вечера председатель начинает читать: «Уголовная коллегия Верховного суда Чечено-Ингушской АССР именем... приговорила: считать всех подсудимых по суду оправданными и из-под стражи немедленно освободить». Матери, сестры, жены, словно по команде, зарыдали от радости, мужчины кричали «ура» и «браво», а мы, остолбеневшие от неожиданности, даже и не пытались выйти из-под стражи — настолько невероят-

ным нам казался этот первый оправдательный приговор не только в Чечено-Ингушетии, но и на всем Кавказе. Толпа буквально на руках вынесла нас на улицу...

На другое утро после освобождения я, просыпаясь в неопределенных чувствах, думал: а не было ли вчерашнее освобождение очередным тюремным сновидением?

Нашу квартиру, конечно, в первый же месяц после моего ареста отобрали. Жена с дочерью ютились в маленькой комнате у своей матери, я временно устроился у своих друзей. Правительство не спешило дать мне квартиру и работу. Милиция отказалась выдать паспорт, так что я даже не мог уехать куда-нибудь в поисках работы. Причины всего этого я узнал позже, но главное — я был на воле, хотя эта воля и была советской, то есть условной.

В эти дни с гор приехал поздравить меня мой друг — Хасан Исраилов. Он был юрист по образованию, раньше меня успел посидеть в НКВД. Теперь работал адвокатом в горном Галанчожском районе. Это была человеческая натура поразительных контрастов: мягкий и сентиментальный в личном обращении, он был человеком непреклонных принципов и необыкновенного мужества в отношениях общественных. Когда ему предложили второй раз вступить в партию (из партии он был исключен), чтобы назначить его судьей, он отказался, заявив, что в дальнейшем намерен зарабатывать хлеб головой, а не партбилетом. Он писал по-чеченски лирические стихи о любви, а по-русски — желчные корреспонденции в «Крестьянскую газету» против произвола местных властей, за что и был арестован в начале кровавой коллективизации. Хасан приехал ко мне через неделю после моего освобождения и привез много масла, сыра и целого барана.

Наши продолжительные беседы имели свое влияние на мое дальнейшее поведение. Хасан начал с предупреждения:

— Запомни, отныне твоя личная и семейная жизнь кончилась, ты весь во власти НКВД, и по твоим пятам будут ходить его агенты. Горцам, которые думают о судьбе своего народа, чекисты никогда не давали и не дадут умереть своей смертью — назови хоть один пример!

— Так думаю и я сам, но какой же отсюда вывод?

Хасан ответил, что, если мы дорожим своей историей и своей независимостью, нам надо организовать во всей горной Чечено-Ингушетии силы самообороны. Я сразу понял, что он имеет в виду. Чтобы Хасан не подумал, что я слишком дорожу своей головой, я рассказал ему о массовом расстреле чеченцев под Терским хребтом и о своей клятве бороться против режима. Потом ответил по существу: силы самообороны надо организовать только тогда, когда сам режим окажется в кризисе. Иначе будут бессмысленные жертвы.

— Хасан, Чечня — капля, советская Россия — океан.

— А Шамиль? — напомнил Хасан.

— В век Шамиля сражались люди, а теперь сражаются машины, которых у нас нет.

Я его не убедил, мы решили вернуться к этой теме в другой раз. Но другого раза не получилось. Меня ожидали новые испытания.

Новый арест и новый суд

На волю я вышел, но, сколько ни старался, ни работы, ни квартиры мне не давали. Даже когда местный педагогический институт пригласил меня работать преподавателем на кафедре истории, обком партии не дал на это своего согласия.

Тогда я решил уехать из Грозного и обратился в паспортный стол с просьбой выдать мне паспорт. Мне сказали, что я должен получить паспорт по месту рождения — в Нижнем Науре. Там мне ответили, что паспорт я могу получить только по месту жительства — в Грозном. Три или четыре раза я без толку курсировал между моим аулом и Грозным, совершенно не догадываясь, что мне намеренно морочат голову. Возвращаясь из одной из таких поездок, я зашел в научно-исследовательский институт истории, культуры и языка, чтобы узнать, нет ли у них нужды в авторах для их «Вестника института», в котором я сотрудничал до ареста.

Страшно удивленный моим появлением сотрудник института задал вопрос, который удивил меня самого:

— О, слава Богу, значит, это неправда, что вас арестовали?

Заметив мое полное недоумение, он объяснил, в чем дело:

— Сегодня утром я был в обкоме и там рассказывали, что Москва отменила оправдательный приговор в отношении Авторханова, Яндарова, Мамакаева и Мациева и что всех вас четверых прошлой ночью арестовали.

Следующие десять минут, которые я провел в его кабинете, показались мне вечностью. Я понял, почему мне не давали работы, квартиры и паспорта. Не было сомнения, что мои поделчики арестованы, а меня ищут... У меня были считанные минуты, чтобы принять решение: как быть? Заезжать к семье уже было опасно. Я сел на трамвай, поехал за город в рабочий поселок к одному своему родственнику, который жил там нелегально, как «чуждый элемент». Родственник был очень удручен моим сообщением, запретил мне выходить из дому, а своего сына сделал «связным» между мною и моими друзьями в городе, чтобы узнать подробности по поводу отмены оправдательного приговора и обсудить, как мне быть дальше: явиться самому в НКВД или скрыться?

Мой родственник был человек бывалый и опытный. Во время напа он разбогател на казенных подрядях, после объявлен-

ный «чуждым элементом» спасался от репрессий тем, что вечно кочевал с одного места на другое и в то же время умудрялся быть состоятельным. Свое мнение он выразил недвусмысленно:

— В свою пасть змея может заманить только существо жалкое и презренное.

Этим он только укрепил меня в том решении, которое я уже принял: скрыться. Старый «подпольщик» с солидным стажем, «явками» и богатыми связями в народе, он дал мне и совет: начать совершенно новую жизнь, где-нибудь в других краях. Трезвый и умный в практической жизни, родственник мой жил в том же мире политических иллюзий, что и весь народ: скоро все изменится, и тогда ты вернешься на родину...

На второй день вечером я послал «связного» к одному из своих друзей, который занимал в республике высокое положение. Друг явился в тот же вечер и предложил мне немедленно переселиться в его квартиру, где мне легче связаться с нужными людьми и обсудить мое положение. Он подтвердил, что арестованы мои поделчики и что меня ищут... Я решил скрыться, но куда? СССР занимает одну шестую часть земного шара, но в нем нет ни одного метра земли, где преследуемому по политическим мотивам можно было бы скрыться.

В ту же ночь на верховом коне моего родственника я двинулся в горы, чтобы искать убежища у Хасана Исраилова. На второй день я прибыл в Галанчож, но, к своему великому огорчению, Хасана дома не застал. Оказалось, что по своим адвокатским делам он уехал в Москву, и никто из семьи не знал, когда он вернется.

Что бывают встречи для человека судьбоносные — это явление нередкое, но что несостоявшаяся встреча тоже может оказаться таковой, я убедился на своем примере. Если бы я застал Хасана дома, моя судьба могла бы сложиться иначе. Я не могу сказать, мог ли бы он меня уговорить участвовать в том восстании, которое он поднял через несколько месяцев, но шансов у него на это было теперь больше, чем месяца два тому назад, когда он меня вербовал для организации «сил самообороны».

Долго оставаться в Галанчоже было небезопасно. Маленький горный аул, расположенный в чудесной долине полных гор, Галанчож был районным центром, в котором не только люди, но и каждая собака должны были быть известны районному уполномоченному НКВД. Поэтому я немедленно двинулся дальше, в тот аул у подножия Кавказского хребта, в котором жил друг моего грозненского родственника — Джабраил. Джабраил меня принял как родного сына, а узнав, что я друг Хасана и в бегах от властей, молча повел в хлев, а там в землянку, оказавшуюся чем-то вроде «цейхгауза» для оружия разного калибра. Указывая на этот самый «цейхгауз», Джабраил сказал:

— Абдурахман, нас шесть братьев, в нашей тайне все вооружены, и пока мы живы, с твоей головы не упадет ни один волос. Ты должен остаться у нас.

Чеченцы горды своим гостеприимством, но если гость ищет убежища от своих врагов, то они считают, что такого гостя им послал сам Бог и тем больше ему почта и внимания.

Я решил остаться у Джабраила, пока вернется Хасан...

В ожидании возвращения Хасана я уже недели две находился в гостях у Джабраила, успел побывать по приглашению почти у всех его сородичей, но Хасан не возвращался, и дальнейшее нахождение здесь становилось для меня опасным. К Джабраилу начали приезжать люди из дальних аулов, чтобы обсудить со мною свои проблемы, будто я член правительства, а на майданах, наоборот, как я узнал, только и говорили, что у Джабраила живет «таинственный гость», который хочет объявить газават. Правда, в горах существовал еще со времен Шамиля закон убивать лазутчиков и поэтому чекисты не сумели создать здесь своей агентурной сети, но исключения были возможны...

Я объяснил Джабраилу, что мне надо посетить одного моего друга в районе, пограничном с Грузией, и, если будет угодно Аллаху, мы еще встретимся. Он неохотно отпустил меня в сопровождении своего сына Рашида, который показал себя отличным проводником. Мы двинулись на низкорослых горских лошадях — это особая порода альпийских лошадей «вездеходов» (лошадь своего родственника я отправил обратно в Грозный через знакомых Джабраила). Для меня, чеченца с плоскогорья, путешествие на такой лошади по узким тропинкам на склонах крутых гор, нависших над бездонными пропастями, было делом непривычным, даже страшным...

Наконец мы достигли конечного пункта нашего путешествия, одно название которого символизировало что-то необычное и пугающее: «Беллич-шахар», что значит «Город мертвых». Рядом находился и аул Малхиста. Его возглавлял член тайпы Джабраила — Осман, к которому мы и заехали. Глава аула называется так, как он назывался еще в древние времена: «юрт-да», что значит «отец аула». Вероятно, Осман был самый счастливый «отец аула», ибо об «отце народов» не имел даже приблизительного представления; газет и радио не было, в городе никогда никто не бывал, а от Советской власти сюда приезжал в три года один раз районный фининспектор собирать налоги...

Рашид утром начал свой спуск, а я остался жить у Османа. Однако не прошло и двух недель, как я сказал себе: в такой абсолютной изолированности от внешнего мира может пребывать только человек, который здесь родился, вырос. Тут царил девственная свобода патриархально-родовой демократии, но человек, уже затронутый городской цивилизацией,

не может жить такой свободой. Я решил лучше рисковать встретиться с чекистами, чем прозябать в этом небытии... Мы с Османом на таких же горных лошадях, как у Рашида, благополучно спустились с Малхисты и прибыли к моему Джабраилу. Хасан, оказывается, все еще не вернулся. Несмотря на все уговоры Джабраила остаться у него, я все-таки решил через Ингушетию добраться до Орджоникидзе, а оттуда по железной дороге поехать в Кизляр. Так и сделал. Из Кизляра я держал путь в кара-ногайские пески. Там, недалеко от Терекли, в песках жила сестра моего отца тетя Деци. Здесь, среди ногайцев, расположилось несколько небольших аулов, в которых жили надтеречные чеченцы, бежавшие сюда от преследований местных властей. Деци жила у своих женатых сыновей, простых крестьян — Саид-Эми, моего ровесника, и младшего — Виси. Оставшись вдовой очень рано, когда дети были совсем маленькими, Деци их вырастила, счастливо поженила, появились внуки и внучки, которым она безропотно отдавала свою старость. Она была слишком горда, чтобы существовать на их иждивении. Поэтому завела себе собственный очаг, имела корову, несколько коз, купила в Грозном «сепаратор» — пахтать масло из молока, что приносило ей хороший доход; пешком ходила до Грозного, чтобы принести оттуда несколько кирпичей калмыцкого чая (ногайцы заболели без этого чая и поэтому давали за кирпич целого барана). Все, что она получала от этой своей «предпринимательской» изобретательности, она отдавала на украшение жизни внуков и внучек. Когда близкие родственники упрекали Деци, что достаточно она горбатилась на своих детей, пусть теперь за внуками ухаживают родители, Деци обычно отвечала:

— Мои дети не знали счастья детства, пусть уж почувствуют это счастье мои внуки.

Поэтому, хотя внуки и росли в песках, у них были все игрушки, какие только продавались в кизлярских и грозненских магазинах.

Вот к этой моей тете меня и доставил ногаец за небольшие деньги на своей скрипучей допотопной арбе и всю дорогу пел мне одну и ту же песню с назидательным припевом: «Яман арба ойл бузар — яман мулла дин бузар» («плохая арба дорогу портит, плохой мулла веру портит»).

Я не погрешу против совести, если скажу, что Деци любила меня, как любила собственных детей. Она недавно была в Грозном, узнала от родственников, что я исчез, но ни родственники, ни друзья не знали, на воле ли я, сию, или, может быть, даже погиб. Поэтому мое внезапное появление произвело такое впечатление, словно я вернулся с того света. Радости тети не было конца, радовались братья, их жены, дети, которым я не забыл купить подарки в Орджоникидзе. К сожалению, я должен был их

разочаровать — они думали, что к ним приехал свободный человек, а пришлось сообщить, что я в бегах. Наказал заодно, чтобы никто, даже родственники, даже семья не знали, что я живу у них, ибо если меня арестуют, могут арестовать и тех, кто меня принял в свой дом. Я с первых же дней бегства отпустил усы, бороду, переоделся по-простецки, снял очки, избегал встреч. Мне казалось, что я довел себя до такой степени неузнаваемости, что хоть гуляй по проспекту Революции в Грозном...

Деци видела, как тяжело я переживаю отсутствие связи с семьей, друзьями да и вообще с внешним миром. Однажды Деци предложила мне неожиданный план моего «выкупа» у «грозненских начальников». Она слышалась от людей, что все грозненские начальники — взяточники, что за деньги они освобождают даже разбойников.

— Абдурахман, — обратилась ко мне тетя, — скажи, как имя твоего судьи, я продам свой сепаратор, корову, коз, соберу много денег, поеду в Грозный и отдам их ему, чтобы он разрешил тебе жить на воле.

Трудно было растолковать моей тете, что ее план нереален и что судья, который меня хочет судить, ни в чем не нуждается: ему принадлежат все сепараторы, все коровы, все люди, все государство.

Хотя я строго наказывал родственникам держать незнакомых людей подальше от меня, я сам же первым начал нарушать требования осторожности, тем более, что вот уже два месяца я в бегах, а от вездесущего НКВД ни слуху, ни духу. Это, естественно, располагало к беспечности.

Через свои связи тетя узнала, что жена моя ожидает второго ребенка, по-прежнему живет у своей старой матери; перспектива кормить двух детей, когда я в бегах, а все ее три брата арестованы, была ужасная. Я принял отчаянное решение: добраться до Грозного, встретиться где-нибудь с семьей и постараться организовать ей какую-нибудь помощь.

Добраться до Грозного через пески к Тереку или в обход через Кизляр было очень утомительно, но я слышал, что между Терекли и Грозным курсируют местные самолеты. Я посетил Терекли, и первый же человек, маленький чиновник с большим портфелем, к которому я обратился за справкой о расписании полетов, сказал мне, что эти полеты отменены. Разочарованный, я вернулся домой и начал думать о новом маршруте. Так, в думах о том, как попасть в Грозный, прошло пять-шесть дней. Оказалось, что ничего нет проще, если за тебя думают и другие.

Поздно вечером в ноябре 1940 года моего брата Виси, у которого я жил, посетил его односельчанин с просьбой ко мне написать заявление его гостям из Чечни, у которых завтра суд в Терекли, а они по-русски не говорят. Это заявление будет их показанием. Только я успел переступить порог его гостевой комнаты,

раздалась команда: «Руки вверх!» Со всех сторон — через окна, через дверь и из самой комнаты люди в чекистских формах наставили на меня дула винтовок. Только один из них был в гражданском; тот, у которого я спрашивал шесть дней тому назад расписание самолетов...

Через двое суток меня доставили в Грозный во внутреннюю тюрьму НКВД. Началось новое следствие, но без физических или психологических пыток.

Вскоре произошло событие, которое привело в тюрьму новую волну репрессированных: началась война. Тюремно-лагерное население СССР увеличилось до десяти миллионов человек. Кто может этой миллионной массе измученных, истерзанных, голодных рабов бросить обвинение, если они от всей души желали сталинской тирании поражения и скорой гибели? Наша камера — около 70—80 человек — встретила войну с нескрываемой радостью и надеждой. Наши камерные «стратеги» и «политические мыслители» делали на основе той информации, которую новые арестованные приносили с воли, расчеты и анализы, как может кончиться война. Разумеется, все «аналитики» были единодушны, что Сталин, как и Пугачев, кончит свою карьеру на Красной площади, только спорили о несущественных деталях — отрубят Сталину голову или его повесят. Хорошо помню содержание своего доклада. Мне камера предложила высказать соображения, почему западные демократические державы поддерживают Сталина. Эта тема была мне явно не под силу. Тюремные годы оторвали меня от текущей политики, а прибывающие с воли люди сами толком не понимали, на каких основах образовался союз между СССР, Англией и Америкой. Главное, однако, было в другом: я очень долго не понимал, что так называемая либеральная демократия никогда не ставила своей целью уничтожение большевизма, тогда как глобальной стратегической целью большевизма всегда было и оставалось уничтожение этой самой демократии. Поэтому я свой анализ строил на предположении, что в основе нового «тройственного союза» лежит не единая стратегия победить Германию и этим кончить войну, а две стратегические концепции. Одна советская: победив своего врага номер один на этом этапе — Германию, готовиться к победе над врагом номер два на втором этапе — над Англией и Америкой. Англо-американская концепция другая — так маневрировать в этой начавшейся войне, чтобы к ее концу оба диктатора — Сталин и Гитлер — от взаимного ослабления и истощения погубили друг друга. Вот тогда в Германии и России англосаксы восстановят демократию. Если в отношении большевиков я в своем анализе не ошибся (тут заслуга невелика: предполагай о большевиках самое худшее — и никогда не ошибешься), то в оценке стратегии Запада я оказался жалким невеждой: переоценил стратегический ум и политическую дальновидность западных

руководителей. Мое невежество было основано и на дезинформации со стороны самих же западных лидеров: ведь говорил же Черчилль еще в 1919 году, что он не успокоится, пока не уничтожит большевизма в России; ведь утверждал же Рузвельт, что советская тирания ничем не отличается от тирании нацистской...

Однажды к нам в тюрьму пришла потрясшая меня весть: Хасан Исраилов поднял в январе 1941 года всеобщее восстание в Галанчоже. Это известие принес майор Красной Армии, который командовал одним из батальонов, посланных на подавление этого восстания. Его арестовали по обвинению в предательстве. «Предательство» заключалось, по его рассказу, в следующем: дав батальону спуститься в лошину районного центра — Галанчожа, ставшего теперь центром восстания, Исраилов обложил батальон со всех сторон тесным кольцом повстанцев. Чтобы солдаты не думали, что они окружены безоружной толпой, повстанцы открыли довольно внушительный огонь. После прекращения огня Исраилов направил в штаб батальона парламентаря с ультиматумом: если батальон не сложит оружия к такому-то часу, то он будет уничтожен, если сложит — всем, кроме чеченцев, находящихся в его рядах, дадут уйти. Майор говорил, что положение создалось безнадежное, а поскольку и съестных запасов больше не было, ничего не оставалось, как сложить оружие. Тогда к штабу на конях подъехала группа повстанцев и предложила выстроить безоружный батальон. Перед батальоном выступил высокий, стройный, очень интеллигентный мужчина лет тридцати. На чистом русском языке он заявил: моя фамилия Исраилов. Я возглавляю временное народное правительство независимой горной Чечни. Наша программа имеет только один пункт: чтобы большевики ушли с Кавказа и оставили нас спокойно жить в этих каменистых горах, как жили наши предки... Вы наши военнопленные, но мы вас освобождаем еще до окончания войны согласно данному слову, что же касается чеченцев из вашей среды, то они останутся и должны будут отвечать перед революционным судом как предатели чеченского народа.

— Когда мы прибыли в Грозный, то нас всех арестовали как изменников, — закончил майор свой рассказ.

В сентябре 1941 года меня вызвали подписать протокол об окончании нового следствия. От старого обвинения против меня остался только один все еще модный тогда «пункт семь» (вредительство) из ст. 58. В качестве доказательства к делу была приложена экспертиза профессора Чечено-Ингушского государственного пединститута Сафоновой-Смирновой. Эта подпись меня поразила высотой ранга профессионального провокатора и совершенно невероятным милосердием Сталина к раз уж использованному свидетелю из числа «агентов-прово-

каторов», которых он, как правило, расстреливал после выполнения ими задания на открытых процессах. Дело в том, что эта Сафонова-Смирнова была женой соратника Ленина — И. Н. Смирнова, которого в августе 1936 года судили вместе с Зиновьевым и Каменевым, а показания на суде как свидетельница обвинения против Зиновьева, Каменева и против своего мужа давала именно она. Поскольку я присутствовал на этом суде как зритель, я видел, что сама Сафонова-Смирнова была свидетельницей из числа арестованных, которых приводили и уводили под стражей. Я считал ее давно погибшей, а она, оказывается, профессор в Грозном и одновременно выполняет свою старую роль провокаторши. Вместе с ней подписал «экспертизу» еще один тип, фамилию которого я не запомнил. Экспертиза содержала около 20—30 страниц и была посвящена разбору моих книг о Чечне.

В них, вероятно, были просто учебные ошибки, но не было ни одной политической или исторической ошибки с точки зрения марксистской схоластики. Поэтому «экспертам» приходилось приписывать мне то, чего нет в моих книгах.

В октябре 1941 года начался второй суд надо мной. (Мои поделщики уже были осуждены через «Особое совещание» за их старые «признания», а меня спасло от этого отсутствие такого «признания».) Время для меня было явно неблагоприятное. Немцы подошли к Москве, в горах Чечни бушевали два параллельных народных восстания, возглавляемых моими друзьями — Майербеком Шериповым в Шатое и Хасаном Исраиловым в Галанчоже... Судил новый председатель Верховного суда Чечено-Ингушетии дагестанец Мусаев* (старого сняли за то, что он нас оправдал), прокурором был ингуш Бузуртанов и адвокатом чеченец из Урус-Мартана, фамилию которого я забыл. Он был симпатичный малый — еще до начала суда подошел ко мне и сказал: по существу обвинения никто не может вас так хорошо защищать, как вы сами, поэтому я на себя беру только юридическую сторону вашего дела. Я ответил, что с таким разделением ролей вполне согласен.

Весь мой процесс свелся, по сути, к разбору упомянутой «экспертизы»...

Некоторые из обвинений, которые представила суду Сафонова-Смирнова, запомнились из-за их абсурдности. Например, она утверждала, что я в своей книге «Революция и контрреволюция в Чечне» намеренно выпячиваю ныне разоблаченных врагов народа — Шляпникова, Фигатнера, Гикало, Костерина, Шиболдаева и других.

На мой вопрос: откуда я мог узнать в 1930-м и 1933-м годах, что эти люди в 1937-м могут оказаться врагами народа,

* З. Г. Мусаев, прокурор района, затем председатель Верховного суда Чечено-Ингушетии. В 1942 г. понижен в должности (Прим. Д. Г. Юрасова).

тем более что они занимали в партии высокое положение? — мне отвечали, что в том-то и дело, что вы сами как враг народа не были заинтересованы распознать «лицо классовых врагов», как учит нас товарищ Сталин...

Выступил прокурор, который, рассказав о коварных планах Гитлера уничтожить Советскую власть и расчленив СССР и о его союзниках в горах Чечено-Ингушетии, поднявших восстание, потребовал от суда вынести мне суровый приговор. Защитник, напротив, заявил, что ни на предварительном, ни на данном судебном следствии не доказано, что я повинен во вредительстве. Поэтому из-за отсутствия состава преступления он просит суд меня оправдать. Мое последнее слово было коротким. Я категорически отрицал, что мои книги написаны с вредительской целью. «Эксперты» не могли привести из книг ни одного предложения, ни одной мысли, которые мог-

ли доказать их утверждения о моем «идеологическом вредительстве». Поскольку они, наперекор научной совести, решили оклеветать мои книги, то им ничего не остается, как прибегать к передержкам и фальсификациям.

В этой связи я вспомнил один исторический анекдот. Я сказал, что мои эксперты поступают с моими книгами так, как выражался один русский либеральный цензор: «Дайте мне «Отче наш» и позвольте мне вырвать оттуда одну фразу — и я докажу вам, что его автора следовало бы повесить».

Я просил суд, ввиду доказанности моей невинности, оправдать меня.

Через час или два председатель огласил приговор: «Считать обвинение А. Авторханова по ст. 58, п. 7 доказанным и приговорить его к трем годам лишения свободы, но так как он уже отсидел четыре года, то освободить его из-под стражи»...

(Продолжение следует в № 10.)



Зинаида ГИППИУС

«Н е у г а с и м о г о н ь д у ш и...»

О Зинаиде Николаевне Гиппиус-Мережковской (1869—1945) современники оставили множество свидетельств — в письмах, дневниках, воспоминаниях. Если собрать вместе то, что писали о ней в разное время и по разным поводам Блок, Брюсов, Андрей Белый, Бунин, Розанов, Зайцев, Ходасевич, Маковский, Цветаева, Адамович, Есенин, Пришвин, Горький и многие-многие другие, получился бы солидный том.

Гиппиус была загадкой для современников, и они пытались, каждый в меру своей психологической проницательности, разгадать этот головоломный ребус, найти ключ к пониманию ее личности. Самые лучшие воспоминания о Гиппиус написал бы, конечно, Мережковский, с которым, как заметила Гиппиус, они прожили «52 года не разлучаясь... ни разу, ни на один день». Но Мережковский трогательно влюбленный в жену до последних своих дней, умер раньше нее.

Из попыток соединить разнообразные свидетельства о Гиппиус в один целостный облик ничего не получается — он начинает двоиться, троиться и распадаться на отдельные облики, как будто речь идет о разных людях, не имеющих между собой ничего общего.

Поэт и критик В. А. Злобин, литературный секретарь Мережковских, живший с ними в эмиграции в качестве третьего члена их семьи и хорошо знавший Гиппиус не только как литератора, но и с закулисной стороны — в разных передрыгах эмигрантской жизни, в домашнем быту, признался уже после ее смерти: «...между той Зинаидой Николаевной, которую мы знаем, и той, какой она была на самом деле, — пропасть...»

«Декадентская мадонна», «белая дьяволица» (образ из романа Мережковского «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)»), «ведьма», вокруг нее роятся слухи, сплетни, легенды и она же их деятельно умножает Бравадой, с которой читает на литературных вечерах свои «кощунственные» стихи, знамени-

той лорнеткой, которой пользуется с вызывающей бесцеремонностью, ожерельем, сделанным из обручальных колец ее женатых поклонников. На открытие Религиозно-философских собраний в Петербурге, сыгравших огромную роль в культурном ренессансе начала века — идея этих собраний принадлежала Гиппиус, и в их организацию она вложила много энергии и надежд, — она явилась в глухом черном просвечивающем платье на розовой подкладке, и казалось, что она под ним голая. Почтенные церковные иерархи, пришедшие обращать интеллигентов в истинную веру, косились на нее и стыдливо отводили глаза.

Не только внешностью и поэтической славой Гиппиус притягивает к себе людей, но и культурной утонченностью, остротой и беспощадностью критического чутья, необыкновенной энергией и полемической страстностью. И отталкивает надменностью, презрительной насмешливостью, холодным экспериментированием над людьми. Она как будто вменяет себе в обязанность быть злой, придирчивой, высокомерной. Эти качества Гиппиус сознательно культивирует в себе: «...передо мной когда-то носился «идеал» злого человека, — недостижимый, как всякий идеал», — уже в эмиграции писала она Ходасевичу.

Ее острый интерес к новым людям быстро сменяется презрительным безразличием, которого она не скрывает. Держать людям, провоцировать их, конфузить, бросать в краску — ее любимые развлечения. Сама же она равнодушна к многочисленным оскорблениям в ее адрес, на которые, в частности, не скупятся критики и фелетонисты.

Примеров ее шуток и забав в мемуаристике сохранилось множество, и обид, нанесенных ею чужим самолюбиям, не счесть. В шутках Гиппиус часто присутствует игра, столь ценная ею за «бескорыстие» и «загадочность»:

...Когда придет пора
И все окончатся дороги,
Я об игре спрошу Петра,
Остановившись на пороге.

И если нет игры в раю,
Скажу, что рай не приемлю.
Возьму опять суму мою
И снова попрошусь на землю.

(«Игра»)

Однако есть в ее шутках что-то от лермонтовского Демона. Испытывая людей злом, он ждет, что они расстанутся со своим «неведеньем спокойным», но лишь убеждается в слабости добра в человеке — «и зло наскучило ему». Войдя в свою демоническую роль, Гиппиус со временем стала исполнять ее как давно наскучившую обязанность. И все-таки ей нравилось, когда ее называли «ведьмой»: это означало, что тот ее демонический образ, который она внедряла в сознание современников, ими усвоен. Ей наверняка доставило бы большое удовольствие, если бы она слышала, как Розанов однажды с опаской высказался о ней: «Это, я вам скажу, не женщина, а настоящий черт — и по уму и по всему прочему, Бог с ней, Бог с ней, оставим ее...»

Гиппиус выглядела в глазах людей именно так, как хотела выглядеть, она сознательно культивировала определенный взгляд на себя и определенное к себе отношение. При ее уме, незаурядной воле и властной натуре делать это было несложно. Очевидно, что она намеренно переключает внимание, отвлекает от себя, наводит на ложный след, скрывая свое истинное лицо. Она прятала свое лицо не только в метафорическом, но и в буквальном смысле — в мемуаристике можно встретить упоминания о том, как странно Гиппиус пользовалась косметикой, накладывая на свое тонкое нежное прозрачное лицо толстый слой пудры кирпичного цвета, — вопреки моде и даже приличиям. На ее странные наряды в недоумении оглядывались прохожие в Петербурге и Париже.

В письмах Гиппиус Ходасевичу мелькает слово «иммунитет». А в одном из ее ранних дневников есть такая запись: «Я думаю, я недолго буду жить, потому что, несмотря на все мое напряжение воли, жизнь все-таки непереносно меня оскорбляет. Говорю без определенных фактов, их, собственно, нет. Боль оскорбления чем глубже, тем отвратительнее, она похожа на тошноту, которая должна быть в аду. Моя душа без покровов, пыль садится на нее, сор, царапает ее все малое, невидимое, а я, желая снять соринку, расширяю рану и умираю, ибо не умею (еще) не страдать».

«Душа без покровов», кровоточащая от соприкосновения с жизнью — с жизнью как таковой, «без фактов», — недолго выживет, если не выработает «иммунитет», невосприимчивость к посягательствам извне, не обзаведется «броней». Дневники Гиппиус показывают, как трудно она училась этому, создавая систему психологической защиты своей столь ранимой души. Ее иммунитет был создан ею из подручного ма-

териала, из собственной природы. Человек не выбирает себе природу, а отвечает за нее всю жизнь. Кажется, Гиппиус грех было бы жаловаться на свою природу — красавица, умница, поэт. Но в ней не было теплоты, мягкости, нежности, был лермонтовский «холод тайный, когда огонь кипит в крови». Этот холод был ее страданием.

С годами она научилась властвовать собой в совершенстве, выработала в себе великолепные бойцовские качества и невозмутимое спокойствие, которое демонстрировала в трудных случаях жизни. Отлично зная дурные свойства своего характера (а были и замечательные), умело их сглаживала. И люди, которые впервые видели ее в ее зрелые годы, имели дело с Гиппиус, которая, по точному выражению Ахматовой, «уже была сделана». Выдавали ее только стихи. Интересно отмечать в мемуаристике, насколько меньше придавали значения ее «скорпионским укусам» люди, знавшие, внимательно читавшие ее стихи, чем те, кто не давал себе труда это делать.

Ясно, что от ее характера труднее всего приходилось Мережковскому. Но Мережковский тоже бывал невыносим, хотя и в другом роде. И они прекрасно понимали и взаимно уравнивали друг друга, представляя собой на редкость гармоничную пару.

Когда Мережковские появлялись где-нибудь вместе, а они обычно появлялись вместе, это был великолепный, годами сработанный дуэт, в котором каждый прекрасно знал и вел свою роль — Мережковский работал под «юродивого», Гиппиус под «ведьму», извлекая из этого немыслимого сочетания разнообразие смысловые и зрелищные эффекты. От своей игры они получали, видимо, не меньшее удовольствие, чем зрители, запоминая характерные сценки между ними, реплики, которые подавала Гиппиус и отражал Мережковский. У Гиппиус бывали свои романы и увлечения, у Мережковского свои, но то, что их соединяло, было сделанс из такого прочного материала, что разрушить его могла только смерть одного из них, что и случилось в 1941 году, когда умер Мережковский.

Уже современников занимал вопрос о том, каким образом у Мережковских, которые выступали единым фронтом, пропагандируя в критике, в публицистике общие идеи, распределены творческие роли, кто из них ведущий, а кто ведомый. Гиппиус всегда отодвигала себя на второй план, в тень Мережковского, и не раз говорила о его идейном учительстве по отношению к ней. В этом смысле характерно первоначальное название ее книги о Мережковском «Он и мы», измененное издателями, уже после ее смерти, на «Дмитрий Мережковский». Брюсов в статье о Гиппиус писал, что она «...всецело приняла религиозные идеи Мережковского, деятельно участвуя в их разработке». Еще более определенно вы-

сказался М. В. Вишняк, редактор парижского журнала «Современные записки», в котором в эмиграции сотрудничала Гиппиус: «В вопросах общего или «миросозерцательного» порядка Гиппиус светила отраженным светом, падавшим от Мережковского».

Однако люди, в разное время близкие к Мережковским (ни Брюсов, ни Вишняк близкими людьми не были), такие, как Андрей Белый, живший у них в свои приезды из Москвы, или ближайший друг Мережковских, публицист и литературный критик Д. В. Filosofov, их секретарь В. А. Злобин, религиозный деятель А. В. Карташев, бывший своим человеком у Мережковских и в Петербурге, и в Париже, оставили несколько другие свидетельства.

Вот что пишет по этому поводу Злобин: «Она очень женственна, он — мужествен, но в плане творческом, метафизическом, роли перевернуты. Оплодотворяет она, вынашивает, рождает он. Она — семя, он — почва, из всех черноземов плодороднейшей. В этом и только в этом смысле он — явление исключительное, небывалое, единственное. Его производительная способность феноменальна. Гиппиус угадывает его настоящую природу, скрытое в нем женское начало. Его восприимчивость, его способность ассимилировать идеи граничит с чудом. Он «слушает порами», как она говорит, и по сравнению с ним она — груба. Но у нее — идеи, вернее, некая, еще смутная, не нашедшая себе выражения реальность, как бы ни на что не похожая, даже на рай, — новая планета... Конечно, сказать, что каждая его строка внушена ею, — нельзя. Она дает главное — идею, а там уж его дело, он свободен оформить, развить ее по-своему. Роль его не менее значительна, не менее ответственна, чем ее. Только это — не та, какую ему обычно приписывают».

Действительно, в книгах Мережковского встречаются мысли, уже прежде сформулированные Гиппиус в какой-нибудь стихотворной строчке или вскользь брошенные в какой-нибудь статье. Следов обратного влияния в творчестве Гиппиус почти нет, кроме совместно манифестируемых общих идей. Но у Мережковского эти мысли настолько свои, они настолько органичны в художественной ткани его книг, что читателю нет дела до того, сам ли он породил эти мысли или заимствовал у жены. Что же касается идейных приоритетов, то между мужем и женой третьему человеку разобраться трудно. Есть много такого, что составляет тайну только двоих. Муж и жена — плоть одна. Можно только сказать, что не всем писателям так везет с женами, как повезло Мережковскому.

Истинное лицо Гиппиус лучше искать в ее собственном творчестве — прежде всего в ее стихах, а также в критике и публицистике, в ее обширном прозаическом наследии, в мемуаристике, в днев-

никах и письмах. Если собрать все написанное ею, составилось бы не меньше 40 томов и обнаружилось бы интереснейшие вещи.

З. А. Шаховская очень близка к истине, утверждая, что «Гиппиус была сильной и оригинальной личностью, сыгравшей роль катализатора в русском религиозном и философском обществе конца и начала века». В разных событиях серебряного века, если поискать, можно обнаружить следы прямого или косвенного участия Гиппиус. Ее письма показывают, как много она давала людям, с которыми общалась, как щедро делилась с ними идеями и мыслями. По свидетельству Андрея Белого, квартира Мережковских была центром литературно-художественной и религиозно-философской жизни Петербурга начала века: «Здесь воистину творили культуру... все здесь когда-то учились». Характерно высказывание о поэзии Гиппиус Бальмонта, который вообще не был склонен ценить поэзию современников: «Она дает основные формулы настроений, которые разрабатываем все мы».

У нас мало известно об участии Гиппиус в литературных судьбах современников. Первые стихи Блока были напечатаны при активном участии Гиппиус в журнале «Новый путь», который она редактировала. В том же журнале были опубликованы первые статьи Флоренского. Первая рецензия на стихи Есенина принадлежит Гиппиус. Из символистов не Блок, не Брюсов, не Андрей Белый, а именно Гиппиус приняла активное участие в литературной судьбе начинающего Мандельштама. Список можно продолжить.

Зинаида Николаевна Гиппиус была одной из ведущих фигур культурного ренессанса начала века, она крупнее и серьезнее тех демонических игр, в которые играла, или тех стихов, контрабандой напечатанных в Петрограде 1918 года, в которых она ругательски ругала большевиков, — как теперь выяснилось, за дело. Это лишь эпизод из ее почти 60-летней работы в русской литературе. Но эпизод, в котором Гиппиус осталась верна себе, — она не умела ни молчать, ни приспособляться и во всем шла до конца.

В начале века дерзкий и пронизательный критик Антон Крайний пользовался известностью и авторитетом. Это был для всех прозрачный псевдоним Гиппиус-критика, писавшей и под другими мужскими псевдонимами, быстро меняющимися в целях литературной тактики. Свое обращение к мужским псевдонимам Гиппиус объясняла стремлением избежать распространенной небрежной снисходительности к «женской» мысли и литературе: «Мне всегда казалось практичнее самые дорогие мне мысли высказывать под меняющимся псевдонимом, под чужим именем (в крайнем случае осторожно «внушать» постороннему лицу). Только в этих случаях можно на-

дяться услышать беспримесную оценку. Ведь полусознательно мы прокидываем почти все, подписанное женским именем. Только о том моем я и знаю что-нибудь, что с именем моим не связано».

В свойственной ей легкой, стремительно атакующей манере, иронически-серьезным тоном, оттачивая мысль до формулы, до афоризма, Гиппиус писала обо всех более или менее заметных явлениях текущей литературы Мастер метких литературных характеристик, многие из которых сохраняют ценность и сегодня, Гиппиус участвовала во многих острых литературных полемиках, нередко ею же инспирированных, и блестяще выполняла «санитарную» функцию литературной критики — очищения литературы, невзирая на лица, авторитеты, прошлые литературные заслуги от бездарности, пошлости, обывательщины, от партийности как уплотненного социально-классового или социально-группового подхода к жизни, который выхолащивает художественность и губителен для таланта.

В статьях Гиппиус прямо и откровенно обнаруживает свои литературные симпатии и антипатии, свою позицию. Слово «позиция» — одно из ключевых в словаре Гиппиус-критика. Она требовала от писателя, от поэта собственной позиции — сознательного человеческого самоопределения, утверждающего желаемое и должное в жизни: «Человек без позиции свободен, как язык колокольный без колокола». В «беспозиционности» писателей-современников Гиппиус видела отражение в литературе страшной силы косности и безволия, лени души, любящей себя такой, какая она есть. Искусство, литература для Гиппиус не самоцельны, но являются действенным средством расширения, высветления, преобразования жизни. Отсюда ее неприятие эстетства, хотя художественность она чувствовала великолепно и мимо нее (и мимо художественных промахов) не проходила, ее статьи против декадентства (под «декадентством» в кругу Мережковских понималась неизжитая, непреодоленная «самость»). Гиппиус у нас называли и продолжают называть «декаденткой», но это скорее вопрос времени — ведь еще недавно в декадентах ходили и Достоевский, и Блок, и Есенин...

Деятельность Гиппиус-критика, Гиппиус-публициста тесно связана с историко-философской концепцией «неохристианства», которую она разделяла с Мережковским, с утверждением «нового религиозного сознания», которое она неустанно пропагандировала в своих статьях. Для нее полнота истины, заключенная в христианстве, лишь частично воплотилась в существующей церкви, в «историческом христианстве», которое, углубившись в односторонний аскетизм, религиозно санкционировало разрыв между двумя плоскостями человеческого

бытия — духовной, небесной и мирской, земной — при жажде их единства в человеке. Освещающая мир духовных устремлений, историческое христианство религиозно упразднило, отсекая его, вопрос о «плоти» мира — культуре, общественности, политической, половой, семейной сферах, лишив их святости и вынуждая людей, не могущих заглушить в себе их жизненной остроты, жить с сознанием собственной греховности или уходить в атеизм.

Полным, действительным воплощением христианской истины является для Гиппиус религия равновесности духа и плоти мира, их взаимопроникновения в органическом единстве, их последний синтез, означающий конец исторической эволюции человечества, построение Царства Божия на земле.

Главное направление человеческих устремлений — высвобождение жизни, которая есть «творчество, личность, движение вперед», из не-жизни, из неподвижности, из тех отживших исторических форм человеческих отношений — бытовых, семейных, половых, которые обрекают на совместное небытие, на совместную смерть в жизни. Задачу «нового религиозного сознания» Гиппиус видела в соединении мыслительных усилий для выявления таких омертвелостей, для высвобождения доли истины из отжившей исторической формы, для того, чтобы «вскрыть религиозный смысл во всех — от великих до мельчайших — проявлениях жизни; утвердить и выявить сознание связи между высшими жизненными стремлениями человека и божественной силой. Такое сознание и было бы подлинной религией...»

Все неподвижное в жизни, все оставившееся, отвердевшее — все это для Гиппиус проявления небытия, провалы, черные дыры в ткани жизни, из которых пустыми глазами смотрит смерть. Персонификацией небытия является — в стихах, рассказах Гиппиус является буквально — традиционный персонаж христианской демонологии — черт.

Небытие, вечная страшная сила человеческой косности, неприметно. Но оно вездесуще. Гиппиус видела его — так было устроено ее зрение — и стремилась сделать видимым для других в разных проявлениях жизни, в последних мелочах, потому что в этом мелочей для нее не было. «Если выбирать, — пишет, например, она, — между двумя опасностями — опасностью слов лишних, неосторожных, и опасностью молчания — вторая страшнее. Небытие страшнее бытия».

Зинаида Николаевна была человеком беспощадной зоркости, и, может быть, это что-то объясняет в ее отношениях с людьми. Среди ее многочисленных статей интересно читать и те, в которых она снисходительно иронизирует, категорически отмечает, безжалостно высмеивает, но, может быть, еще интереснее

читать те, в которых Гиппиус, открываясь для критики, утверждает, проповедует, стремится обратиться в свою веру, увлечь за собой, — если помнить, что эти идеи и мысли прошли через фильтр ее неженской горькой трезвости и скептицизма.

Статья Гиппиус «Судьба Аполлона Григорьева» обнажает суть ее расхождений с Блоком. Гиппиус требует от Блока ответственности, требует сделать свой жизненный выбор, чтобы Блок не оказался в роли безвольной, пассивной жертвы истории в нарастающих событиях, — в Гиппиус, судя по ее стихам, еще с кануна 1914 года жила «непонятная тревога», предчувствие надвигающейся катастрофы. Вправе ли была Гиппиус требовать этого от Блока, проявила она близорукость или, наоборот, дальновзоркость и кто из них оказался прав в этом споре? Это вопросы из разряда вечных. Нужно только помнить, что это не спор поэта с критиком, от нравочений которого поэт может и отмахнуться. Это спор двух поэтов, знавших цену друг другу. Блок говорил о «единственности Зинаиды Гиппиус». Однажды, уже в эмиграции, когда у Гиппиус зашел с Георгием Адамовичем разговор о Блоке, она сказала: «Какой я поэт в сравнении с ним». Статья Гиппиус была написана в 1916 году. Через год Блок сделал свой выбор и заплатил за него жизнью. Свой выбор сделала и Гиппиус и заплатила за него изгнанием. Каждый исполнял свою судьбу.

С Бердяевым, как и с Блоком, Гиппиус связывали многолетние и сложные

отношения. Статья «Оправдание свободы» написана в эмиграции по поводу книги Бердяева «Философия неравенства», вышедшей в Берлине в 1923 году. В этой книге, написанной еще до высылки, в России, под сильнейшим эмоциональным впечатлением от того страшного облика, который приняла революция, Бердяев занял консервативно-аристократическую позицию, развивая не характерную для него в целом «философию неравенства». Вступая с ним в резкую полемику, Гиппиус отстаивает идеи демократии и свободы, идею равенства людей, выявляя религиозную глубину этих понятий; излагает свой взгляд на роль и место русской интеллигенции в революционных событиях, видя их в существенно ином религиозном свете, чем Бердяев.

Впоследствии, в частности и под влиянием критики Гиппиус, он отказался от этой книги, о чем вспоминает в «Самопознании», своем «опыте философской автобиографии», написанном незадолго до смерти: «В самом начале 18 года я написал книгу «Философия неравенства», которую не люблю, считаю во многом несправедливой и которая не выражает по-настоящему моей мысли. Одни укоряли меня за эту книгу, другие укоряли за то, что я отказался от нее. Но должен сказать, что в этой совершенно эмоциональной книге, отражающей бурную реакцию против тех дней, я остался верен моей любви к свободе».

Н. И. ОСЬМАКОВА

«Судьба Аполлона Григорьева» * (По поводу статьи А. А. Блока, приложенной к «Стихотворениям Аполлона Григорьева»)

О статье Блока «Судьба Аполлона Григорьева» было несколько отзывов, в той же мере неинтересных, в какой интересна сама статья.

Говорили, что у Блока нет А. Григорьева, что образ взят неверно. Говорили, что Блок не считался с такими-то источниками, вот это или то упустил. Наконец, упрекали за полемический тон статьи. Упрекали, впрочем, вяло. Обычное невнимание, равнодушно-снисходительное отношение к «прозе поэта», — с ней не считаются...

Между тем и статья, и полемический тон автора, и даже вот это общее добродушное невнимание в высшей степени любопытны и показательны для современности.

Насколько верен у Блока портрет А. Григорьева и верна историческая «судьба» его — я не берусь судить. «Истории» вообще мало в статье, центр

ее и смысл, во всяком случае, не исторический, т. е. никакой объективности в ней нет. А. Григорьев под пером Блока вырастает в символический образ; судьба его — судьба русского человека, душа которого «связана с глубинами», с «прозябаньем дольней лозы», более сложная, чем души властителей жизни, стоящих только на «славных постах», под знаком «правости и левости». Судьба такого сложного человека — гибель, ибо властители жизни не прощают «касания к мирам иным».

Даже о Грибоедове и Пушкине Блок говорит: «...они погибли. Их наследие было опечатано...» — «шумным поколением сороковых годов во главе с Белинским, «белым генералом» русской интеллигенции». «Белинский, служака исправный, торопливо клеймил своим штемпелем все, что являлось на свет Божий. Весьма торопливо был припечатан и Аполлон Григорьев...»

Несколько раз оговаривается Блок:

* Статья публикуется по альманаху «Орн», Пгр., 1916.

«Теперь, когда твердыни костности и партийности начинают шататься»... теперь, когда «русское возрождение успело расшатать некоторые догматы интеллигентской религии...» Но эти оговорки неубедительны. Не в исторической проекции видит Блок Григорьева: чувствует его как будто здесь, сегодня, в животрепещущей современности. Как будто еще сегодня «глумятся» над Григорьевым «властные», судя его с точки зрения «левости — правости», и травят за то, что он «не вмещается в интеллигентский лубок». Опять «страдает» страдалец, и опять «не от правительства»; терпит — но не за «идеи» (в кавычках); умирает, но не «оттого, что был честен» (в кавычках). До сих пор! — говорит нам Блок и подчеркивает следующими словами: Григорьев «обладал даром художественного творчества и понимания; и решительно никогда не склонялся к тому, что «сапоги выше Шекспира», как это принято делать в русской критике от Белинского и Чернышевского до Михайловского и Мережковского».

Если так, если даже о сю пору бьет грубый Белинский нежного Григорьева сапогами по голове за неотказ от Шекспира, если и тогда бил именно за Шекспира, из ненависти к Шекспиру и ради верности «сапогам», если это так — прав Блок в живом своем негодовании; прав, утверждая, что «судьба Григорьева — соблазнительна»...

Разберемся, однако, в этой «судьбе», не поддаваясь никаким «соблазнам»; исследуем «фатальную гибель» сложного и глубокого человека — тогдашнего (т. е. именно А. Григорьева) — от людей несложных и неглубоких (т. е. «либералов»). Блок уверяет, что это гибель именно фатальная, что все «тогдашнее» — как бы и «теперешнее»; что и сегодня мы видим А. Григорьевых, от «либералов» погибающих. Не увлекается ли Блок? Ясно ли видит, глядя на прошлое? Ясно ли видит, глядя на современность?

Подлинный, исторический Ап. Григорьев был смутен, слаб, недоделан ни в чем — ни в таланте, ни в характере. Он весь состоял из «недохваток»: сложен, проникновенен, религиозен, с душевной чистотой, многоспособен, и... решительно во всем «недохватка». Судьба к нему была несправедлива. Но... по тому закону, который выше справедливости (между прочим, это и закон истории), — «у имеющего недостаточно отнимется и то, что имеет». На встречном пороге исторической реки он завертелся щепкой; завертелся и пропал — насколько пропал.

Отношения либералов к Ап. Григорьеву во всей полноте — я не знаю. На Блока в данном случае опираться опасно. Думаю, до объективно-точных фактов все равно не доберешься. Достаточно и того, что мы знаем: «травля» (как называет Блок отношение «либералов» к А. Григорьеву) — была. Эти «узкие» люди предъявляли к «широкому»

А. Григорьеву требования, на которые он не мог или не желал ответить; какие требования? Из статьи Блока ясно: требовали, по праву сильных (ведь они были «властители дум»), чтобы Григорьев отрекся от ненавистной широты ради их «узости». Не смел думать о «Шекспире», если есть «сапоги». Словом, обязывали его принять свой «либеральный лубок».

Вот первая, главная ошибка Блока, его историческая — да и не только историческая — слепота. Если не факты — смысл фактов от него ускользает безнадежно.

«Либералы» требовали от А. Григорьева гораздо большего и гораздо более глубокого, нежели всевозможные либерализмы: требовали **человечества**. И не подчинения, а **равенства**.

Дело вот в чем: быть «человеком» — значит уметь сделать **выбор**, быть на него способным, то есть способным и на жертву, так как без жертвы нет выбора. И в этом выборе, в этой жертве, **надо уметь за себя отвечать**.

Каждая историческая эпоха требует своего выбора, у каждой есть свое «направо», свое «налево», как бы эти правости и левости ни усложнялись и ни видоизменялись. Но закон выбора и античной жертвенности для «человека» постоянен и неумолим; уклоняющийся (все равно почему) выпадает, как человек, из истории и, если он не гениален, не остается особняком на своей вершине, которую далеко отовсюду видно, — сам делается жертвой. Вертится, как щепка, и, глядь, пропал в водовороте. Судьба Григорьева и многих, многих Григорьевых — вот эта «пассивная жертвенность». Его «не хватило» на выбор, на жертвы активные.

Только глядя назад, в историю, мы можем с известной отчетливостью определять, в чем именно был очередной человеческий выбор того или другого времени. Современники, делающие выбор, делают его часто бессознательно; интуитивно-волевой, — он все же остается именно выбором.

Белинский, Чернышевский, Писарев, все эти «либералы» так называемые, свой человеческий выбор сделали. Тут же прибавлю (еще не судя выбора как выбора), что его сделали, в равной степени, и Погодин, и Катков, и Леонтьев... только не сделали Аполлоны Григорьевы. В конце концов даже Фет, в меру своего «человечества», сделал весьма определенный выбор. И никакой «травли» на него не было, не вышло. Вообще между людьми разного выбора, но равно-людьми возможна только борьба, а «травля» даже не мыслится. И есть победители, есть побежденные, — но «затравленных» нет. Человека, если он не потерял человечества, ни «травить», ни «затравить» нельзя.

Время Белинского («либералов») и Ап. Григорьева было, по-своему, очень сложное время: и глухое — и острое; и

бурно-молодое — и беспомощное. Уже напитаны были щедро чувства и мистики, и поэзией. Уже сиял Пушкин, в котором, как в солнечном свете, живем и мы, — до сих пор. Но... ум и сердце человеческие (не чувства — сердце) едва начали просыпаться к жизни. Возвращаться к жизни, приходиться в себя после недавнего оглушения. Кровавый образ 25-го года еще был у всех в памяти.

Но, конечно, совсем по-иному, в иных формах и в иных слоях общества начало возрождаться вечно-человеческое. Вернулась (неужели не могла не вернуться?) **идея свободы**. Самая незащищенная — она требовала самых ярых защитников; самая гонимая — требовала от защитников напряженной силы и великих жертв. Ей, этой идее, по времени должно было расти; за нее и повелась, в сущности, главная борьба. На ней, около нее сосредоточился историко-человеческий **выбор**.

Можно ли назвать «узкой», при каких бы то ни было обстоятельствах, идею свободы? Она по существу широка и сложна; очень сложно отражалась она и в те годы, о которых мы говорим. Широка по существу... но ее защитники, ее воплощатели исторические, — свободники («либералы») очень могли казаться «узкими»; да и были они узкими, поскольку одну идею выдвигали на первый план, поскольку ей они приносили в жертву (исторически необходимую) — все другие.

Вот эта волевая, активная жертвенность (окрашенная в цвет своего времени) и была у «либералов». Она-то и делала их «узкими», по сравнению с Ап. Григорьевым, — но узкими на неисторичный, неподвижный взгляд хотя бы того же Блока.

Легка ли была жертва (пусть вполне бессознательная, интуитивно-волевая) тогдашним «либералам»? Возьмем самых значительных, подлинных «властителей дум». Но ведь о них-то и говорит Блок, они-то и «травили» Григорьева, гнали, пользуясь властью, которая у них была; у Григорьева, по признанию Блока, «власти не было». Не оттого ли и не было, что власть покупается волевой жертвенностью?

Белинский благоговел перед Пушкиным. Искусство, поэзия потрясали неистового Виссариона до боли, пронизывали его страстную душу насквозь. Он и тут не мог чувствовать вполнину, с «недохваткой». Чтобы взглянуть Белинскому в лицо, надо не журнальные статьи его читать (историчные, узко-сдавленные с двух сторон: правительственной цензурой и волевым самоограничением, выбором). Нет, надо прочесть — и в душу по-человечески принять — три тома его писем. Раннюю его переписку с Михаилом Бакуниним в особенности. Вникнуть в их огненные и кровавые споры. Не с кондачка отрывал Белинский свой дух «от высот и счастья созерцанья», от того, что на их языке тогда звалось «пре-

краснодушием»; от соблазнов, не шуточных в то время, — русифицированного гегелианства. Не с легкой беспечностью он, перевертывая понятия, «приял» жизнь, «действительность», говорил он еще по-гегелиански, но звучало у него это слово по-своему, по-новому; и не диво, что тогдашний Мишель Бакунин просто перестал понимать своего друга. В Белинском как-никак был евангельский купец, продавший и заложивший все свое имение для покупки **одной** жемчужины. Вряд ли купец без жалости расставался с имением. Плакал, может быть, а все-таки заложил, отдал, сам захотел, — **выбрал**. По своему человеческому разумению, по своей человеческой любви.

Да, Белинский попутно стоял и на стороне знаменитых писаревских «сапог» против «Шекспира». Только попутно, между прочим; но не мог не стоять, — этого последовательно требовал главный выбор. Вольная жертва отзывается на всех звенях жизни. Или предположить, что Белинский, этот «грубый и узкий тушинец» («тушинцами» называл Ап. Григорьев «либералов») «выше сапогов» действительно ничего не видел, ничего не понимал, не любил? Думаю, на такую близорукость уже не способен и враг Белинского — враг, а не случайный невнимательный мимоходец с малыми знаниями.

Или Писарев, автор этих самых «сапогов», мальчишески резкий, «залетающий», — весь в сапогах умещался, во все минуты своей краткой жизни? Или Добролюбов? Или Чернышевский? Нет, нет, никто. У Чернышевского было свое, другое, чем у Белинского, «касание к мирам иным», и своя жертва: наука. «Я ученый, ученый», — твердит он на сто ладов в потрясающих «Письмах из Сибири» к жене. Эти два тома многолетних обращений к «дорогой Ляличке» тоже следует прочесть, если мы хотим посмотреть каждому «тушинцу» в глаза. Не от Виллюйского же гроба «тушинец» мгновенно превратился в подвижника. А «Письма из Сибири» воистину мог написать только человек безмерной силы, только подвижник.

Милый друг, я умираю,
Потому что был я честен...

Вот слова, до такой степени простые и точные в устах «либералов», что, едва мы от простоты толкования отступим, — мы их исказим, исфальшивим, и сами запутаемся.

Всякое время, решительно всякое, своих —

Жертв искупительных просит.

«Честность» — и есть честный **выбор**, то есть ответственный, то есть со всеми — из него вытекающими — жертвами. Вплоть до жертвы жизнью, если надо.

Умираю, потому что был я честен...

Спешу повторить: дело в факте выбора, а не в том сейчас, каков выбор, «правый» или «левый». Да, есть для каждого времени свой верный выбор и свой ложный. Но, выбрав и ложный, и за него умирая (если б пришлось), с одинаковым правом скажется:

Умираю, потому что был я честен...

Блок не ошибся насчет А. Григорьева: он, действительно, «умер не потому, что был честен». Даже умер как раз потому, что был не «честен». Он погиб, как растерянная, приبلудная собака, попавшая между двумя армиями во время сражения. Которая из этих армий повинна в его гибели? Обе (мы знаем, что и противники «либералов» совершенно так же «травлили» его), обе, а вернее — ни одна. В гибели Ап. Григорьева повинен он сам, его судьба. Не мог стать человеком. У него было лишь «заглядывание в человеческое» (по Блску)... впрочем, и «на небо взглянуть не хватало догадки».

Минули годы; прошло более полувека. Что изменилось? Ничего, уверяет нас Блок. И до такой степени верит в это «ничего», что с горечью и трепетной болью встает за Григорьева как за живого, сегодняшнего, еще не погибшего — погибающего. Защищать его (и, кстати, благополучно здравствующего В. Розанова) от тех же, до наших времен на тех же местах будто бы досидевших «либералов-тушинцев», — от Белинского, Писарева, Добролюбова и К°, от их грубой власти. Будто вчера только, на не беленой по случаю войны бумаге, вышел номер «тушинского» журнала, где отпечатан лозунг: «сапоги выше Шекспира», а на следующей странице —

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.

И тянутся длинные руки «властителей дум», чтобы запрятать поэта в «либеральный лубок». У него, мол, «касание мирам иным». Виновен, и не заслуживает снисхождения.

Такая вера, до самозабывчивости, в неподвижность, такая слепота, до детскости, к истории, к смыслу ее постоянной «смены — перемен» — даже изумляет, как что-то исключительное. Я невольно останавливаюсь на тех местах в статье Блока, где он до очевидности «смешивает все времена»; останавливаюсь и думаю: это не так просто. Этому должно быть какое-то психологическое объяснение.

Но если перемена есть, что же изменилось? Неужели, в противовес убеждению Блока, скажем, что все изменилось? Неужели умер Григорьев, умерли «Белинские — Писаревы» — и так и миновали, без возврата? И места их пусты, и трагедии их кончились, — все кончилось?

Конечно, нет. Мир тот же. Человече-

ство то же. И те же у него — коренные — трагедии.

Одна из них — вечная трагедия выбора, сопряженного с жертвенностью. Тут изменяется только внешность — только формы, одежды. Мы уже говорили выше, как трудно осознать и точно определить современнику главную линию его выбора. Опять выбор пути происходит — как действие интуитивно-волевое. Всестороннее освещение его принадлежит будущему историку.

И я ограничусь только теми, слишком явными, переменами, которые мне кажутся знаменательными и которых упорно не видит Блок.

Он борется сейчас, сегодня, за права глубокой души, за «касание мирам иным», против гнета «либеральных властителей дум». Переносит прошлое в настоящее, не замечая, что в настоящем для этого просто нет места, нет поля для этой борьбы.

Прежде всего — нет «властителей дум». Или вовсе нет, или, во всяком случае, они не среди внуков Белинского, Чернышевского и т. д. Никому в голову не придет назвать нынешних «либералов», вернее, тех, кто сидит на соответствующих местах, «властителями дум». Они и сами себя так не называют. Да и прежняя форма, сплоченная, «интеллигентская кучка», — изменилась не количественно только, а качественно, по существу: в процессе разрастания «кучки» исчезла ее сплоченность, однородность, острота. Всяческие переливы и оттенки сделали возможными внутренние столкновения. Мы часто видим, например, серьезные (более резкие, чем у Блока) нападки именно на «либералов». Но мы понимаем, мы знаем, как звучит сегодня это слово и с какой точки зрения нападки правильны. Не с архангелской точки зрения Блока, очевидно...

Что касается внешней, общей борьбы, — и она изменила облик, по существу оставшись той же. Силою вещей, ходом истории превратилась из *окольной* — в открытую, из борьбы «кучки» — в борьбу «общества», — в действительно «общественную»...

Но возьмем здесь, для простоты, общество, в его разнородных оттенках, под один знак: «передового устремления». Как относятся все эти современные «свободники» — к современным Ап. Григорьевым? Посмотрим, нет ли хоть следа где-нибудь, хоть намек на прежнее отношение?

Нет. Мы увидим что-то совершенно новое. Лучшее? Худшее? Вопрос. Новое — во всяком случае.

Понять не трудно, откуда и как родилось это новое, если проследить ход «либерализма» по прямой линии.

Вслед за широкой волной покатались более мелкие. Наступил, недолгий, правда, период годов воистину «глухих». Что Белинские и Чернышевские требовали от Ап. Григорьева? Ведь не отказа же от «касаний мирам иным»; не за слож-

ность и широту души, не за проникновенную любовь к поэзии, не за «необщее выражение» — гнали его. Отнюдь! Требовали: будь человеком! т. е. сделай выбор. Если (только «если!») он по времени укажет тебе именно эту жертву — будь готов принести и ее. Ему говорили: «Поэтом можешь ты не быть» (а можешь и быть), «но человеком быть обязан» (все мы обязаны).

Погиб Григорьев, не пошедший ни на какие жертвы. Умерли, исполнив честно свое историческое дело, Белинские — Чернышевские. И вот после них «в года глухие», в измелчавших волнах «либерализма» незаметно повелось, что «поэзия» и «касаясь мирам иным» стали сами по себе подозрительны. Подоплека была все та же, — «будь человеком!», но она затерлась. Сыновья Белинских, изживая наследие, за временем не следили; только блюли, охраняли внешние рамки мертвеющих законов. «Поэтом можешь ты не быть» — постепенно стало превращаться в дикое: «Поэтом ты не можешь быть»...

Такие уклони вызвали быстрый перелом. Он совершился в девятых годах прошлого столетия. Новые люди, с душами сложными и тонкими, поэты, художники, — праведно взбунтовались против выветрившихся «традиций». Освобождение искусства, художественной литературы быто полным. Эстетический принцип торжествовал. Литература выросла широко, расцвела небывало пышным цветом. И даже без особенно труда сломала она старые «законы»: когда смысл их, содержание, забывается или затирается, они, эти законы, хрупки. Возродился Тютчев, Боратынский — не говоря о Пушкине. Радостно протянули мы руки тонкой молодой литературе Запада. Тютчев даже не возродился, а точно вот с нами, тут же, родился.

В конце концов и «традиционисты» сдались. Дольше упорствовали престарелые сыновья Белинских — Чернышевских. Но их немного осталось. А внуки сдались, признали права искусства на неограниченную свободу. Да, кстати... (размах эстетического освободительного движения был широк...) кстати, получили права на такую же свободу и сами служители искусства, все его творцы и поборники, все, кто так или иначе завялял о своем «касаясь мирам иным».

Вот это снятие всех уз не с «поэзии» только, но и с «поэтов» я считаю фактом чрезвычайно важным. Он совершенно изменил положение дел.

Когда Блок сегодня, с живой злобой, накидывается на каких-то «либералов», будто бы «душающих поэзию», либеральные внуки вправе пожать плечами: что вы? Кого мы душим? Да мы сами первые любители вашей прекрасной поэзии. Все двери для вас открыты. Оглянитесь.

Действительно: где, когда «обязывали» хоть бы того же Блока «быть гражданином»? Слышанное ли это дело? Ста-

рички — «сыновья», ютятся в литературных уголках, еще выбирают потихоньку из литературных оскребок стихотворенщице «с темой», но ведь они без претензий, и к Блоку даже не сунутся. Недавно промахнулась было молодая «Летопись», напечатав безграмотные стихи с примечанием «зато поэт-рабочий»... Но это случайно, теперь и в «Летописи» самые стихотворные стихи, тот же Блок, между прочим.

А недавние «Заветы», которыми руководили внуки «либералов»? В них был цвет современной поэзии, все «имена». Единственный паспорт спрашивался — «касаясь мирам иным».

Поэтом должен быть поэт:
Других обязанностей нет...

И нет. Никаких. Ничего не требуется, кроме «бряцанья». Пиши хорошо — и будь, чем хочешь, делай, что знаешь.

Твоя воляная волюшка. Но зато...

Зато если вздумает «свободный баян» заговорить «презренной прозой» о чем-нибудь «человеческом», — ни одна живая душа не обернется, не услышит. А услышат случайно — отнесутся, что бы ни сказал капризник, — с милым снисхождением, всеизвиняющей улыбкой, как относятся к ребенку, к хорошенькой женщине.

Вот современное положение поэтов в обществе. Как отлично оно от положения А. Григорьева! И не злонравие одной какой-либо стороны это создало. Искусство, вместе с его служителями, почетно было выселено за ограду, в прекрасную дальнюю виллу, и сами поэты выселению содействовали. Многие до сих пор отлично там себя чувствуют. А когда ездят в гости, к людям, — везде им привет и улыбка. О старых писаревских «сапогах» и помину нет. Наоборот, настоятельно просят: не касайтесь вы «сапогов», довольствуйтесь «касанием мирам иным».

О чем же хлопочет Блок? Во имя чего, за кого, против кого восстал он с такой горячностью? Поэзия, искусство — свободны. Поэтов не только не заставляют выбирать между «левостью» и «правостью», от них не требуют **никакого человеческого выбора**. Не пристают с наивностью старых «либералов»: будь человеком! Напротив: пожалуйста, не будь. Так для всех спокойно.

В пылу защиты А. Григорьева от либеральных гонений Блок прихватывает В. Розанова. И его, мол, гонят — «за то, что он... пишет в «Новом Времени»...

Какая детская, какая «поэтическая» слепота! Впрочем, ясно, почему Блок, совсем не любя Розанова, должен-таки был вспомнить его и взять под свою защиту. Розанов с особенной отчетливостью подтверждает наше положение о «человеческом выборе». Вот буквальные розановские слова: «я никогда не делал **выбора**»... «и даже никогда в этом смысле не колебался». Очень определен-

но. Между тем этот определенный отказ от выбора (да и само «Новое Время») не создали никакой «травли» на Розанова. Его сложный, большой талант всеми признан... Только к самому Розанову относятся с опаской, запирают перед ним двери, и как раз оттого, что он парадными комнатами не довольствуется, лезет и в деловые. Не довольствуется касанием к мирам «иным», хочет коснуться и человеческого, упорно притворяется, что сделал человеческий выбор. Ап. Григорьев не притворялся и в «человеческое» лишь робко заглядывал». Нынешние поэты и писатели тоже не притворяются; променяв на свободу от всех обязанностей это «человеческое», они в него и не «заглядывают». А Розанов нет-нет — и напреет. Естественно, что люди защищаются. Очень скромно и сдержанно. Просто не пускают в свои дела, в свои дома.

Если еще мало чистых поэтов, из общепризнанных, в «Новом Времени», это случайность. Поэтам место везде, зачем им «Новое Время»? С ним, кстати, связано и какое-то неприятное традиционное воспоминание. Зато в суворинском журнале «Лукоморье» (свое «Новое Время») сколько угодно имен, которые вы встретите завтра в «Русской Мысли», послезавтра в «Летописи», а вчера они были в «Заветах». И никто никого не гонит, нигде ничего не требуют, кроме хорошего искусства, чистого искусства.

Однако негодование Блока — подлинное негодование. Подлинной горечью и болью звучат его укоры. Может быть, они просто не туда направлены? Может быть, как раз то, чего не видит он в современности, то, в чем живет, но в чем не отдал еще себе отчета, — оно и мучает его? Не тесно ли Блоку — в «свободе»? Ведь бывает и «постылая» свобода...

Не Белинские и Чернышевские требовали от Григорьевых волевого **выбора** пути (и жертвы) — сама жизнь требует их от человека. История (движение) требует — и жизнь. И даже так, что, чем сложнее, богаче, глубже душа, — тем нужнее для нее человеческое волевое самоопределение:

..... : * * *
Ты человеком быть обязан...

А если ты поэт — тем более обязан — вдвое...

Загородная вилла с ее коротенькой, эстетической свободой, где ныне живут «художники слова», — не вечный приют. Кое-кому она еще по плечу, но другие скоро начнут задыхаться. Вот хоть бы тот же Блок. Он уже вопит, что ему тесно, душно; а если не знает, отчего тесно, если еще мечется на несуществующих «либералов», на недобрых их внуков, — узнает когда-нибудь. Лишь бы не поздно. Долгая безответственная свобода, вне-человечность, — они затягивают, воспитывают безволие. И как трудно, как трудно пробиться сквозь стену

привычного благожелательного невнимания! Блок едва почувствовал тесноту безответственного (то есть бесправного) положения; настоящих слов, за которые мог бы ответить, — еще не нашел. Но когда найдет — будут ли они выслушаны? Ему привыкли улыбаться, только улыбаться, как хорошенькой женщине и ребенку. На современном признанном писателе-художнике лежит штамп, и страшнее тех, что употреблялись во времена Белинского и Григорьева. Этот штамп — «все позволено». Все, потому что нам до вас нет дела. Все, потому что как люди, в общей работе, в борьбе, в тяжком труде исторических сдвигов, в буднях жизни, — вы не с нами, нам не равны и — нам не нужны.

Крупный талант, осознав свое положение, никогда с ним не примирится. Выйдет победителем или нет, — но бороться будет. Не в словах, которыми написал Блок свою статью «Судьба Ап. Григорьева», но уже в том самом, что написал ее, и в звуке, в тоне голоса, — я слышу начало борьбы. Слышу, правда, и отчаяние, и зlobу, — это она путает мысль, туманит взгляд на действительность, торопит и толкает на почти невежественные выпады. Но вот живое страдание. Что Ап. Григорьев! Блок не видит Ап. Григорьева — он его любит, жалеет, как себя. Ему **больно** от Ап. Григорьева. Не то больно, что «обидели», «погубили», — нет; ведь не погубили, сам погиб, сам стал жертвой, не пойдя на выбор и на жертвы... Но вот это-то и больно, и **страшно** тому, в ком уже рассыпаются повелительно **человеческие** к себе требования.

Однако ни торопливой зlobы, ни легкомысленного суда над современниками Григорьева и своими собственными, ни детски-узкого взгляда на историю — ничего я Блоку не прощаю. Статья «Судьба Ап. Григорьева» стоит самой суровой отповеди, самого резкого отрицания за те ее места, где «поэт», по старой привычке к безответственности, к штампу «все позволено», позволяет себе зlobу и дешевые насмешки над подлинным страданием. Оно ему «не нравится» — зачем и глядеть внимательно? Довольно простой, заезженной издевки.

Думаю, единственная помощь, которую можно оказать и Блоку, и всем нашим теперешним писателям-поэтам, которым тесно и больно, которые хотят стать людьми, это **ничего им не прощать**. Не улыбаться; снисходительно, а слушать, сурово судить ошибки: идти навстречу их требованиям к себе; т. е. того же, во всю силу, **требовать** от них. Не на благоговении (и презрении) — на равенстве строится человечность. На разном и **равноценности** человека, лица, личности, за себя отвечающей и принимающей вместе со своими правами — свои обязанности.

Но пусть ошибки, пусть близорукие и некрасивые срывы (не эстетические, стиль и образы прекрасны); Блок все-

таки хорошо сделал, что написал свою статью. Хорошо для себя. Он положил начало... которое уже обязывает. Будем ждать, что эту первую свою обязанность Блок исполнит. Начатое не оборвет. Заговорив по-человечески — не умолкнет.

И, не остановившись только на «заглядывании в человеческое», — убежит от «соблазнительной» судьбы Ап. Григорьева.

1916

Оправдание свободы *

I

В своей книге «Философия неравенства» Н. Бердяев рассматривает вопросы общественные, и рассматривает их с религиозной точки зрения. Хочет взять общечеловечность — «в свете религиозного сознания».

Я не собираюсь заняться подробной критикой его многосложного и многословного труда, да вряд ли это было бы мне под силу. Но я хочу говорить о тех же вопросах, о которых говорит Бердяев, — общественных, — с той же точки зрения — религиозной; и книга «Неравенства» поможет выяснению моих собственных взглядов, если я буду ею попутно пользоваться.

Почему при одинаковом, казалось бы, критерии мы столь неодинаково судим и столь разнsgуем в выводах? Это, как мой личный спор с Бердяевым, не имело бы интереса. Но дело не в споре. Важен самый предмет и то, что мы оба рассматриваем его «в свете религиозного сознания».

А на религиозном сознании, и только на нем, построится будущая общественная идеология.

Я подчеркиваю: на религиозном сознании, ибо просто религиозными уже есть и были все донные существовавшие идеологии. Нужно ли это доказывать? Достаточно обратить внимание на самое слово «идеология»: в нем неизменно присутствует элемент иррационального.

Впрочем, иррациональное до такой степени объемлет нас, до такой степени пропитывает действия, понятия и язык человечества, что из него, по свидетельству самого разума, выхода нет. Поэтому человечество (и каждый отдельный человек) всегда было, есть и будет религиозно в существе. Первично и природно религиозно.

Можно ли, однако, эту первично данную, природную религиозность называть религиозностью? Думаю, что можно и должно, хотя бы религиозное сознание в ней и вовсе отсутствовало. Но в процессе жизни это сознание ни у кого вполне и не отсутствует: в соответствии с мерой и качеством его — создаются формы личной или общественной жизни.

Человек не может стать частью самого себя: когда он думает, что покончил с «верой», он только меняет ее содер-

жание. Его религиозное сознание прогрессирует или регрессирует. Идопоклонство, рационализм, атеизм или морализм — все это разного качества веры, и даже известная степень религиозного сознания. Бакунин из пламенно верующего в Дух сделался столь же пламенно верующим — в атеизм. Кто-то, у Достоевского, кажется, так прямо и кричит: «Я верю, верю... что не верю в Бога!» Люди, не думающие вовсе об этих вещах, имеют minimum религиозного сознания; но вера и в них не перестает действовать, только объектом ее становится что попало.

Все это доступно самому простому рассуждению, и, если бы рационалисты не относились к «рацио» со слепым поклонением, а заставляли его нормально им служить, мне не пришлось бы повторять эти общие места о вере иррациональном в жизни и т. д. Но, увы, даже самые слова наши, благодаря неосторожному обращению с разумом, — затмились, потеряли точный смысл, первое значение и нередко спутывают понятия.

Не следует, например, смешивать бытие — с жизнью, реальной жизнью в ее совокупности. Жизнь — только потенциальное бытие, становящееся бытие. И жизнь — борьба двух начал или двух Духов: возводящего к бытию и спускающего к небытию. Это — борьба во Времени, между двумя Вечностями: вечной Жизнью (бытием) и вечной Смертью.

Пусть не упрекают меня в отвлеченности. Я говорю не о какой-то войне в воздухе, где-то в сомнительно существующих, надзвездных сферах, а о грандиозной борьбе в самой реальной реальности, притом отнюдь не проявляющейся только в грандиозных формах. Она наполняет все формы. Нет пылинки в мире, нет ни единого движения человеческого, душевного или телесного, где бы элемент этой борьбы отсутствовал.

Потенция заложенного в мире Бытия ставит перед человечеством три вопроса и требует положительного их разрешения, вернее — maximum'a приближения к нему в процессе постоянного устремления воли.

Только три исчерпывающих вопроса: каждый из других, бесчисленных, больших и малых, рожденных сложным многообразием жизни, непременно вливается на глубинах в какой-нибудь из трех основных. Внутри этих вопросов происходят все драмы и трагедии челове-

* Статья публикуется по журналу «Современные записки», Париж, 1924, № 22.

ские, потому что внутри них протекает история — жизнь — борьба духа Бытия с духом Небытия.

Эти вопросы: во-первых — о «я», единственном и неповторимом (Личность).

Во-вторых — о «ты», о другом, единственном и неповторимом «я» (личная любовь).

В-третьих — о «мы», о всех других «я» в совместности (общественность).

Найти наиболее высокое и правильное отношение: к самому себе, к миру-космосу, к Богу; к подобной, но другой Личности; найти, наконец, такие же отношения между всеми людьми — вот тройная задача, поставленная перед человечеством. **Совершенное** ее разрешение — Бердяев прав — невозможно в условиях относительности; но, ища, все более и более приближаться к решению — таков **смысл жизни**.

Я не боюсь повторить эти два слова, затертые от повторов, ибо я употребляю их в значении самом точном и прямом: да, именно в искании бытия, в борьбе за бытие (жизнь, освобожденную от Смерти) и заключается смысл того, что мы называем реальной жизнью.

«Вы не ищете смысла жизни!» — обличает Бердяев. Неправда: все человечество непрестанно и неустанно смысла ищет; только это, живя, и делает; да и что бы другое оно еще могло делать? Ищут его сознательно и бессознательно, даже когда не подозревают, что ищут. Ищут действием, мыслью и словом, ищут сильные и слабые, великие и малые... Не ищут, перестают искать только до конца побежденные Духом небытия, уже выходящие из строя. Эти, если живут еще «некое малое время», то лишь для того, чтобы творить волю Победителя и затем «низринуться с крутизны в море»... подобно евангельскому стаду. Но таких бесполезно и обличать.

Три вопроса, составляющие содержание жизни, названы мною одной «тройной задачей». Они, действительно, имеют единство — единство уровня воды в трех сообщающихся сосудах. Кто не наблюдал, как эти вопросы сцеплены, вкраплены друг в друга, как один переливается ими всеми, а все — одним? Но для нас они иногда бывают разделены временем. Нам кажется, что один из трех выступает вперед, и наше внимание обращается главным образом на него. Тогда и внимание Соблазнителя, умного духа небытия, обращается в ту же сторону и как раз на этом поле происходят самые жаркие битвы.

Я потому останавливаюсь так долго на общей пригитивной схеме «религиозного сознания», что без нее будет менее понятно последующее. Эта схема так первична и неспорна, что в ней вряд ли и с Бердяевым у нас будет разногласие.

Одинаково мы видим и «природу» зла. Правда, Бердяев говорит о «сатанинских идеях» и тут ошибается: сатана,

дух небытия, никаких идей не имеет. Злое начало потому и злое что чисто разрушительное, не могущее ничего ни создать, ни построить. Его работа — искажение, искривление, порча уже созданного, а главные орудия — маска и зеркало. Он лобнит маску, зная ее неотразимость. Зеркалом пользуется, чтобы нашу же идею показать нам в обратном, перевернутом виде и заставить нас от нее отречься. Эти «маски, подмены» Бердяев прекрасно видит. Видит и религиозную, или «обратно-религиозную», сущность интернационало-большевизма, ныне царствующего в России: «Интернационализм, — говорит он, — есть безобразная карикатура, изолгание вселенского духа, лживое подобие...»

Положим, как не увидеть, когда и самому обыкновенному, среднему человеческому сознанию это слишком ясно. Русский «коммунизм» до грубости резко объявил себя именно религией: коммунистическая партия играет роль церкви, до мелочей повторяя церковь христианскую, в обратном виде, конечно. Ни песчинки нового — только переверт; все положительное заменено отрицательным: свобода — рабством, созиданье — разрушением, жизнь — смертью. Даже не математика, даже не арифметика — автоматизм.

Если чему удивляться, так разве тому, что эта «сатанократия», и даже вид людей, руками которых она делается, опустошенных до мертвости автоматов, еще не всех заставили содрогнуться. А видя умирание себе подобного — и зверь дрожит, начиная понимать смерть.

Бердяев — понял, но... Бердяев не выдержал: соблазнился о сатанократии. Не ею, а именно о ней. Соблазниться о чем-нибудь — на религиозном языке значит ослепнуть, заворожиться так, чтобы уж во всем и везде видеть только предмет соблазна.

«Чтобы правильно оценить какую бы то ни было идею, — говорит Бердяев, — надо ее брать в крайних точках», — и немедленно начинает поиски «крайних точек» идей равенства, демократии, свободы, революции и т. д.

Будем говорить начистоту. Бердяев это делает с целью доказать, что все идеи, касающиеся человеческой общности (социальности) и имеющие главной базой свободу, все они в крайней точке своего развития упираются в большевизм.

Бердяев не первый и не последний. Много таких же, как он, «соблазненных», оглушенных ударом по России, старающихся доказать — игрым методом, в иной плоскости, — но то же самое.

Впрочем, и Бердяев, как ни странно, теряет свою основную точку зрения, чуть только подходит к общественным вопросам, спускается к реальности. Религиозное сознание его гаснет; остается одна религиозная терминология.

О глубокой причине такой потери при

оценке известных идей и явлений я скажу ниже; пока замечу лишь, что потеря сказывается даже в мелочах: Бердяев не устает утверждать **качество** преимущественно перед **количеством**, тогда как для религиозного сознания оба понятия равноценны. Не требует ли «гармония» (истина) и качества, и количества? Но она требует и **меры**.

Бердяев — меры не знает.

II

Книга начинается с определения идеи «революции» (идеи или самих, донные бывших, революций — трудно понять в смешении; но и само смешение характерно).

«Революция никогда не была и никогда не может быть религиозной, — говорит Бердяев. — Революция, **всякая** революция, по природе своей антирелигиозна, и низки все религиозные ее оправдания». «На всякой революции лежит печать богооставленности и проклятия...» «Революционизм есть утверждение смерти и тления вместо вечной жизни». «Революция не духовна по своей природе. Революция статична. Русская революция есть тяжелейшая расплата за грехи...» Чьи же?

Ответ очень определенный, и грешные — уж не в одной революции, а вообще в гибели России — перечислены с большим тщанием:

«Близоруко и несправедливо винить во всем большевиков». Виновные — это «народники, социалисты, анархисты, толстовцы, славянофилы, теократы, империалисты и др.». (Кстати, кто эти «др.»? Тут уж все русское сознание, целиком.)

И тяжеле всех виноваты — «вы, **умеренные** русские социалисты и радикалы всех оттенков русские просветители, происходящие от Белинского, от русских критиков, от русских народников...» «Это вы низвергли Россию в темную бездну», вы, «вначале выступившие с невинными лозунгами народолюбцев, а потом превратившиеся в разъяренных зверей, и злодеяния вашего не простят вам грядущие поколения русского народа. **Большевики** лишь сделали последний вывод из вашего долгого пути, показали наглядно, к чему ведут все ваши идеи».

Отчетливее нельзя сказать. Не ясно ли, чем окажутся «все эти идеи» при дальнейшем разборе и как разбор **будет** производиться?

Не с религиозной точки зрения, во всяком случае. Для религиозного сознания такие хулы — грех (не сужу, простимый ли). Но и для всякого человеческого сознания неприемлемо такое огульное отрицание духовной жизни России, даже не России только — духовной жизни человечества в истории, его порывов к свободе и совместности — к Царству Божьему. Не сам ли Бердяев называл раньше этот порыв «святая свя-

тых истории»? А в центре всех «идей», которые он ныне втаптывает в грязь большевизма, идей пусть малоосознанных, доступных соблазну искажения, лежит тот же порыв. Да, **совершенное** Царство Божие мыслится лишь в бытии, а не в жизни, где нет совершенной свободы и совершенной любви. Но Бердяев забыл, что жизнь должна творить образы и подобия Царства Божия, все более и более приближающиеся к совершенству, и что свято усилие дать каждому моменту его максимум свободы и любви.

Кажется, свободы-то Бердяев больше всего и боится. Маска свободы, которую он увидел, соблазняет его. Ему уже думается, что всякая человеческая свобода на земле — только маска, а под ней — темное лицо...

Но что же такое, однако. «все эти идеи» — революции, свободы, равенства, демократии, — не по Бердяеву, не для соблазненных, а для религиозного сознания?

Начнем и мы с революции. В истинном значении слова революцией следует называть не то, что мы обыкновенно называем, а **революционный момент**. В нем (т. е. именно в «революции») Божий дух свободы соединяется на миг с земною плотью. Говорю «на миг», но и миг — измеренье времени, а революция, в религиозном понятии, этого измерения не имеет: она один из прорывов Вневременного во Временное. Личность знает эти прорывы в созерцании и в любви; общность человеческая — в свободе. Дух свободы такой же Божий, как и дух любви.

Революция не имеет **длени** (la durée, по Бергсону), и когда мы говорим о «революции» — мы говорим, в сущности, о временах, окружающих этот миг; о времени «послереволюционном», о революционных «эпохах»... Отсюда и споры, когда именно какая революция кончилась. Споры неразрешимые, ибо революция есть реальное, но неуследимое мгновенье.

Конечно, мы не можем, находясь во времени, мыслить иначе, как условно. И если я указываю на революцию как на момент «прорыва», то лишь для того, чтобы раз навсегда отстранить от нее упреки, подобные бердяевским. Да, революция не «духовна», но потому, что она, в высшей точке своей, «духовно-телесна». Да, она и не «динамична» в обыкновенном понятии, но потому, что она — взлет, крайняя динамика.

Я отнюдь не отрицаю факта, что послереволюционное время всегда было ужасно; я соглашаюсь с Бердяевым: конкретный смрад русских послереволюционных годов превзошел все, что мы знаем о таких годах в истории. Я соглашаюсь далее, что в этом смраде повинны мы все, не одинаково, — но **равно**, каждый в меру самого себя. И, начав считать чужие вины (по моему — практичнее заниматься своей), мы, пожалуй, найдем, что на Бердяеве лежит вина

куда тяжелее, чем на «свободолюбцах», «народолюбцах», «русских просветителях, радикалах, критиках», на всей, им уничтожаемой, русской интеллигенции. Вина, всегда, — по степени сознания. Если степень сознания у русской интеллигенции была ниже, чем у него, Бердяева (а он сам это говорит), то не могу ли я ему напомнить слова, очень к нему, в данном случае, относящиеся: «кто не видит, тот не имеет греха, а так как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».

Мне стоит больших усилий высвободить ясное положение из обличительного бердяевского многословия: откровенно сознаюсь, что постоянно в нем вязну. Резюмируем, однако: злая воля русской «безблагодатной» интеллигенции стремилась к революции — для революции, к революции-религии, и эта революция погубила Россию. Так утверждает Бердяев.

Но я утверждаю, что революционный момент (настоящая «революция»), при всей полноте никогда не бывает самодовлеющим. Революция самодовлеющая. «революция для революции», «революция-религия» — есть в лучшем случае абсурд, в худшем — безумие. Так же, как «свобода»: и свобода — лишь от чего-нибудь для чего-нибудь.

Революция действительно есть «окончание старой жизни», но окончание для начала новой. Создает ли революция новую жизнь? Нет, ибо новая жизнь, опять не совершенна, строится во времени, а революция не имеет дления. Но для создания новой жизни революция есть начальное условие, как бы раскрытие дверей в эту жизнь. Лучшую или худшую — другой вопрос. Лучшую или худшую — это зависит уже не от революции, а от строителей, т. е. от людей послереволюционного времени; главным образом от их осознания пережитого момента и сознания громадной опасности периода, непосредственно за революцией следующего.

Почти всегда эти первые строители, «люди революции», — гибли. Не потому, что не чиста была их воля к революции до ее наступления и воля к созданию новой жизни — после. Но всля эта оставалась у них такой же идеалистически-бессознательной и после революции, как была до нее, если, — в худших случаях — не разлагал эту волю соблазн «власти».

Люди революции никогда еще не были, внутренно, в рост революции, которую переживали.

Прибавлю: о революционном моменте почти ничего нельзя сказать словами, как о многих вещах того же порядка. Рассказать же о нем тому, кто «порядка» не понимает, а сам в моменте не был, — совсем невозможно. Однако бывший и не забывший — хотя бы февральско-мартовскую русскую революцию — поймет, о чем я говорю.

Один и тот же луч (не «печать бого

оставленности», а печать богоприсутствия) лежал на лицах всех людей, преобразая лица. И никогда люди не были так **вместе**: ни раньше, ни после.

Пускай многие, пускай даже все, бывшие тогда вместе, ныне проклинают революцию, и русскую, и французскую, и английскую, — всякую революцию. Это ничего не меняет. Все-таки соединяющий луч лежал на человеческих лицах, все-таки — **это было**.

Бердяеву, конечно, язык мой непонятен. Бердяев или не прошел опыта, или забыл его. Но Бердяеву я хочу предложить один вопрос, очень конкретный, совсем в ином плане.

Всякая революция; везде и во все времена, — достойна проклятия? Воля к революции — дьявольская воля? Желать революции — грех? Каждой революции должно сказать «нет»?

Ну, а представим себе (это очень представимо), что сегодня, завтра совершается революция в России. Она будет именно такая же, как всякая, во имя свободы и ради новой жизни, против «существующей власти»... которую Бердяев, согласно со мною, считает реакционнейшей из всех, доньше возникавших, и отлично знает, что никогда большевики «революционерами» не были, да и большевицкой **революции** — не было.

Что же, скажет Бердяев завтрашней русской революции — «нет»? Проклянет ее? Осудит волю к ней, как греховную?

Я сильно подозреваю, что и у Бердяева где-то в глубине души таится эта самая «греховная» воля. Пожалуй, он и не скажет что грядущая русская революция ему «отвратительна как всякая революция».

Непоследовательность? Да, но зато шаг вперед по пути истинного религиозного сознания.

III

Отвращение к революции связано у Бердяева с отвращением к демократии, а главное, к идее **равенства**, на котором, как он думает, основана демократия.

Какое же равенство Бердяев разумеет?

У Джерома К. Джерома есть рассказ-утопия о будущем человеческом устройстве, где равенство доведено почти до идеала: вместо имен люди имеют номера (с именем — какое же равенство! Одно имя хуже, другое лучше). Волосы у всех выкрашены в одинаковый черный цвет. Тому, кто родился более умным, сверлят дырочку в черепе, а более других способному отрубает левую (или правую) руку. Все для равенства, для уравнивания.

На таком «равенстве», по Бердяеву, основана «демократия». Он не раз определяет это равенство: «уравнивание всех, нивелировка». Понятно, что и «нивелирующая» демократия является перед Бердяевым в виде некоего чудовища —

«человекобожества, где народ доверяет самому себе, где верховное начало — его собственная воля, независимо от ее «содержания». Просто — «хочу, чего захочу», а так как «демократическая идеология есть крайний рационализм» и даже «не может признать государства», то легко себе представить, что такое демократия: «В век ее торжества, — объясняет Бердяев, — нет уже святости и гениальности, ибо демократия не благоприятна для появления ярких, творческих личностей» (еще был сейчас, по Джерому. дырочку в черепе!) — и даже «старая тирания с кострами инквизиции оставляла больше простора для человеческой индивидуальности».

Действительно, уж лучше костры, чем джерома-бердзевская демократия и ее проклятая нивелировка!

Но религиозному сознанию нечего делать с этой дикой демократией, порождением такого же дикого равенства. Как «осознавать», да еще религиозно, то, что не имеет ни малейшей связи с реальностью?

Равенства-уравнения не только нет в мировом порядке, но его никогда нигде и не будет, так как его нет в самой **воле** человеческой (совпадающей в этом с Божьей).

Еще никто на земле, ни разу, не пожелал подобного равенства. Начиная с первой детской мечты — «хочу открывать новые страны». «хочу быть самым сильным», — наши желания говорят вовсе не о воле к равенству; ведь и ребенок инстинктивно знает, что если все будет открывать новые страны и сделаются первыми силачами, то не будет ни новых стран, ни силачей. А одна девочка раз хорошо объяснила, почему «не надо, чтобы все люди были одинаковые»:

— Тогда у всех будет **ничемная незаметность**.

Неудачник может сказать в озлоблении: я обездолен — пусть бы и все стали такими же обездоленными! но и он этого вовсе не хочет — просто хочет сам из своего положения выйти.

Воля человеческая есть воля к **восхождению**, и, в существе, раскрывается она как воля всех и каждого достичь maximum'a **своей** высоты. На религиозном языке это зовется «исполнением своей меры». И не к созданию равенства всех направлены усилия человечества, а к созданию равной для всех **возможности** свою задачу выполнить.

Вот такое равенство есть равенство-равноценность

В евангельской притче о талантах, каждому, — получившему десять талантов и получившему два, — было сказано равно: «войди в радость Господина Твоего». Лишь тот, кто зарыл данное ему в землю, не приобрел сам в меру данного, назван «лукавым и неверным». И «тьма внешняя» (небытие) вовсе не была ему кем-то послана «в наказание»: нет, ему **самому** уже нельзя было «войти в радость», ибо сам он, в равных

с другими одаренными условиях свободы, не исполнил своей меры; мог — и не захотел.

А равенство-одинаковость... даже темный дух небытия, отвлеченный, но жадно ищущий воплотиться, прекрасно знает, что мы такого равенства не хотим. Не хотим, не понимаем до невозможности им и соблазниться. Поэтому словом «равенство», как соблазном, темный дух пользуется лишь там, где оно воспринимается и понимается в нужном ему смысле.

В этом смысле поняла его французская угольщица: встретив, тотчас после революции 48-го года, знатную даму с ведром угля в руках, закричала радостно: «А, ты шелковые чулки носила (куда ты их припрятала?), а я таскала уголь. Теперь я буду ходить в шелковых чулках, а ты уголь таскать: **теперь — равенство!**»

Именно так понимается, — физиологически ощущается, — «равенство» и ныне, если оно «соблазняет». Под прикрытием этого слова соблазняет самое страшное из неравенств: — перманентное и переменяющееся: я вверху — ты внизу; ты вверху — я внизу; я ничто — ты все; ты ничто — я все.

Это с большой точностью выражено в Интернационале:

«Nous ne sommes rien — soyons tout!»

Конечно, кто сегодня кричит «soyons tout», — не знает, что по железной необходимости за «tout» следует опять «rien»... Но французская угольщица и не может видеть дальше сегодняшнего дня: иначе не соблазнила бы ее маска «равенства»...

Спасти от этой «дурной бесконечности» неравенства утверждением другого какого-нибудь неравенства — нельзя. И Бердяев просто-напросто обходит французскую угольщицу, — как всякую реальность, — и старается продолжать войну в воздухе. Мы сейчас увидим, к чему это его приводит.

Своей утопической «демократии» (человекобожеской, не признающей государства и основанной на равенстве по Джерому) Бердяев противопоставляет свое же «идеальное» общественное устройство. В нем «неравенство» открыто возведено в принцип, взято, как исходная точка. Аристократия (меньшинство) управляет демосом (большинством). Демос есть некий безгласный «коллектив». (Надо заметить, что слово «коллектив», по существу нейтральное, в устах Бердяева имеет отрицательное значение: это нечто вроде герценовской «паюсной икры». Отсюда, должно быть, и утверждение, что «в Царстве Божием никаких коллективов не будет».)

Между аристократией и демосом, который как «коллектив» голоса или воли, естественно, не имеет, — разница качественная, т. е. решающая: ведь для Бердяева категории «качества» и «количества» не равноценны. Сделаться «аристократом» нельзя: надо родиться. Рож-

денный плебеем — всегда им и останется. И вообще, всякое желание возвыситься — плебейство.

Пока — нового мало. Мы даже видели некоторые (о, самые несовершенные!) воплощения этих принципов в историческом прошлом. «Не обманывайте себя, — говорит Бердяев, обличая, — везде, всегда правило меньшинство!» И тут нет нового. Если взять это положение формально, то можно даже согласиться, что и впредь, всегда, государственное управление будет принадлежать фактически меньшинству. Это большевики могли обещать русским кухаркам, что они все будут править государством, — да и кухарки не верили...

Но не о том речь. Самое неожиданное — религиозная санкция, которую Бердяев дает общественному устройству, основанному на подобных принципах. Утверждает его «религиозно». И это не вчера, не в прошлом, а теперь, сегодня, когда история поставила нас лицом к лицу с наиболее совершенным воплощением этих принципов в реальной жизни.

Бердяев называет современное русское общественно-военно-государственное устройство «сатанократией». И не видит, на каких основах оно покоится? Это его же, бердяевские, основы. Прежде всего — неравенство (небрежно скрытое под словесным равенством, да теперь уж и не скрытое). Управляет — «врожденное, прирожденное» меньшинство таким же прирожденным большинством, безгласным и безвольным. «Аристократия» и «демос» на своих местах, при тех же функциях. Не оттого же это царство для Бердяева «сатанократия», что перепутаны наименования и зовется оно «пролетарским», а не «аристократическим»? Слова в таких случаях мало значат. Гораздо важнее, что в обоих царствах, и большевицком, и бердяевском, не только утверждается, но и отрицается то же самое: равенство, свобода, демократия, революция... Правда, в «пролетарском» все это отрицается **на деле**, а не на словах; но ведь и само царство уже «деется», а бердяевское только проектируется...

Знаю, что может возразить мне Бердяев: я говорю о форме, а форма ничто, она определяется содержанием. Две схожие внешне формы общественного устройства могут совершенно различаться друг от друга, даже быть противоположными друг другу, **если они не одного и того же духа**.

Я о духе не забываю; и мне кажется, не только формально сближаю два царства — действующее, большевицкое, и мечтаемое, бердяевское, — когда говорю, что оба они отрицают **дух равенства-равноценности, дух революции**... Этим, в связи с отрицанием идеи демократической, они оба отрицают **дух свободы**. Дух Господень, ибо, напомним Бердяеву, «где дух Господень — там свобода».

Это первое. А второе — о форме.

Отношение к форме как к чему-то не имеющему значения, определенному содержанием, — религиозно неприемлемо. Форма есть плоть мира, и дух, вновь и вновь воплощаясь, ищет и новых форм. Без этого не было бы в жизни никакого **реального** творчества. Бердяев в своей книге слишком часто прячется от реальностей: «все, мол, сие нужно понимать духовно». И свободу он признает, но духовную. И аристократию понимает — духовно. Даже восхождение человечества к Царству Божьему склонен мыслить как только духовное... Но мы не играем в прятки. Или надо сказать себе, что форма, плоть мира — **ничто** религиозно, служебная, случайная величина; и тогда надо отречься от мира. Или же, если для религиозного сознания человеческого мир восходит к Богу **во плоти**, мы должны признать, что не случайно дух ищет облечься новой плотью, творить новые формы. Бердяеву я на этот раз напомним только о ветхих мехах: не вливают нового вина в меха ветхие; прорвутся меха, вытечет вино, и пропадет то и другое.

IV

Во всех известных нам демократических группировках и партиях, и даже в демократиях уже реализующихся — смешанность: в них действуют контрабандой туда проникшие идеи, не только чуждые демократизму, но и прямо ему враждебные.

Такова, например, идея большевико-коммунистическая. Впрочем, как называть и можно ли назвать «идеей» этот механический состав из множества обратнo-перевернутых идей, эту совокупность анти-свободы, анти-национальности, анти-социальности, всяких «анти» и, конечно, анти-демократии? Это нечто, сработанное по мелочам духом небытия, «творить» не умеющим, — и сработанное незамысловато: все положительное взято как отрицательное, а для обмана оставлены прежние наименования. Я думаю, точнее всего было бы звать этот Соблазн — «обратничеством».

Как механизм, он легко разнимается, разделяется, даже распыляется, когда надо вводить отраву по частям, но при удобном случае может быть собран в грандиозное целое, — в «сатанократию», по выражению Бердяева.

Способность распыляться — тоже сила. Неуследимо, тончайшими атомами, все время прикрываясь именем идеи, которую хочет отравить, входит в нее соблазн «обратничества»; и уже внутри ширится и растет.

Как и когда вмешался он, например, в идею «социализма»?

Я не буду здесь касаться сложнейших проявлений, оттенков и форм, которые принимал социализм. Но, для ясности дальнейшего, мне важно утвердить, что, как идея, социализм неразрывно связан

с идеей демократии. Связан в первооснове, по самому существу. Вопреки разнообразным определениям, социализм для демократии и не инородное тело, и не прослойка, и даже не цель ее: настоящий социализм есть **сама ткань** настоящей демократии. Поэтому и в процессе становления, — воплощения, — мы их должны мыслить совместными: они совместно эволюционируют и совместно, соответственно, изменяются, — или «преображаются», если говорить религиозным языком.

Такое утверждение связи между двумя идеями, пожалуй, обрадует Бердяева. Не он ли старается доказать, что демократия и социализм — одно, или почти одно? И далее подчеркивает: разве не «социализм» учит, что революция — диктаторский захват власти одним классом? Что человеческое сознание — лишь какое-то производное из экономики? Разве не в «социализме» зачеркивается, помимо ценностей высшего порядка, даже сама человеческая мораль, путем раздробления ее единства на множество моралей классовых? Разве нет этого в социализме?

Ну, конечно, есть; я как раз о том и говорю, что оно есть в социализме, как и многое другое, еще более антидемократическое и антисоциалистическое, т. е. прямо враждебное социализму. Оно вползло под его крышу, всячески стараясь, ради соблазна, прикрыться чужим именем.

Но Бердяев не узнал его: не увидел маски; он зовет «социализмом» самую определенную гримасу самого определенного «обратничества». Признаем же, что и тут Бердяев «соблазнен», и тут, борясь с личиной, играет только в руку обманщику.

Соблазн, впрочем, не был бы соблазном, если б не соблазнял. Как судить других, когда ему поддаются даже люди вроде Бердяева? Да говоря правду, были для этого в наших демократических и социалистических течениях достаточные основания. Не выросло ли там издавна многое, что потом расцвело в большевицкой России? Не было ли там подчеркнутого уклона к безличному коллективу, к обожествлению экономики, к воинствующему материализму — до совершенно «религиозной», экскоммуникативной, нетерпимости?

Было; и выражалось оно так ярко и резко, что даже одна моя статья (в 11 или 12 году), по этому поводу написанная, была прямо озаглавлена «Обратная религия».

Соблазнительная примесь воинствующего материализма, нетерпимости, — духа «обратной религии», — имелась, хотя и в разной степени, решительно во всех наших демократических группировках; во всех уклонах так называемого **левого** *. Идея, благодаря этой злой под-

меси, искажалась; и как раз та, которую всего ревнивее надо хранить от искажений, всего мужественнее защищать, ибо **идея демократическая** есть самая, по времени, драгоценная общественная идея.

В самом деле, не видели ли мы, какие три вопроса — о «я», «ты» и «мы» — стоят перед человечеством на его пути.

Стремление к Царству Божьему есть стремление к совершенству «мы», где в свободной общности всех утверждается равноценность всех «я». Идея демократическая, заключающая в себе те же начала свободы, личности и равенства-равноценности, и есть поэтому идея самая глубокая, т. е. — **религиозная**.

Но если носители этой драгоценной идеи не сознают сами ее религиозного смысла — они плохо вооружены для ее защиты. Пока нет сознания — у идеи нет стержня, у борющихся за нее — нет критерия.

С каким усердием, с каким умением занимаются многие демократы разработкой вопросов политических, экономических, социальных и... не знают простой вещи: эти вопросы нужны, важны, как жемчужины для ожерелья, но ожерелья все-таки не будет, если не будет нити, на которую они нанизаны.

Соблазнительно ничего не стоило отвлечь их взоры от этой нити: он просто всю область положительной религии, где центр — христианство, заслонил от них исторической христианской церковью. Для примитивно-религиозного сознания — не достаточно ли? Религия есть христианство, христианство — церковь, а церковь — священники и старушки, или инквизиция. В лучшем, в самом лучшем случае религия есть индивидуальное дело, ни к какой общественности не относящееся.

Можно, значит, в эту сторону и не смотреть.

В худшем случае такое постоянное соскальзывание со своего главного устоя грозит демократии полным крахом; но и в лучшем — оно задерживает ее рост, ее развитие, мешает одному из первых дел, которое предлежит всякой реализующейся демократии, — делу **уравнения условий**.

Равенство условий есть единственная реальная форма, в которую может и должна воплощаться идея равенства-равноценности, единственная, этой идее отвечающая.

Уравнение условий — сама по себе задача огромная. Но и при наиболее достигнутом равенстве люди не сделаются, конечно, одинаковыми: будут не только разнеспособные, но и неравнеспособные, умные и глупые, слабые и сильные, словом, худшие и лучшие. Лучшие. есте-

* Вот слово, от истерности превратившееся просто в известный знак! Я и беру его лишь как знак, которым привычно отмеча-

ются идеи свободы. Идеи, не имеющие основной свободу, мы привыкли звать «правыми». В конце концов знаки безразличны, но само разделение важно и нужно. Когда Бердяев говорит: «Я не правый и не левый», — он ничего не говорит: он, по своему обыкновению, прячется от реальности.

ственно, будут впереди худших... но пусть не радуется Бердяев и не пугаются демократы. от этого демократия не перестанет быть демократией и не потеряет своего принципа свободы.

Напротив: только равенство условий и дает истинную свободу: свободу всем и каждому — **стать** чем хочешь и можешь, исполнить свою меру, приобрести на данные два таланта — другие два, на десять — десять, или... зарыть их в землю, выбрав «тьму внешнюю».

Жорес как-то сказал, что привилегированные условия, в которых он родился, так мучают его, что он лучше был бы готов и сам в них не рождаться, раз они невозможны для **всех**.

Бердяев здесь смотрит, конечно, жажду «нивелировки» и «равнение по низшему». Но я думаю, и Жорес понимал, что воспитайся с ним рядом тысяча человек — из них не вышло бы тысячи Жоресов. Почему же он все-таки мечтает о каком-то равенстве **всех**? Бердяеву следовало бы помнить, что каждый праведник молится: «Всех, Господи, спаси, а если не всех — то пусть и я с ними погибну». Это ли не равнение на низших? На самых низших, на погибающих. Должно быть, однако, в глубоко религиозной молитве этой, как в словах Жореса, — равнение не на низшее, а на высшее, центр тяжести не в спуске, а в восхождении, не в погубели, а в спасении: «**пусть спасутся все**».

Но по отвлеченным стопам Бердяева мы и тут недалеко уйдем. Равенство в свободе пугает его. Равные условия для всех рожденных кажутся ему нарушением основ государственности. Оттого, вероятно, и утверждает он, что «демократия не признает государства»*.

Не сомневаюсь, что бердяевская «демократия» признать государства не может. Но подлинная — становится безгосударственной и безвластной лишь тогда, когда изменяет себе, когда соскальзывает со своей идеи.

Настоящая демократия должна иметь власть, чтобы охранять и проводить в жизнь свою идею. Власть — ограничивать свободу каждого, кто посягнет на свободу всех. И такую власть демократия должна признавать не только правом своим, а также и обязанностью.

Но повторяю: чтобы понять все права и обязанности, налагаемые данной идеей, нужно понять самую идею в ее последней, т. е. в религиозной глубине. Лишь на этой глубине открывается и настоящее понимание свободы, к которой мы все стремимся, а получаем — только из Божьих рук, на пути нашего к Нему восхождения.

* О государстве — самая мутная глава в книге. Лучше бы уж держался он кратко определения Вл. Соловьева, которое сам приводит: «Государство существует не для того, чтобы создать на земле рай, а чтобы помешать ей превратиться в ад».

V

Мне осталось еще сказать два слова о религиозной позиции Бердяева и о том, почему наши общественные выводы так разнятся, хотя оба мы исповедуем ту же христианскую религию и принадлежим к той же православной церкви.

У нас не разная религия, но разное **религиозное сознание**. Я не хочу сказать, что у меня сознание верное, а у Бердяева не верное. Оба верны, если верна наша религия. Но в луч моего религиозного прожектора попадает то, что в луч бердяевского — не попадает. И область, остающаяся для Бердяева темной, — область вопросов общественных.

Он говорит о личности, о природе зла, о духовном возрастании — религиозно. Но чуть касается общественности — слова его гаснут, суждения становятся просто обыкновенными суждениями с обыкновенной человеческой точки зрения, и весьма не беспристрастными. Почему это так?

Ответ дан самим Бердяевым: потому что «**Христос не учит общественности**», а Бердяев — последователь Христа и только одного Христа. Он даже указывает на опасность сближения проблемы общественности со Христом, «который оставляет в стороне социальные вопросы». Естественно, что если Бердяев сам и не оставляет их в стороне, — он говорит о них уже не с религиозной точки зрения: этой точки зрения у него здесь нет.

«Чистое христианство» Бердяева определяет и его отношение к исторической (реальной) христианской Церкви.

Я признаю, что в христианской Церкви заключена вся полнота истины: но я знаю, что она там именно **заключена**, а открывается нам лишь одна из ее трех сторон. Я не боюсь сказать это, ибо для моего религиозного сознания — существующая, в истории находящаяся церковь — такое же **не** совершенное воплощение Духа Божьего, как не совершенно во времени и пространстве всякое воплощение. «Церковь — храмина недостроенная!» — любил повторять один очень православный церковник.

Для моего религиозного сознания ясно, что правда «о всех» должна быть вскрыта в мире так же, как Христом уже вскрыта правда о Личности. Для меня ясно, что воля, заставляющая человечество, сознательно или бессознательно, протягивать руки к этой правде — есть воля Божья, и что во Христе эта правда уже есть: «Дух, которого пошлю вам, **от Моего возьмет**, и наставит вас на всякую истину, и будущее возвестит вам».

Для моего религиозного сознания ясно, что мы должны быть готовыми «вместить» эту правду, а готовность не дается бездействием, созерцанием и отворачиванием от жизни. Надо идти навстречу Божьей правде, и она — «ну-

дится, и употребляющий усилие восхищает ее».

В моем религиозном сознании Божья правда «о всех», земная человеческая совместность, строится как прообраз Царства Божия, т. е. на основах свободы и подлинного равенства.

И такое религиозное сознание — во все не мое только: у меня много союзников. Не буду говорить о далеких и чужих, назову лишь одного, своего и очень нам близкого: Владимира Соловьева. Известен ли он? По имени — да, но я утверждаю, что по существу он остался неизвестен для тех, кто его «изучал», «увлекался» им. Даже малое, второстепенное, что они поняли в нем, — они скоро и основательно забыли. О внешних же не стоит и говорить: одних, общественных, отталкивало его христианство; других, «христиан», — его «либерализм».

Правда, есть у Вл. Соловьева кое-где недоговоренность; одна из причин ее — это то, что он был «слишком ранним предтечей слишком медленной весны»... Он много знал, но еще больше предчувствовал. А кого мог в те недавние — и далекие — времена занять хотя бы его вопрос, обращенный к России:

Каким ты хочешь быть востоком,
Востоком Ксеркса — или Христа?

его непонятный страх:

И вот Господь неумолимо
Мою Россию отстранит...

Приходило ли в голову даже тому, кто о России думал, что очень скоро — красным

— детям на забаву
Дадут клочки ее знамен?

Но оставим стихи, предчувствия и прозрения Соловьева. Мы говорим лишь об его религиозном сознании. И если **теперь** вдумчивый человек откроет любую книгу статей его и новыми глазами прочтет старые страницы, они его поразят: в них все — об одном, о реальной **связи** религии с общественностью. Соловьев не устаёт повторять, что во Христе уже есть, уже дана человеческая и Божья правда свободной совместности, побеждающая духом Божиим духа смерти.

Темы Соловьева внешне разнообразны. Очень часто взяты они лишь для прикрытия главной темы: не забудем, что он был связан тогдашней цензурой. Но пишет ли он рецензию об иностранной книге, говорит ли о поэзии, о Талмуде, о смысле любви — все это сводится к необходимости осознать **религиозно** вопрос общественный. В невинной, как будто, статье «О подделках» ему удается, сквозь цензуру, сказать, с изумительной определенностью, что христианство, не включающее в себя вопроса о реальном, свободном устройении человека на земле (правда «о всех»), — есть не настоящее, а **поддельное** христианство.

Но... для одних это было непонятно или ненужно, для других, вроде Бердяева, это и до сих пор остается ересью:

ведь «христианство — не учит общечеловечности».

Бердяев, в узкой устремленности внимания на лик Христа и в том, как он этот лик видит, совершенно совпадает с обоими историческими христианскими церквями: и восточной, и западной. Отсюда у него и тяготенье к «духовности». Он признает плоть мира (как и Церковь), но нехотя, концами губ, словесно (так же, как и Церковь). Вот последний общий вывод, который делает Бердяев в свете **своего** религиозного сознания: «Только реальное осуществление совершенной духовной жизни (а оно невозможно) есть разрешение проблемы совершенного общества»... которое, значит, тоже невозможно.

Церковь, благодатная хранительница истины, скрытой до времени от нее самой, Церковь, для которой в «мире» только еще «деется тайна беззакония», эта Церковь и не вступает «в прю с князем мира сего», не поднимет голоса (когда верна себе) для суждений или осуждений человечества, борющегося за свободу. Она только широко открывает объятия каждой отдельной душе, всякому, «приходящему извне», жаждущему отдыха и последнего утешения.

Но Бердяев не «приходящий извне». Книга его, по замыслу, есть «исход во вне». Забыв свои же утверждения, что «в Новом Завете нет откровения христианской общечеловечности», что «Царство Христово не от мира сего», он идет судить «сей мир». С пониманием свободы, равенства, братства как начал лишь духовных и отвлеченных он судит человеческую волю к их воплощению и думает, что судит и осуждает ее — **религиозно**.

Но случилось то, что он и сам мог бы предвидеть. Ведь он сам говорит: «Великий соблазн — проблема общечеловечности и для **верных христиан**, и для врагов христианства». Книга Бердяева и есть такой соблазн. Будь она не так мутно, противоречиво и отвлеченно написана, она соблазняла бы, пожалуй, больше. Но эта муть не случайна: самые корни ее — роковой узел, где «правда с ложью сплетена».

И, конечно, не о свете бердяевского сознания я думаю, когда говорю, что явления общественной жизни нужно освещать религиозно: луч бердяевского света до них не достигает.

Нет, я говорю о том длинном луче (Владимир Соловьев знал его), в котором воля человечества к устройению на земле в свободе, равенстве и любви открывается нам как Божья. Я говорю: чем глубже мы сознаём, что идея свободы есть идея **свободы в Боге**, тем ближе и возможнее ее воплощенье.

Придет ли это сознание? Придет. Но верить ли, что скоро?

Не знаю. И только одно могу сказать здесь: верую, Господи, помоги моему неверию.

1924

Публикация Н. И. ОСЬМАКОВОЙ.

По страницам книг и журналов

Жизнь как слово

Вопреки всем опасениям генералов и прапорщиков от изящной словесности за пять промелькнувших лет не было замечено спешки со стороны официальных издательств с выпуском книг поэтов, которые оставались «вот // тут» (Вс. Некрасов). Слава Богу, появилось издательство «Прометей», где «за свой счет». И оказалось, что только за с в о й можно было выпустить книги Всеволода Некрасова, Генриха Сапгира, Игоря Холина. И даже покойного Евгения Леонидовича Кропивницкого — «за счет средств друзей автора». Это и замечательно. Государство не стало другим, что его издательства и подтвердили. История Сапгира и лианозовской школы уже рассказана в «Огоньке», «Вопросах литературы» и в нескольких газетах. Напомню, что именно вокруг Е. Л. Кропивницкого собиралась в 50-е годы группа художников и поэтов, очень разных и единых лишь в одном — каждый писал не «пописаному», а так, как ему было предопределено.

Сейчас модно слово «андеграунд» — это так красиво называется подпольное искусство. По существу, подпольным было искусство обэриутов, а затем поэзия Георгия Оболдуева и Евгения Кропивницкого. Подпольным поэтом был отчасти Николай Глазков, что и открылось с выходом его книги «Автопортрет». Недавно, разбирая архив своего учителя, довольно известного литературоведа Б. Н. Двинянинова, кстати, близкого знакомого Глазкова, я обнаружил, что он тоже был подпольным поэтом. Такого рода открытия, очевидно, будут происходить и впредь. И. В. Сталин, конечно, был прав, расширяя ГУЛАГ и лично занимаясь судьбами художников. Видимость стерильности общества нужно было поддерживать всеми силами. Е. Л. Кропивницкий и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е годы писал стихи, которые и в нынешнюю эпоху всеобщего иронизма выглядят «не слабее». Но в печать он с ними не спешил не из-за излишней строгости к себе.

Был зарезан важный муж...
А кругом царила глушь...

Это вам не «Место встречи изменить нельзя». «Плоть и кровь бытия интересуют автора стихов», — писал Кропивницкий уже в 1975 году в преддверии выхода своей первой и единственной прижизненной книги «Печально улыбнуться», изданной в Париже (конечно, в Париже!). В 1976 году в том же Париже вышла и книга Сапгира «Сонеты на рубашках». Я к ней еще вернусь. А пока — назад, к 50-м годам. Благо, книга Сапгира «Московские мифы» дает такие возможности.

Лианозовская школа недаром именовалась еще и барачной. По сути дела, она была школой натуральной и даже натуралистической. Здесь на ум приходят различные совпадения — неореализм, жизнь врасплох. Например, «Разговоры на улице»:

Жена моя и теща
Совсем сошли с ума
Представь себе
Сама
Своих двоих детей
Нет главное — коробка скоростей
У нее такие груди
На работе мы не люди
Она мне говорит
А я в ответ
Она не отвечает...

В общем — жизнь как жизнь, иногда смешная, иногда страшноватая, иногда безысходная до жути, как в маленькой поэме 58-го года «Баба в деревня». В сфере внимания поэта — частная жизнь, то есть то, что никак не входило в официальную «большую» литературу, призванную показывать «трудовые будни» как сплошной праздник. Сапгир предвосхитил в освоении некоторых тем Высоцкого и Шукшина. Он видел человека в быту — с пьянкой, поножовщиной, нехитрым удовлетворением похоти и прочей «чернухой», как бы мы сказали сейчас. А для поэта — не стороннего наблюдателя — жизнью. Он сам как бы неотделим от «героев» в фабуле стихотворения. Но, безусловно, мы его отличаем в сюжете книги. Он уже выделен способностью записать. У Сапгира нет постоянного героя, как, скажем, у Зощенко. У поэта другие средства. Например, интонация. В стихотворении «Голоса» все держится исключительно на интонации: в первых двух строфах всего одно неповторяющееся слово, еще в двух строфах вообще все слова повторяются, в остальных — варьирование однокоренных (а всего 8 стром). Но разность интонирования задает стремительно меняющийся полифонический узор. «Голоса» — это крайний пример, но особым интонированием окрашены все ранние стихотворения поэта. И вот когда вслушаешься в собственно сапгировскую интонацию, то начинаешь понимать, что натурализм-то у него мнимый. И это не противоречит сказанному ранее: «жизнь как жизнь». Дело в том, что жизнь в том виде, в котором мы ее ежедневно наблюдаем, которой вынуждены жить, она как бы не имеет формы, а поэт без формы никуда, поэт, получается, и дает ей форму. Может быть, потому у нас такое значение имела всегда литература, ведь должна же быть где-то форма! Видимо, осознание этого непреложного факта толкнуло Сапгира в сторону строгости сонета. Правда, это «Сонеты на рубашках». И в самом деле первые сонеты Сапгир написал на старых рубашках и даже выставил их как образ-

цы визуальной поэзии. Но затем он стал играть с этой строгой формой, испытывать сонет советской действительностью; как в «Сонете о том чего нет», посвященном Яну Сатуновскому:

То мяса нет то — колбасы то сыра
То шапок нет куда я ни зайду
Но я встречал и большую беду
Нет близких Нет здоровья Нет квартиры

Нет радости нет совести нет мира
Нет уваженья к своему труду
Нет на деревне теплого сорта
Нет урожая в будущем году

Но есть консервы РЫБНЫЕ ТЕФТЕЛИ
Расплывчатость и фантастичность цели

Есть подлость водка скука и балет —
Леса в степи и стройки и ракеты
Есть даже люди в захолустье где-то
И видит Бог — хоть Бога тоже нет

Надо сказать, что Сапгир не злоупотребляет такого рода «риторикой наоборотов» и продолжает испытывать сонет согласно поэтическому сопромату. Он пишет изящные «Лингвистические сонеты», «Сонет-венок», «Рванный сонет», «Неоконченный», «Сонет с валидолом», составляет сонет из газетной статьи или постановления о роли торговли в насыщении рынка товарами («Сонет-статья»), сонет под пером поэта буквально осыпается («I Фриз разрушенный»), а затем под этим же пером восстанавливается («II Фриз восстановленный»). Поэт как бы балансирует на грани поэтической забавы и воплощения. Он свободен в выборе и дает такую же свободу читателю — находить текст по себе. Андрей Битов справедливо написал: «Смещение в поэтическом мире Сапгира — не самоцель, не отражение болезненного излома души, а естественный взгляд человека, сохраняющего в себе норму жизни, которая каким-то образом оказалась этой нормой лишена».

И тут мы переходим к еще одной книге Сапгира «Стена», в которую включены стихи 80-х годов. Здесь он погружается в Зазеркалье, в фантомный мир слов с их чудесными превращениями. Здесь все зыбко, все необъяснимо, здесь песок сквозь «тело Льва Толстого» падает на песок, здесь можно пройти сквозь равнина и поэма может состоять из 48 строчек. «Этюды в манере Огарева и Полонского» заставляют вспомнить о «Возмездии» Блока и «Спектрском» Пастернака, но тональность, конечно, совершенно иная. Здесь время обладает пространственными параметрами, а пространство временными. Таинственный Карадаг превращается в таинственный же Дакараг. Поэту как бы мало тайны, заключенной в уже существующем слове.

Здесь одно стихотворение может быть пронизано другим стихотворением («Чудовище»), два текста цепляются друг за друга, не в силах сойтись или разойтись. Мы вместе с поэтом можем увидеть «тень за тканью слов» и то, как шевелятся слова, «будто муравьи», понимая невозможность цитирования, настолько «содержание» стало «формой» (или наоборот).

Здесь мы встретимся не только со стихотворением, называющимся «Икона», но и с жанром «икона», восходящим к «складням» Иннокентия Анненского.

Наконец, мы услышим через созвучие слов «истина» и «стена» чистую «фоническую музыку зауми» (А. Туфанов).

Заумь у Сапгира многовалентна, исторична: детская, сектантская, футуристическая, кэрролловская сплавляется в сапгировскую.

Я придумал: олюби ихтасу
и увидел гнездо и какую-то горную трассу
Я подумал: лагоре эребос
и увидел море автобус

Я услышал: илория лов —
и увидел тень за тканью слов

Сапгира привлекает в зауми «детское дыхание — предшествие словам», он почти физически ощущает присутствие пневмосферы («человечество маревом повисло») — скопление духовной энергии в «воздухе». И он пытается найти адекватный язык для общения с душами. Глубоко закономерным для этого поэта представляется обращение к житиям русских виршевиков в книге «Московские мифы». Все прошедшее для Сапгира — не прошедшее, все миры — его личные миры. Можно лишь сожалеть, что Сапгир поздно предстает перед читателем, и радоваться, что все-таки предстает, доказывая в очередной раз, что «ничто не проходит».

Сергей БИРЮКОВ

г. Тамбов

Приятие того, что есть

Книга А. Курчаткина «Портрет романтического молодого человека» («Современник», 1991) объединила произведения, которые хорошо знакомы, — и «Гамлета из поселка Уш», и «Газификацию», и «Достоевщину». Казалось бы, нет в этой прозе никакого таинственного кода, но почему-то мы перечитываем ее сегодня, в постперестроечные времена, совсем по-иному. Нынче мы уже не назovem ее бытовой прозой или прозой сорокалетних, или прозой писателей «московской школы». Школы нет, есть писатели. Есть, в частности, писатель Курчаткин со своей сквозной темой. Думаю, что тему эту можно обозначить так: смирение перед жизнью.

«Что за штуку сыграла жизнь, что за штуку... и зачем ей это нужно было?» — размышляет герой рассказа «Достоевщина» и продолжает, анализируя свои взаимоотношения с жизнью (роком, судьбой, провидением), ощущая свою неспособность управлять ею, влиять на ход событий: «Но ведь невольны были, вот

в чем дело, так лишь и могли поступить, как поступили, а не иначе, как и сейчас невольны по-иному, а лишь так вот, как есть...» Жизнь не просто корректирует наши планы, но и укрощает многие необоснованные мечты. Однако мы привыкли смотреть на это укрощение с позиций «романтического молодого человека», то есть осуждая, как правило, наше приспособление и приспособляемость к реальным обстоятельствам, к тем изменениям, которые в нас возникают под давлением реальной жизни. Проза Курчаткина — хочет писатель того или нет — учит другому. В самой подробности описаний звучат уважение и внимание ко всем проявлениям жизни, пусть даже микроскопически-неприметным. Каждый предмет, событие автор старается описать во всех деталях, как бы опасаясь, что иначе не будет правильно понято. «После общегития, его длинных, пропахших горелым луком и подсолнечным маслом коридоров, перенаселенной, душной тесноты комнат с четырьмя кроватями на десяти метрах, этой суматошной жизни у всех на виду жизнь в ее доме, с ее налаженным, спокойным и как бы даже деловитым ритмом, с ее уединенностью и замкнутостью, показалась ему какой-то сказкой, идеалом существования».

Что ж, «фламандской школы пестрый сор», подробности обыденного существования никогда, по существу, ни в какую эпоху не теряли своего этического и эстетического значения, а в нашу все больше сулят успокоения от внешних потрясений. Да, герои Курчаткина страдают, переживают беды, внутренние сломы, бунт, апатии... Но жизнь (время) все вылечивает — и чем же? Да бытом, смиренными бытовыми заботами, прежде всего о детях. Рецепт очень, очень стар, но зато и хорошо проверен.

Правда, автор, очевидно, в каком-то смысле и сам является «романтическим молодым человеком» и то и дело бунтует и восстает против монотонности и однообразия жизни. Тогда, вероятно, он и пишет свои «алогичные», «страшные» вещи — «В поисках почтового ящика», например. Мне, однако, кажется, что преодоление монотонности — в постижении искусства жизни, а оно только одно: самоограничение и принятие того, что есть.

Елена СТЕПАНЯН

Вспоминая тишину...

Сборник «В своем углу» С. Дурылина, выпущенный в прошлом году издательством «Московский рабочий», не обозначен принадлежностью к какой-либо «се-

рин» или «библиотеке», хотя издательство в последние годы активно печатает мемуарную литературу, последовательно восполняя историко-литературный контекст.

Имя автора, Сергея Николаевича Дурылина (1886—1954), возникает по разным поводам при восстановлении картины культурной жизни первых и последующих десятилетий уходящего века. Дурылин — историк литературы и религиозный философ (проделавший путь к Богу через археологию), авторитетный знаток живописи и театровед, талантливый педагог. Более или менее полное издание его творческого наследия — дело непростое. В данном случае читатель знакомится с двумя его мемуарными книгами — «В родном углу» и «В своем углу».

Первая из них — воспоминания о детстве и родителях, художественное воссоздание не только быта, но и самой — воспользуемся ходким словом — ноосферы Москвы рубежа веков. Апофеозом сей картины можно считать главу «О хлебе насущном» с ее исполненной одновременно лиризма и эпичности классификацией столичных хлебобулочных изделий и гимном московскому божеству — самовару, который куда безогляднее, чем любая трибуна, вдохновлял на немедленное решение мировых метафизических и конкретных политических проблем.

Вторая, написанная в ссылке книга, — действительно «свой угол», куда Дурылин, оторванный от друзей и книг, мог укрыться со своими воспоминаниями и думами от окружающей действительности. По форме эти записки напоминают «коробы» постоянного собеседника Дурылина В. Розанова. Встречи с последним наряду с воспоминаниями о знакомстве с Л. Толстым, размышлениями о М. Лермонтове и «Фаусте» сопровождали писавшего всю жизнь. Ведь характерной чертой автора была, по выражению В. Пастернака (для Дурылина — «Бори»), «восторженная прямота», то есть истинно русский путь через книги, без страха литературных повторов, к «какому-нибудь делу».

К нам, в день сегодняшний, обращены пророчества С. Н. Дурылина: «Будет тихо и гладко с мыслью. «Стандартный» формат и объем мысли, обеспечивающий «тишину» и «гладь» стока ее в одну сторону, в один неглубокий, безвыходный водоем, тепленький и пахнущий гнильцой. Но зато как будет шуметь жизнь! всеми механическими «стандартными» шумами! Шум мешает мысли, а история делается, да и география! — все шумнее и шумнее. Из мира исчезает тишина. Отлетает к звездам. Я помню Москву еще тихой, тихой»...

Александр ЛЮСЫЙ

Подписка на журнал «ОКТЯБРЬ» на 1993 год принимается всеми отделениями связи и органами «Роспечати» и предприятиями связи стран Содружества.

Ф. СП-1

АБОНЕМЕНТ на газету		73293	
ОКТЯБРЬ		(индекс издания)	
(наименование издания)		Количество комплектов	
на 19__ год по месяцам			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
Куда			
(почтовый индекс)		(адрес)	
Кому			
(фамилия, инициалы)			

ДОСТАВочная КАРТОчка

ИВ	место	ли-тер	на газету журнал	73293
ОКТЯБРЬ				(индекс издания)
(наименование издания)				
Стои-мость	подписки	руб.	коп.	Количество комплектов
	пере-адресовки	руб.	коп.	
на 19__ год по месяцам:				
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12			

Куда	
(почтовый индекс)	(адрес)
Кому	
(фамилия, инициалы)	

*Подписка проводится дважды в год:
сначала на первое полугодие, затем
на второе полугодие; кроме того,
с каждого очередного месяца.*

*Подписная цена
объявлена в Каталоге газет
и журналов на 1993 год.*

**ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ
АБОНЕМЕНТА!**

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штампа отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки «ПВ — МЕСТО» производится работниками предприятий связи.

«ОКТЯБРЬ» — 1993

Марк АЛДАНОВ. Начало конца. Роман.

Анатолий АНАНЬЕВ. Призвание Рюриковичей,
или Тысячелетняя загадка России.

Михаил АРДОВ, священник. Мелочи архи...
прото... и просто иерейской жизни.
Картинки с натуры.

Борис ВАСИЛЬЕВ. Дом, который построил Дед
(Время выбора.) Роман, книга вторая.

Юрий ВЛАСОВ. Тайная Россия. Роман.

Владимир ВОЙНОВИЧ. Замысел. Роман.

Игорь ВОЛГИН. Политический процесс.
Достоевский и современники: жизнь в
документах. Книга вторая.

Антон ДЕНИКИН. Очерки русской смуты.
Тт. IV—V.

Бахыт КЕНЖЕЕВ. Мытари и блудницы. Роман.

Руслан КИРЕЕВ. Новая повесть.

Дмитрий МЕРЕЖКОВСКИЙ. Иисус Неизвестный.
Роман-эссе.

Нонна МОРДЮКОВА. Записки актрисы.

Вячеслав СУХНЕВ. В Москве полночь. Роман.

Юлиу ЭДЛИС. Сия пустынная страна. Повесть.

Читайте

в ближайших номерах:

Ирина ОДОЕВЦЕВА. Оставь надежду навсегда. Роман.

Гнетущая атмосфера советской действительности 30-х годов, как она виделась русской эмиграции, сложная интрига, неожиданные повороты сюжета, трагические судьбы главных героев — все это вы найдете в романе известной русской поэтессы, впервые публикующемся в России. Книга была написана при участии другого известного русского поэта и прозаика — Георгия Иванова.

«Георгий Иванов уже придумал содержание, — вспоминала впоследствии Ирина Одоевцева, — и решил, что я буду писать только о молоденькой героине, а он берет на себя всю политическую часть.

С работой я справилась очень быстро, где-то за неделю...

Время шло, а Георгий Иванов каждый вечер читал мне все одни и те же написанные им первые страницы... Я не выдержала... засела за работу и писала в день по шестьдесят страниц. В шесть недель я кончила всю книгу. Когда Георгий Иванов впервые прочитал то, что я написала, он схватился за голову и воскликнул:

— Я бы никогда не поверил, что это написала ты, если бы не присутствовал при этом...

С этого момента он наконец поверил в меня как в писателя...»

Игорь МАЛЬСКИЙ. Разгром обэриутов: материалы следственного дела.

Читателям представится уникальная возможность познакомиться со следственными документами из архивов КГБ, оригиналы которых и в настоящее время остаются недоступными для исследователей.

«Я работаю в области литературы. Я человек политически не мыслящий, но по вопросу, близкому мне: вопросу о литературе. Заявляю, что я не согласен с политикой Советской власти в области литературы и желаю в противовес существующим на сей счет правительственным мероприятиям свободы печати как для своего творчества, так и для литературного творчества близких мне по духу литераторов, составляющих вместе со мной единую литературную группу».

Даниил ХАРМС. Из протокола допроса к делу № 4246 ОГПУ, г. Ленинград.